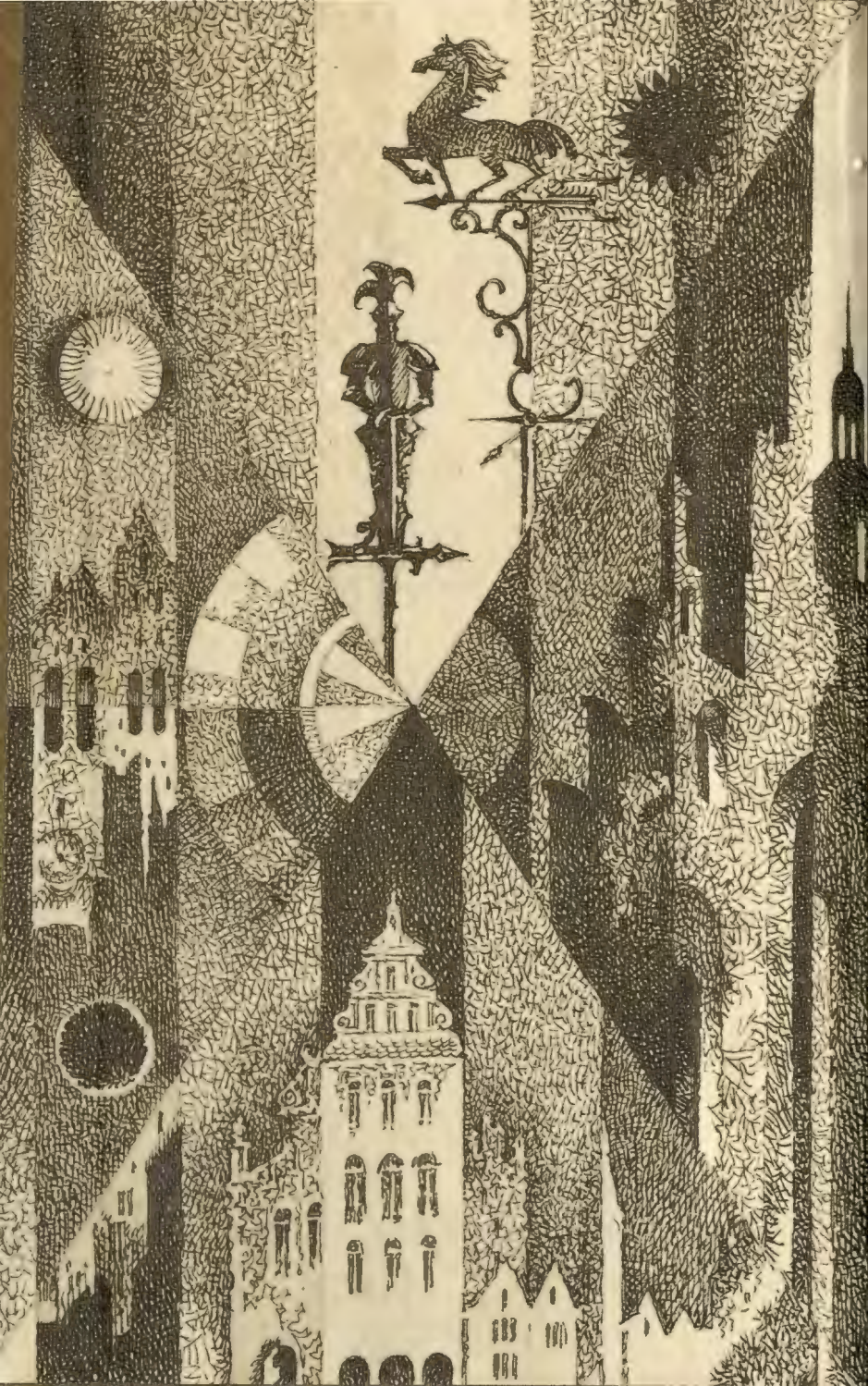


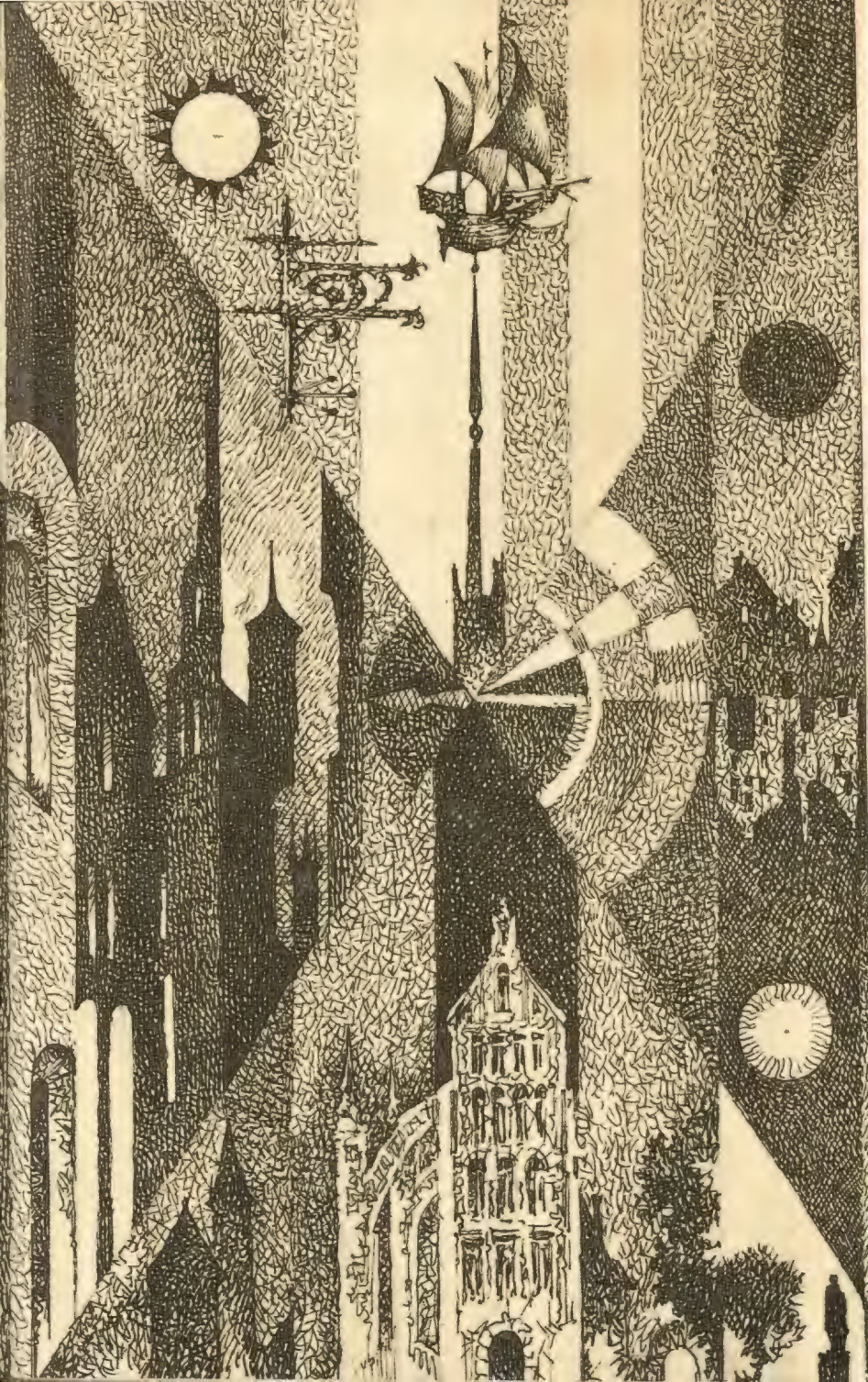
ВЛАДИСЛАВ

Белый шарик
Матроса
Вильсона

КРАПЛИВИН







Владислав Крапивин

**Белый шарик
Матроса
Вильсона**



ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

Белый шарик Матроса Вильсона

ПОВЕСТИ ИЗ ЦИКЛА
«В ГЛУБИНЕ ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА»
КНИГА ВТОРАЯ

Екатеринбург
Средне-Уральское книжное
издательство
1993

ББК 84Р7
К78

Художник

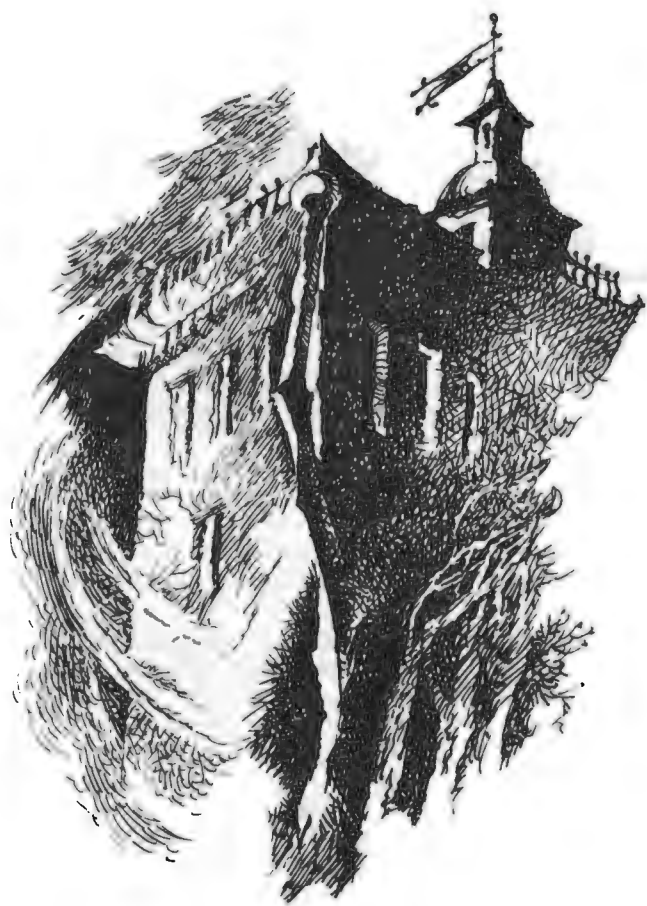
Е. И. СТЕРЛИГОВА

К 4803010201-002 24-93
М158(03)-93

ISBN 5—7529—0533—8

© Владислав Крапивин,
1993

© Е. И. Стерлигова,
иллюстрации, 1993



КРИК ПЕТУХА



Часть 1

ДАЧНАЯ
ЖИЗНЬ ВИТЬКИ МОХОВА

Кригер

1

Первый раз Витька появился в обсерватории «Сфера», когда окончил четвертый класс. Два дня бродил он всюду, раскрыв рот и распахнув глаза. Удивлялся башням, куполам и локаторам, гигантской решетчатой чаше РМП. А еще больше — скалам и дикому шиповнику, густоте окрестного леса, чистоте высокого неба и прозрачности ближнего озера.

На третий день он изложил свое мировосприятие в стихах, которые немедленно были напечатаны в обсерваторской газете «Пятый угол».

Я от счастья чуть не плачу:
Вот прнехал я на дачу.
Здравствуй, мой любимый дед,
Здравствуй, мой велосипед!

Буду я на нем кататься,
Буду в озере купаться,
Буду плавать и нырять,
Кверху пузом загорать.

Мне на пузо сядет мошка
И поест меня немножко,
А насытив аппетит,
Снова в небо улетит.

Я обед ей не нарушу,
Мошка тоже хочет кушать.
Я к букашкам всей душой:
Мошки — крошки, я — большой.

Во саду и в огороде
Равновесие в природе.
Ходят куры у куста,
Вот какая красота!

Стихи обрели шумную популярность. Их цитировали по всякому поводу. Толстая лаборантка Вероника Куггель положила их на музыку и пела под гитару. Лишь директор обсерватории Аркадий Ильич Даренский не разделял общего энтузиазма. Во-первых, он вообще смотрел на все явления со здоровой долей скепсиса. Во-вторых, Аркадий Ильич (в силу этой же привычки) углядел в словах «буду я на нем кататься» некоторую двусмысленность. Так ли прост этот внешне симпатичный, но почти незнакомый (и к тому же похожий на отца) десятилетний отпрыск Михаила Мохова?

Кроме того, профессор Даренский придерживался вполне логичного мнения, что специальное научное учреждение закрытого (насколько это возможно в нынешние времена!) профиля отнюдь не должно служить местом дачного отдыха для кого бы то ни было. Пусть это даже родной внук директора обсерватории.

Но, с другой стороны, делать было нечего. Витькина мать активно занималась решением личных проблем. Витькин отец, который числился сотрудником «Сферы», был официально объявлен пребывающим в далекой и длительной командировке, а на самом деле находился неизвестно где. То есть не совсем неизвестно, но... Впрочем, это особый и отдельный разговор... Так или иначе, а, кроме «любимого деда», приютить Витьку на каникулы оказалось некому. Это и заявила Аркадию Ильичу дочь Кларисса:

— Можешь ты хоть раз в жизни позаботиться о единственном внуке?

Аркадий Ильич пытался возражать. Единственному внуку, мол, самое место в летнем лагере, а не в обсерватории среди взрослых и занятых важными делами мужиков и теток... Выяснилось, однако, что внук «малость чокнутый» (видимо, в папочку). В лагерной толпе жизнерадостных и дружных сверстников он сохнет, бледнеет, а по ночам (если верить бдительным воспитательницам)

часто не спит, сидит на подоконнике и смотрит «куда-то в небесные пространства». Так было в прошлом году.

— А в этом он вообще уперся, как упрямая коза: «Не поеду, там скучища!»

В довершение слов Кларисса начала всхлипывать. Профессор Даренский, в работе своей человек твердый и решительный, в семейных коллизиях таких свойств не проявлял. Ну и вот...

Витька оказался вовсе не похожим на замкнутое, одинокое дитя. В обсерватории он со всеми зажил душа в душу. А лучшим его другом сделался младший научный сотрудник Михаил Скицын, по поводу чего дед буркнул: «Рыбак рыбака...»

Замечание деда было не совсем понятным. На Витьку Скицын вовсе не походил. Черный, как головешка, какой-то немного кривобокий, с крупным носом и ехидными, сидящими на разном уровне глазами, он был известен как скандалист и автор сумасбродных идей. Временами оказывалось, что идеи не столь уж сумасбродны, а потому и скандалы объяснимы, но слава оставалась.

В отличие от других Скицын с Витькой не церемонился. То и дело подначивал и критиковал. Так было и со стихами. Скицын заявил, что выражения «обед ей не нарушу» и «насытив аппетит» неграмотные, а в последнем четверостишии — излишняя умильность. Это было уже просто бессовестно! Ведь кто-кто, а уж Мишенька-то лучше всех должен был ощутить ироничность Витькиных виршей.

— Все понимаешь, а цепляешься!

— Ну ладно... — смягчился Скицын. — А врать все равно не стоило. Какие здесь куры? Один петух...

Витька сказал, что сочинял стихи, а не переписывал птичьего двора и куры — это... как его... поэтический образ.

Скицын сморщился, нос его больше обычного отъехал в сторону.

— «Образ»... Такого красавца поменял на каких-то дохлых абстрактных куриц... Такого рыцаря и героя!

Витька глянул подозрительно: нет ли здесь намек? Не видел ли случайно Скицын, каким скандальным было знакомство с пернатым «героем и рыцарем»?

Петуха звали Кригер.

Безусловно, этот горластый красавец был одной из важных достопримечательностей «Сферы». Приезжавшие сюда иностранцы просили показать «господина Кригера» наряду с новейшим четырехмерным телескопом — преобразователем пространства, построенным группой «Кристалл-2».

Не было в обсерватории человека, который относился бы к «господину Кригеру» безразлично. Поклонники петуха восхищались его внешностью. Перья Кригера отливали всеми оттенками меди, латуни и даже червонного золота. Хвост напоминал оранжево-алый плюмаж рыцарского шлема. Крылья были оторочены бархатистотраурной каймой, а тяжелая двойная борода и свисавший на сторону гребень словно состояли из прозрачных икринок, налитых гранатовым соком.

Но, по мнению многих, роскошное оперение Кригера не искупало его коварного нрава. Этот разбойник имел привычку подкрадываться издали, потом налетать с боевым воплем и клевать ноги, а то и спину. Случалось, что он получал отпор, но и тогда не покидал поле боя, а разбежался и повторял атаку.

Однако даже самые лютые недруги Кригера отдавали должное одному его несомненному качеству — пунктуальности. С точностью до десятых долей секунды это уникальное существо оповещало всех о наступлении астрономического полдня и полночи и так же строго отмечало четырехчасовые отрезки суток.

Без сомнения, Кригер считал «Сферу» своим родовым поместьем. Он появился на свет здесь — вылупился из купленного на рынке яйца в самодельном инкубаторе под коробкой терморегулятора базового гироскопа. Выдумка с инкубатором, естественно, принадлежала Скицуну. И конечно же, Михаил объяснял астрономическую точность Кригера тем, что он родился на осевой линии Кристалла. «А вредность у него от «крестного папы», — не упускал случая добавить Аркадий Ильич Даренский.

В первые дни судьба не сталкивала Витьку и Кригера. Витька слышал петушиные вопли, видел издали этого медью сверкающего крикуна, однако особо им не интересовался. Кригер Витькой — тоже. Но на четвертый день (уже после стихов в газете) Витька лежал животом на каменном ограждении садового бассейна, беспо-

коил щепкой ленивых декоративных карасиков и вдруг услышал сзади шумный шелест и топанье. Не успел он оглянуться, как в ногу пониже коленного сгиба воткнулось копьё. Или стрела. Витька взвизгнул, кувыркнулся в бассейн, обалдело вскочил по пояс в воде. Кригер — перья и гребень торчком — бил крыльями по ракушечному барьеру. Глядел непримримо и прицельно.

— Чё надо! — постыдно завопил Витька и в бегстве взбаламутил пятиметровый водоем от края до края. Господин Кригер преодолел то же расстояние на крыльях. Дальше он гнал перепуганного пацаненка по плиточной дороге между двух заросших подпорных стен, и дорога эта привела в предательский тупик. Витька ладонями с размаха уперся в железные ворота гаража, обернулся... Кригер не спешил. Топтался в пяти шагах, подметая крыльями пыль. Готовился. Примерялся... Витька беспомощно съёжился и, глядя в петушиный оранжевый глаз, жалобно прошептал:

— Не смей, скотина... Нельзя. Не подходи. Между нами это... стенка. Понял? Стен-ка...

— Ко-о... — презрительно сказал Кригер, шумно разбежался... С отчаянного перепуга Витька мысленно грянул перед собой с неба стену из броневого стекла. И... рыжий бандит шмякнулся о невидимое! Ошеломленно сел на хвост, по-человечьи раскинув растопыренные лапы. Икнул.

«Получилось!» — Витька и возликовал, и даже испугался. До сих пор его опыты с гипнозом и внушением терпели провал.

Кригер встал. Пошатался. Шагнул прочь. Оглянулся. Подумал, наверно: не попробовать ли еще?

— Иди, иди, — сказал Витька. И вообразил сидящую рядом, у ноги, лису — большую, зубастую, с густой апельсиновой шерстью. Так вообразил, что лисья шерсть будто по правде зашекотала ему ногу. А Кригер, позабыв о гордости, с воплем ударился в бег.

Витька отдышался, огляделся. Не видел ли кто его недавнего малодушья? Кажется, нет... А то ведь не спасся бы он от ехидно-ласковых расспросов и подиачек, несмотря на свою поэтическую славу.

Он вытряс из-под рубашки трепещущего карасика, отнес его в бассейн. Потом занялся «раиной»: вывернул ногу и шею, глянул себе под коленку. Была крупная кровавая точка, была припухшая синева вокруг. Все

это рядом с большой, похожей на арбузное семечко родинкой. Может, Кригер и метил в родинку? Прннял за жучка или зернышко? «Красивый, а дурень», — подумал Витька уже добродушно, он был человек не злопамятный. У себя в комнате он смазал след от клюва бактерицидной. Тот быстро подсох, но потом иногда еще побаливал. А на ноге осталось темное пятнышко — будто вторая родинка...

С той поры, встречая Кригера, Витька моментально вспоминал зубастую лису. И мысленно пристраивал ее рядом — как собаку на поводке. Кригер торопливо удалялся. Правда, в этой поспешности уже не было заметной паники. Кригер делал вид, что ему срочно нужно куда-то по важному делу, а мальчишку с лисой он вроде бы и не видит.

Потом лиса сделалась не нужна. Кригер привык обходить Витьку стороной. А если они и оказывались рядом, то смотрели друга на друга без интереса. Словно был между ними молчаливый уговор: сохранять нейтралитет. Скицын, который обожал Кригера, говорил с ноткой разочарования:

— Смотри-ка, не лезет. Чует, чей внук...

Дело в том, что такой же нейтралитет сохранялся между петухом и директором «Сферы». Кригер, видимо, нутром чуял начальство. А профессор Даренский хотя и не любил «рыжего пирата», но терпел.

2

Продолжая рассказ о Кригере, следует отметить еще одно его свойство. Крайнее любопытство. Особенно любил он шумные споры. Когда в круглой комнате дискуссионного центра группа «Кристалл-2» наваливалась (во главе со Скицыным) на своих оппонентов, Кригер устраивался в проеме открытого окна и слушал, склонив гранатовый гребень. Услыхав особо удачный аргумент или крайне запальчивую фразу, Кригер возбужденно переступал шпиритыми лапами и довольно говорил: «Ко-о...»

Любил Кригер и перепалки между директором «Сферы» и его другом профессором д'Эспозито, который месяцами жил в обсерватории — прикипел к проблемам Кристалла. Особых разногласий в объяснении принципов Перехода и теории совмещенных пространств у Аркадия

Ильича и Карло д'Эспозито не наблюдалось. Но пылкий старый итальянец был воспитанником иезуитского колледжа, ревностным католиком и все сложности мироздания объяснял изначальной мудростью Творца. Это приводило ярого материалиста Даренского то в горячее негодование, то в состояние холодного ехидства.

Трудно понять, что привлекало Кригера в спорах двух научных светил. Витька, по крайней мере, в них ничего не понимал. И все-таки иногда они (Витька в кресле, в углу дедова кабинета, Кригер на перилах балкона) слушали, как Аркадий Ильич и д'Эспозито у редакторского компьютера препираются по поводу совместной статьи для «Академического вестника».

— Послушай, Карло, а если записать так: «Явление столетней давности, известное под названием «Черемховский эффект» и давшее в наши дни резонанс, адекватный современному фактору типа «эхо», свидетельствует, что...»

— А нельзя более по-русски, если уж писать на этом языке?

— Я не Лев Толстой!

— Это да...

— ...Не Лев Толстой! И кроме того, ученые мужи в Центре иную терминологию все равно не приемлют! Главное — суть! А она в том, что «возникновение резонанса между так называемыми субъективными болевыми точками индивидуума и гипотетическим всеобщим психогенным полем ведет к практически мгновенному изменению пространственно-временной структуры в данном витке Кристалла...».

— «Витке Кристалла!» О Господи... звучит-то до чего дико!

— Не более дико, любезный Карло, чем «о Господи» в устах одного из основателей новой теории пространственно-временных структур...

— Которые, кстати, никоим образом не отрицают участия Творца в их создании и развитии...

— Так и записать? — язвительно спрашивал Аркадий Ильич.

— Это незачем записывать! Это ясно любому разумному человеку!.. А неясно вот что: при чем вообще виток и перестройка структур в «Черемховском эффекте», если там имело место лишь линейное перемещение в одном пространстве?

— А «эхо», возникшее в иных гранях почти через век!

— И тем не менее там действовал принцип тривиального линейного вектора, с Мёбиус-вектором не имеющий ничего общего...

— Карло, я тысячу раз просил! Не смей при мне упоминать о Мёбиус-векторе, этой дикой выдумке авантюриста Мохова. Он еще больший мракобес, чем ты, и... Виктор! А ты что здесь торчишь? Неужели, кроме моего кабинета, нет места, чтобы бездельничать?

— Здесь кресло удобное,— безмятежно отвечал Витька, делая вид, что не слышал упоминания об отце.

— Ступай отсюда...

— Дядя Карло, а вы меня тоже прогоняете, да?

— Не ходи никуда, Витторио! Сиди здесь... Слушай, как твой дед льет мыльную воду с пузырями на своего старого друга! Сейчас он будет бить меня по лысине футляром от меридианного дубль-гироскопа Кларенса...

— Ко-о...— с удовольствием говорил на балконе Кригер.

— Очень нужна мне твоя глупая лысина,— ворчал Аркадий Ильич.— Виктор, марш гулять!

— Щас...— Витька поудобнее усаживался в кресле. Морщась, трогал под коленкой след петушиного клюва. Слегка болело. Но на Кригера он не злился. Сейчас они были вроде как союзники.

Дед отворачивался от Витьки к дисплею.

— За что мне это наказание?.. Кларисса, конечно, поступила мудро, она всегда была практичная девица. А я — плати по векселям...

— Ну, а...— вполголоса говорил д'Эспозито и замолкал.

— Увы...— так же тихо откликался дед.

— Никакой информации?

— Никакой. Даже у Скицына.

— А при чем Скицын? Ведь с ним-то он как раз воевал больше, чем со всеми.

— Ну, знаешь ли... Милые бранятся — только тешатся...

— Гм... А чем он там все-таки занят?

— Ты меня спрашиваешь? Может, он шлет научные отчеты?.. Скорее всего, он ничем не занят. Полагает, что сам факт его перехода есть подтверждение всех его дилетантских теорий...

— «Дилетантских»... Помилуй, Аркадио! Ты же сам понимаешь, что...

— Ничего я не хочу понимать! Авантюризм и наука несовместимы!

Витька равнодушно плевал себе на ногу и растирал по ней следы машинной смазки — она осталась после ремонта старенького, расхлябанного велосипеда «Кондорито», найденного для директорского внука среди обсерваторского утиля. Взрослые, видимо, думали, что он их разговора не понимает, не догадывается, что речь идет об отце.

О том, что случилось с отцом год назад, все говорили уклончиво. Даже Скицын. И все-таки кое-что Витька знал. Михаил Алексеевич Мохов был одним из сотрудников группы «Кристалл-2», резко ушел в исследования в сторону от главной темы и настаивал на практической проверке своих выводов. Ввел понятия пятимерной системы межпространственных координат и Мёбиус-вектора. Все это достаточно ошарашивало всех, кроме младшего научного сотрудника Скицына. Однако и он в чем-то поддерживал Мохова, а в чем-то с ним яростно не соглашался. До крика и хрипоты. Дело осложнялось тем, что у Мохова не было диплома физика. Он кончил биологический и философский факультеты. В теорию межпространственных полей он пришел, можно сказать, самоучкой. Это и дало повод директору «Сферы» обозвать своего зятя в пылу очередного спора дилетантом. После чего Михаил Мохов исчез, оставив письмо. Что в письме — никто, кроме Аркадия Ильича, не знал. Теперь было известно, что научный сотрудник Мохов поселился на окраине Реттерберга и занимается незапланированными экспериментами на свой страх и риск.

Все это было бы еще ничего, если бы не маленькая деталь: ни в одном из самых укромных уголков «Генерального Атласа Земли» город Реттерберг не значился.

Однако об этом факте говорить в обсерватории было не принято. Витька хорошо чувал, что можно, а что нельзя, и лишних вопросов не задавал. Но кажется, он удивился меньше других, когда неожиданно-негаданно отец объявился в «Сфере».

Впрочем, открытого удивления не выказал никто. Но все говорили вполголоса и, кажется, ощущали неловкость и виноватость — как в семье, куда вдруг вер-

нулся из далеких нерадостных мест полузабытый и не очень любимый родственник.

Тем не менее сам Михаил Алексеевич смущения не показывал. Суховато раскланивался со встречными. К директору не пошел. Расспросил, где найти сына, и заперся с Витькой в его комнате.

О чем говорили отец с сыном, Витька никому не рассказывал. После беседы старший Мохов исчез — будто растворился. А Витька до вечера ходил один. Пинал на дорожках сосновые шишки, меланхолично и неумело насвистывал. Из деликатности его ни о чем не спрашивали, хотя дед злился, а Скицын млеял от любопытства. Вечером Витька попросился у Скицына к вспомогательному компьютеру четырехмерного преобразователя и до полуночи сидел у стереозэкрана. Там же и уснул — на жесткой пластмассовой кушетке. Скицын, вздыхая, сунул ему под голову свой свитер и накрыл Мохова-младшего снятой с окна портьерой.

Экран остался невыключенным. В глубине его висела странная конфигурация из цветных спиралей и пентаграмм. Конфигурацию косо пересекала голубая линия со знаком Генерального меридиана. Скицын присвистнул и с минуту молча стоял над спящим сыном Михаила Алексеевича.

Через два дня Витька Мохов исчез. Утром он укатил на своем «Кондорито» в сторону озера. К обеду не вернулся. К вечеру тоже. Разумеется, дед переполошился. Да и остальные...

Утешало одно — потонуть Мохов-младший не мог. Раз и навсегда Витька обещал деду и Скицыну не купаться в одиночку, а он был человеком слова. Вариант, что директорский внук свернул шею на горных тропинках, по которым любил носиться на дребезжащем велосипеде, тоже отпал: брошенный «Кондорито» нашли в кустах за водокачкой... Заплутал в окрестном лесу? Но не такой уж этот лес безлюдный...

Витька объявился в сумерки, когда Аркадий Ильич пребывал в состоянии тихой паники и собирался вызывать из Центра патрульные и спасательные вертолеты.

— Что за шум? — сказал Витька пренебрежительно, когда к нему подскочили с расспросами и упреками. — Ну, загулял маленько, не рассчитал время...

Однако, увидев подходившего деда, Витька не стал дальше демонстрировать равнодушие и спокойствие. Быстро забрался на решетчатую пятиметровую мачту бета-ретранслятора и встал на перекладине у отражателя. Дело было на площадке у базовой подстанции, при свете шаровых фонарей. Их белое излучение придавало происходящему излишне драматический и несколько цирковой эффект.

— Марш вниз, с-стервец,— велел Аркадий Ильич.

— Не-а...— сказал Витька с высоты.

— Снять,— металлическим голосом приказал директор. Два аспиранта, мешая друг другу, полезли вверх. Витька, словно канатоходец Тибул в старом фильме, ступил на наклонную проволоку-оттяжку.

— Не смей! — взвизгнул дед.

Но Витька, балансируя, быстро пошел вниз,— оттяжка уходила за кусты сирени. На полпути он закачался на одной ноге.

— Господи Иисусе,— громко выдохнул профессор Даренский.

Витька быстро закончил путь и высунул растрепанную голову из листьев.

— Я устал, а вы тут с облавой... Я кушать хочу из всех сил. Дядя Карло, скажите им...

— Аркадио, ребенок хочет кушать! — немедленно возвысил голос профессор д'Эспозито.— Как вам не стыдно!

— Дайте мне сюда этого...— потребовал Аркадий Ильич.— Я устрою ему ужин... с помощью тех методов, которые применялись в иезуитском колледже к самым беспутным воспитанникам.

— Там не применялось никаких методов! — возмущенным фальцетом завопил д'Эспозито. Он явно отвлекал огонь на себя.— Это гуманное учреждение! У тебя средневековые представления!

— Ну да! Отцы иезуиты и гуманизм...

— Сравнивать иезуитский колледж с орденом иезуитов так же нелепо, как грамматику с граммофоном!

— Ты и есть старый граммофон! Болтун! — окончательно потерял академическую выдержку Аркадий Ильич.— Ты мне портишь ребенка! Ты учишь мальчика не слушаться родного деда! Это и есть твоя христианская мораль?

— Ко-о,— осудил профессора д'Эспозито возникший рядом Кригер. Но тот невозмутимо возразил директору:

— Я защищаю Витторио от твоих иезуитских методов воспитания.

— Синьор д'Эспозито! Отныне я поддерживаю с вами лишь официальные отношения.

— Можешь никаких не поддерживать. Только не кричи «Господи Исусе», если ты такой ярый материалист...

Собравшаяся научная общественность почтительно внимала полемике двух корифеев. Но при последних словах кто-то неосторожно хихикнул. И профессор Даренский печально сказал итальянцу:

— Иди ты знаешь куда...

Профессор д'Эспозито знал. Но пошел в столовую, где рассчитывал найти Витьку и Скицына. Витька, однако, в это время сидел у Скицына в комнате, лопал из банки холодную тушенку и делал вид, что не замечает любопытно-вопрошающих взглядов Михаила. Наконец тот спросил в упор:

— Ну?

— Что? — Витька пальцем подобрал с колен мясные крошки.

— Значит, был?

— Был.

— Ну и... что?

— Что «что»?

— Вообще,— терпеливо сказал Михаил.— Как там?

— Там-то? Всяко...

Скицын явно подавил в себе желание дать жующему собеседнику подзатыльник. И сказал печально:

— Понятно. Беседовать не хочешь... Видно, т а м тебе уже объясняли, какой я нехороший.

— Не-е, не объясняли этого... Почти...— Витька рукавом вытер губы, встал. Обошел сидевшего на табурете Михаила. Неторопливо прыгнул ему на спину, обхватил руками и ногами. Пообещал примирительно: — Миш, я все расскажу. Завтра. А сейчас я хочу спа-а-ть...— Он зевнул прямо в ухо Скицыну.

— Обормот,— пробурчал размягший Михаил и понес непутевого приятеля на диван. Стряхнул Витьку с себя, сдернул с его пыльных побитых ног кроссовки. Витька сонно сообщил:

— Здесь переночую.

— Иди умойся хотя бы...

— Не-а...— зевнул Витька.

— Лодырь.

— Ага...

— Ко-о...— сказал с подоконника Кригер.

— Наш петёл везде поспел,— одобрительно заметил Скицын и пояснил: — «Петел» по-старинному «петух».

Витька опять зевнул:

— Зна-аю... Только не «петёл» а «пётел»...

— Откуда такая эрудиция?

— От Римского-Заболотова.

Михаил вопросительно возвел брови.

— Ну,— неохотно пояснил Витька,— того... маминого мужа. Он же специалист по всяким старым языкам... Говорят, он добром не кончит.

— За что ты его так? Сам же говорил — хороший мужик...

— Да я о Кригере,— Витька хихикнул. Вывернув шею, глянул на окно. Створки были распахнуты. Кригер, освещенный лампой, стоял на подоконнике, словно бронзовый. За ним было черное небо и очень яркие звезды.

— Вчера мы разговаривали, я и... папа...— Слово «папа» Витька проговорил с чуть заметной запинкой, но и с легким вызовом.— Ну, и он... Кригер то есть... так же вот сел на подоконник, подслушивает. Папа и говорит: «Эта птица погибнет от собственного любопытства».

— Ко-о,— презрительно сказал Кригер. И канул в ночь. Внизу раздались крики: там, в кустах сирени, видимо, целовались аспирант Боря и толстая лаборантка Вероника Куггель...

3

Пророчество Мохова-старшего исполнилось. Правда, не в те дни, а зимой, когда группа «Кристалл-2» отважилась на первый опытный прокол пространства. До максимальной концентрации энергополя оставалось полминуты, все уже были в укрытии, по бетону экспериментальной площадки мела сухая поземка, вот тут-то и возник неожиданно-негаданно господин Кригер. Прямо между метровыми блестящими пластинами контактов УСП — установки совмещенных полей.

— Убрать идиота! — завопил в бункере руководитель группы Румянцев.— Кыш, скотина!..— Динамики разнесли над «Сферой» этот вопль. Но в тот же миг шархнуло разрядом, над площадкой возник и растаял обрывок летнего пейзажа с березками, а красавец Кригер бесследно растворился в небытие.

По мнению большинства (так и записали в протоколе), любопытного «петела» разнесло на атомы. Но скорбевший Скицын утверждал, что силою многомерных полей отважный Кригер перенесен в иные пространства и сейчас обитает в надзвездных мирах. Это не спасло его, Скицына, от нагоняя со стороны Румянцева («Смотреть надо было за своим горлопаном!»), Румянцев же схватил выговор от директора, а сам профессор Даренский имел объяснение с Центром, ибо всеми было однозначно признано, что эксперимент провалился. Нового теперь ждать и ждать, потому что у Центра энергии не допросишься, а свои накопители «дырявы, как ржавые чайники».

Скицын в память о Кригере вырубил из листовой латуни метровую фигуру петуха и прибил ее высоко на кирпичной стене вспомогательной подстанции.

Витька о всех зимних событиях узнал лишь следующим летом, когда вновь осчастливил деда своим появлением. Гибель Кригера Витьку искренне огорчила. Несколько минут он задумчиво стоял у стены с блестящим петушиным силуэтом. В щель между кирпичами воткнул ветку цветущего шиповника.

Да и потом не раз, проходя мимо подстанции, Витька замедлял шаг и смотрел на латунного Кригера со смесью удивления и печали.

...Но что его привело «к петуху» в тот пасмурный день, Витька так никогда и не понял. Случай? Предчувствие какое-то, интуиция? Тревога?

Тревога вообще-то была растворена в воздухе. Вместе с электричеством. С утра было душно, и над зелеными горами собирались обещавшие грозу тучи. Сизый налет от них даже ложился на белые купола обсерваторских башен. Витька малость побаивался грозы, особенно если она заставляла его на открытом месте. Но сейчас он стоял на площадке перед стеной с петухом и словно чего-то ждал. Вдали, над поросшими дубняком склонами, глухо грохнуло. Стало совсем сумрачно. Только латунь Кригера светилась, будто отра-

жала невидимый фонарь. Странно это было. Ой, что-то здесь не то...

Витька поддернул свои пятнистые шорты, которые сшила ему из плащ-палаточной ткани Вероника Кугель, потрогал под коленкой «кригерову точку» (осталась навсегда и опять побаливала), почесал ногу о ногу. Этими будничными движениями он хотел прогнать непонятную нервную слабость. И все смотрел на металлического петуха.

Самый длинный зубец петушиного гребня был отогнут от кирпича и светился особенно ярко. Вдруг на нем вспыхнул огонек, похожий на пламя свечи. Вырос, превратился в желто-лиловый мохнатый шарик. Размером — с крупный абрикос. Кажется, он быстро-быстро вертелся.

«Шаровая молния,— ахнул про себя Витька.— А заземления нет...»

В таких случаях лучше не шевелиться. И Витька не двигался. И не отрывал глаз от бледно светящегося шарика. А тот... приподнялся над зубцом и медленно двинулся к Витьке. По линии его взгляда — как по струне.

Витька драпать не стал. Не смог. И даже не зажмурился. Только слабо поднял перед собой левую руку с полусогнутыми пальцами. Так в нехорошем сне защищаются от всяких страхов. Шарик повисел над рукой, отбросил несколько искорок и... медленно сел к Витьке на сгиб указательного пальца.

И — странное дело: ощутив ласковое, как тополиный пух, касание, Витька перестал бояться. Во-первых, он почуял нутром, что это не обычная шаровая молния, а нечто иное. Сгусток неведомых каких-то полей, энергий и сил (здесь, на Генеральном меридиане, может быть всякое). Во-вторых, ему стало ясно, что шарик понимает и чувствует его, Витьку. И не хочет ему плохого. Наоборот, он даже готов слушаться мальчишку, как доверчивая птаха. И он правда послушался, когда Витька попросил его пересест с пальца на оттопыренный локоть... А на суставе, где раньше чернела засохшая болячка, осталось пятнышко чистой, здоровой кожи. Розовой, незагорелой.

«Дела-а», — осторожно обрадовался Витька. И глазами попросил шарик пройтись от локтя до запястья. И шарик прошелся, смазывая царапины, ссадины и ко-

росточки. Было ничуть не горячо, только слегка щекотало кожу и торчком вставали незаметные волоски.

— Ну, ты даешь,— сказал Витька шарiku, будто приятелю. Подставил под него ладонь. Изогнулся, вывернул ногу, перенес шарик под коленку, где след Кригерова клюва набухал опять красным бугорком. Шарик в несколько секунд залечил надоевшую болячку, убрал ее начисто. А заодно — и похожую на арбузное семечко родинку.

Родинку Витька пожалел — своя все-таки, привычная. Но потеря была невелика, а открытие — замечательное. Не хуже, чем путь в Реттерберг.

— Ты теперь всегда будешь жить у меня? — шепотом спросил Витька.

«Не-а...» — словно сказал шарик. Вытянулся в светлую полоску и пропал.

Витька опечалился. Побрел задумчиво прочь. Но потом его будто подтолкнуло. Он вытянул вверх палец, напряг в себе какие-то неведомые электрические жилки. И шарик-молния, возникнув из воздуха, сел ему на ноготь. Это был уже другой шарик — поярче и покрупнее, но такой же дружеский и послушный.

Через несколько дней Витька умел вызывать маленькие шаровые молнии (или не молнии?), когда вздумается. Легче всего это выходило перед грозой, но если постараться — получалось при любой погоде. Бывало, лежит он где-нибудь на лужайке, закинув ногу на ногу, а на оттопыренном большом пальце ступни вертится и стреляет искорками электрическое яблоко...

Один раз Витька похвалился своими новыми способностями перед Скицыным. Но когда Михаил поманил шарик себе на ладонь, тот желтой стрелой метнулся в сторону и с грохотом разнес аппарат внутренней связи. Запахло изоляцией и озоном.

— Ну тебя на фиг,— сказал Скицын.— Ты, Витторио, допрыгаешься... По крайней мере, помалкивай об этом. У других все равно не получится, это только твое.

И Витька помалкивал. Но еще одному человеку он решил доверить свою тайну. Люсе...

Люсины плечи — худые и беззащитно-незагорелые — всегда были исцарапаны колючками и ветками. Если снимать царапины шариком, то можно как бы случайно

коснуться ладонью плеча и тоненькой ключицы, над которой проклюнулась голубая дрожащая жилка. При тайной мысли об этом Витька переставал дышать от ласкового замиранья.

Люся была дочка здешнего лесничего. Их дом стоял в двух километрах от южной кромки кратера, где лежала гигантская чаша РМП — радара межпространственных полей. В прошлом году Витька с Люсей не встречался и даже не знал про нее, а в начале этого лета увиделись они в лесу. Ну, сперва, конечно, смущенно косились друг на друга, потом разговорились. А через пару дней сделались друзьями.

Хотя «друзья» — здесь неточное слово. При Люсе Витька становился кротким и радостно-попослушным, а она при нем — сдержанно-строгой и рассудительной. Каждое утро Витька являлся к ее крыльцу, как на службу, готовый выполнить любой приказ. И только если слышал «извини, Витя, я сегодня занята», со вздохом возвращался в обсерваторию.

Однажды Скицын с досадой и даже некоторой ревностью сказал профессору д'Эспозито:

— Что он нашел в этой пятнистой швабре?

Люся и правда была не красавица. Костлявое бледное существо одиннадцати лет. Жидкие растрепанные хвостики бесцветных волос, перехваченные резиновыми колечками от аптечных пузырьков. А лицо... Такие лица принято сравнивать с перепелиными яйцами. Избитое сравнение, но лучшего не придумаешь. Продолговатое, с равномерной россыпью коричневых веснушек.

А среди этой россыпи — бледно-зеленые неулыбчивые глаза. Они-то, видно, и завораживали Витьку.

Но Карло д'Эспозито видел причину в другом. Он сказал Скицыну серьезно и со знанием дела:

— Микель, тут не столько первая влюбленность в девочку, сколько рыцарский дух Витторио. Его душе необходима Прекрасная Дама...

Михаил хмыкнул.

— А кроме того... — задумчиво сказал д'Эспозито.

— Что?

— Мне кажется... мальчику не хватает мамы, хотя она у него и есть... А в каждой девочке дремлет материнское начало. Вспомните, как она вчера пробирала его за неряшливость и вытаскивала из волос у него репьи...

— А он таял, — вздохнул Скицын.

...Конечно, Люся сперва перепугалась, увидев шаровую молнию. Витька терпеливо уговаривал. Для убедительности храбро рассадил о ствол дуба костяшки пальцев и тут же залечил.

— Но это же свежие ссадины,— нерешительно сопротивлялась Люся.— А у меня все засохшие, старые.

— И старые берет! — Витька брякнулся в траву, задрал ногу.— Видишь, раньше прошлогодняя болячка была, а теперь где... Даже родинку слизнуло.

— Да? — вдруг оживилась Люся.— Значит, тогда и... веснушки может? — У нее покраснели уши и даже плечи сделались розовыми.

Витька сел (шарик вертелся у него над коленкой). Помигал. Насупился. И впервые заспорил с Люсей:

— Не-е... Не надо.

— Но ты же сам говоришь — не опасно.

— Да не в этом дело...

— Думаешь, не получится?

— Да пойми же ты,— тихо и отчаянно сказал Витька.— Если убрать веснушки, что останется! У тебя в них вся красота!

Он тут же перепугался: кажется, сказал не то. Но Люся... она не рассердилась. Потупилась, дернула себя за хвостик волос.

— Ох уж, красота...

— Ну, честное же слово! — обрадованно поклялся Витька.

— Ладно...— Она шевельнула плечом с тонким крылышком безрукавого платьица.— Убирай царапины...

Потом Люся уехала к родственникам в город Теплый Порт. На остаток лета. И Витька — один на поляне у старого дуба — откровенно и долго плакал: себя-то чего стыдиться. Так, с полосками на щеках, и вернулся в обсерваторию. Миханл сказал прямо:

— Не убивайся. Следующим летом увидите опять.

— Это же вечность,— вздохнул Витька.— И вообще... через год будет уже не то...

Летом следующего года Люся уезжала куда-то с матерью, а потом отдыхала в крымском лагере. С Витькой они увиделись только в начале августа.

Витька оказался прав — было уже не то.

Люся не была теперь маленькой, костлявой и растрепанной. Волосы стали гуще, и пышные хвостики их

перехватывались не резинками, а зажимами в виде божьих коровок. Такие же божьи коровки висели на мочках ушей — клипсы. Видимо, Люся понимала, что эти пятнистые жучки идут ее веснушчатому лицу. Впрочем, веснушки были не очень заметны на крымском загаре.

— Наконец-то загорела по-человечески, — усмехнулся Витька, когда они встретились на южной кромке РМП. — И вообще...

— Что? — спросила Люся и потупилась.

Она выросла за год, обогнала Витьку на полголовы. Казалось бы, еще больше должна поглядывать на него свысока. Но и Витька был сейчас не такой, как раньше. Ростом, правда, остался почти прежний, а в душе... Во-первых, то ли одиннадцать с половиной, то ли почти тринадцать лет. Разница! Во-вторых, он хлебнул всяких событий в Реттерберге, владел теперь двумя языками Западной Федерации, знал жутковатую тайну прямого перехода, бывал у Башни, а в июне Рэм Погорский дал им с Цезарем тяжелые значки — медных петушков. Их отливали из нетускнеющей меди в стране, которой владел верховный князь Юр-Танка...

Ничего такого не знала Люся. На значок, что оттягивал Витькину рубашку, глянула мельком, не спросила, откуда такой. Ее больше занимали свои бусы и брошки. И одевалась она теперь не в потрепанные платица или комбинезоны, а так, будто с утра на праздник собирается...

В прошлом году, когда купались в озере, Люся была совсем как пацаненок, плавала в одних мальчишеских трусиках, а в этом году Витька увидел на ней поперек груди полоску с двумя плоскими матерчатыми кружками. И опять снисходительно хмыкнул. Однако Люся не обижалась на его снисходительность, а то и на командирский тон. Ей, кажется, нравилось, что роли поменялись. Это порой удивляло Витьку. Он сам понять не мог: лучше стало или хуже?

Впрочем, как бы там ни было, а все равно дружба сохранилась, а это уже хорошо.

И утром того дня, когда они собрались в Итта-даг, настроение у Витьки было вполне лучезарное.

В какие-то очень древние времена в ложбину среди горных складок Яртышского отрога грянулся небесный камень. Во много тысяч пудов. Ахнул так, что кратер сохранился до наших дней. В восемнадцатом веке один из открывателей здешних мест, побывавший в котловине с отрядом казаков, писал в берг-коллегию:

«...А ямища сия зело обширна, кругла и склонами крута. Во глубину, ежели до уровня земли по отвесу, не менее сотни сажен, а в ширину будет более полуверсты, так что с края до края не докричишься. От верху по самую глубь заросла низким дубом, можжевельником и всяким стлаником и травами, кои по невежеству в ботанической науке назвать не умею...»

Не так давно (в год, когда родился Витька Мохов) горные бульдозеры хорошенько расчистили кратер и придали ему форму параболической чаши. Затем грузовые дирижабли уложили на склоны концентрические кольца из титановых желобов метрового диаметра. Сверху протянули через них радиусы — от центральной площадки до верхней кромки кратера. Так и возник знаменитый среди межпространственников Радар МП.

Гигантская решетчатая антенна была неподвижна. Ни вращать ее, ни менять угол не требовалось: совмещенные поля многомерных пространств, по официальной теории МП, излучали сигналы независимо от трехмерных координат.

Рядом с чашей РМП выросла обсерватория — с башнями, куполами, антеннами, жилыми коттеджами и прочим хозяйством. В пяти километрах от нее лежал поселок Ново-Яртыш — тысяч пять жителей, школа, больница, кино, станция информатория, вокзал местной железнодорожной ветки, администрация заповедника. Ибо вся Яртышская котловина считалась заповедной зоной.

Говорили, что здесь второй Крым. Витька считал, что это не так. Во-первых, близко нет моря, во-вторых, горы не такие острые. Но что-то было и в самом деле как в Крыму, у коттеджей росли кипарисы. В апреле зацветал миндаль. И небо, если только не случалось грозы, всегда было безоблачным и чистым. Впрочем,

последнее обстоятельство сотрудники «Сферы» не считали особенно важным. Несмотря на обилие телескопов, астрономией здесь занимались далеко не в первую очередь.

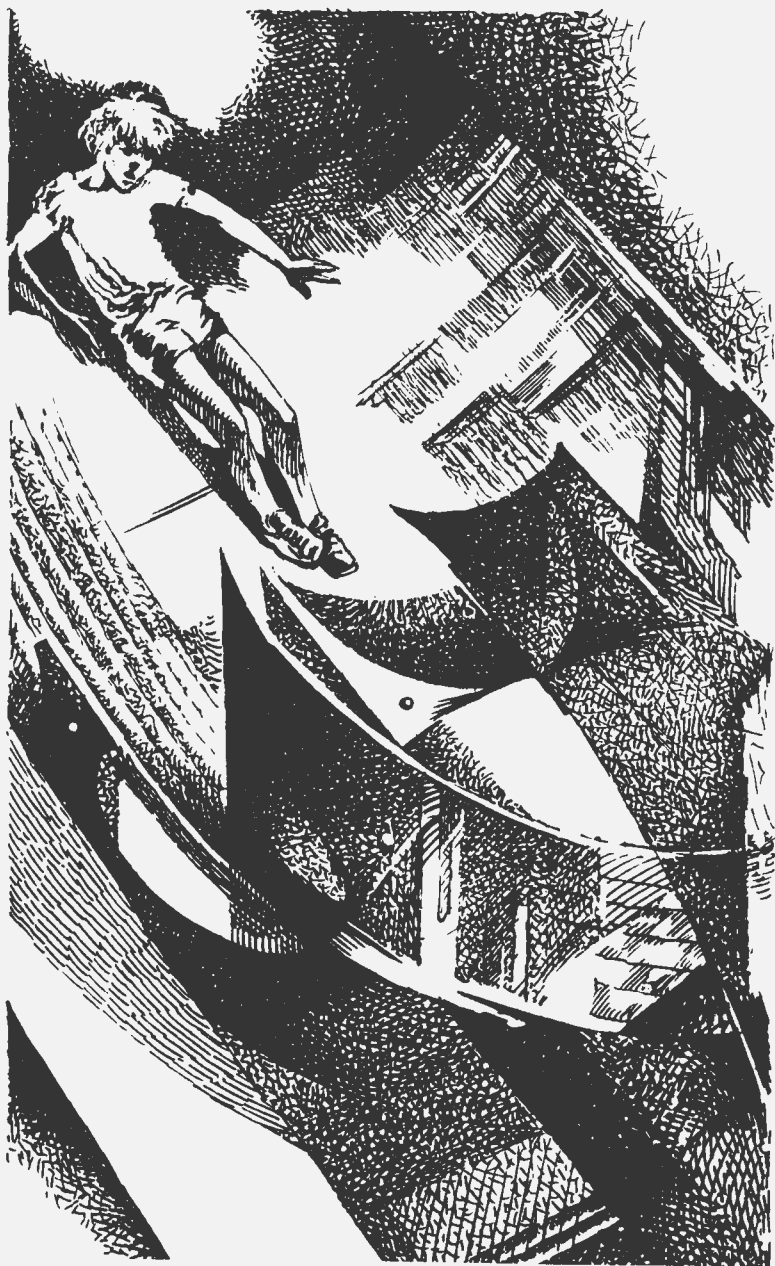
Наверно, правильнее было бы назвать обсерваторию не «Сферой», а «Кристаллом». Но название пошло от РМП, который напоминал внутренность зеленого полушария, выстланного серебристой радиальной сетью. Все равно не точно. Надо бы уж тогда — «Полусфера»... Витька думал об этом каждый раз, когда оказывался на краю гигантской антенной чаши...

К желобу номер пятьдесят девять Витька пробрался тайным путем, сквозь заросли у фундамента главного рефлектора. Солнце уже высоко стояло над заросшими дубняком склонами. Высушило кусты и травы, рассеяло туман. Однако в чаще сохранилась еще росистая влага. Витькина рубашка промокла, к лицу и ногам липли прошлогодние листики мелкой акации.

Отплевываясь, Витька выбрался к высокому бетонному парапету, который опоясывал весь РМП. Подтянулся, лег животом на край, потом встал на этой кольцевой стене, сложенной из блоков метровой ширины. Вдохнул и засмеялся от простора и света. Рядом переливчато свистела какая-то птица, а вся великанская чаша антенны была наполнена стрекотом кузнечиков. И запахом скошенной травы. Густой клевер и ромашки среди титановых колец и радиусов косили вручную полуголые практиканты зоотехнической службы заповедника. Солнце вспыхивало на лезвиях кос.

Верхний конец радиального желоба вделан был в парапет на одном уровне с бетоном (рядом — эмалевая табличка с числом 59). Первые несколько метров титановая отшлифованная полутруба уходила вниз почти отвесно. Витька потоптался, вдохнул, как всегда, перед «стартом». Впрочем, это — лишь две секунды. А на третьей он подпрыгнул, выкинул вперед ноги и ухнул в желоб.

Жуть падения ударила по сердцу. Почти как в тяжкие секунды прямого перехода. Свистел воздух, свистел по одежде металл. Но почти сразу Витьку прижала к титановому лотку центробежная сила. Несло его все еще очень быстро, но он уж не летел, а ехал. Наклон желоба



уменьшался. Стараясь не чиркнуть о металл икрами и голыми локтями, Витька принял сидячее положение.

Витькины старенькие пятнистые шорты уже порядком обветшали, и недавно Вероника Куггель украсила их сзади большой кожаной заплатой. Это было очень удобно для велосипеда и для таких вот «поездок». (Скицын ехидничал, что еще и для того момента, когда у деда «окончательно и полностью лопнет всякое терпение».)

Желоб звенел, воздух шумел, а навстречу Витьке... мчалась тележка-робот! Двухметровая черепаха с длинными, похожими на растопыренные крылья локаторами. То есть мчался сам Витька, а набитая нейросхемами черепаха мирно ползла, цепляя шестеренками зубчики на краях титанового лотка. Но не все ли равно!

Откуда она здесь, на радиусе № 59! Святые Хранители...

Откинувшись назад, можно пролететь под плоским днищем. Но за тележкой всегда тянется контактный шуп — толстенный конец кабеля с метелкой из медной проволоки! Доигрался, мальчик! Сейчас тебя этот хвост в свинцовой оплетке разделает надвое, как селедку...

Все эти мысли — в один крошечный миг. А потом — как он успел?! — удар правой ногой по скользящему металлу, тело швырнуло влево, темное брюхо робота задело волосы, кабель свистнул рядом. Медной метелкой огрело по ступне, сорвало кроссовку. Витьку опять вынесло в середину желоба, перевернуло на живот. Так он и ехал — неловко растопырившись, обжигая о гладкий титан коленки и перепуганно глядя на удалявшуюся тележку. Ехал все тише и наконец уперся в край центральной площадки ногами — левой кроссовкой и правой босой ступней.

Витька лежал, глядя вверх, вдоль желоба. Тележка была уже высоко и казалась маленькой. Полосатой своей черно-желтой раскраской и полупрозрачными крылышками она издавала напоминала пчелу. Их так и называли — «пчелы»... «У, с-скотииа,— мысленно сказал ей Витька.— Чуть мокрое место не оставила...» Он передернулся, представив, как это могло быть. Чудом ведь извернулся. Видимо, сказалось умение водить уланский диск, там вовсе вертишься, тренировочка...

К носу медленно подъехал сорванный кабелем башмак. Он был цел, только поцарапан. Витька сел, взялся за ступню. Кожа сбоку разодрана, будто когтистой лапой.

Ладно, сейчас не до лечения. Он стал натягивать кроссовку. Царапины не болели, но сильно болела пятка. В перепутанные от страха и досады мысли вдруг влезла не к месту (или к месту?) детская песенка — из тех, что не одобряют взрослые. На мотив замедленной лезгинки: «Укусила пчелка собачку за больное место... гм... за пятку. Вот какая вышла подначка, надо будет ставить заплатку...»

Он усмехнулся: «Пчелка...» Глянул опять на тележку через плечо. «Откуда ты взялась на этом желобе?»

Вот что самое непонятное и даже... страшное: о т к у д а ?

Задача тележек-роботов была улавливать пространственные связи и конфигурации, которые мгновенно и без системы возникали в точках совмещения многомерных полей. У каждой «пчелы» — свой закрепленный на схеме путь. Ходили они только по четным радиусам, да и то не по всем. А тут...

Ну ладно, перенесли зачем-то. Но ведь любой человек в «Сфере» знает, что Витька пользуется пятьдесят девятым, когда надо пересечь РМП по прямой. Конечно, это запрещено «категорически, раз и навсегда, а то больше ноги твоей не будет в обсерватории», но он же все равно катается, и всем это известно. И должны же были сказать: «Витька, не вздумай больше сигать по пятьдесят девятому, ставим «пчелу», расшибешь башку...»

А кто поставил? Почему именно на пятьдесят девятый? Как нарочно...

Нарочно?

Обдало холодком — как в тесных улочках у Цитадели, когда рядом свистят и проносятся уланские патрули, а ты сидишь в заросшей белоцветом каменной щели, и рядом у щеки дышит Цезарь, а под рубашкой катаются колючие шарики страха. Потому что опасность — всерьез...

«Хотя Цезаренок-то ничего не боится, кроме прямого перехода... Господи, а я чего боюсь? Здесь-то! Какие-то шляпы намудрили с тележкой, вот и все... Но кто?»

Теперь он крепко разозлился. И как всегда, страх от злости пропал. Витька вскочил, забрался на центральную площадку. Прихрамывая, пошел по гулким титановым листам. Сверху этот блестящий, диаметром в двадцать метров круг кажется небольшой тарелкой. И Витька знал, что он в своей темно-синей рубашке — как оди-

нокая муха на этой тарелке. Все равно кто-нибудь заметит и наябедничает деду. Но сейчас Витьке было наплевать.

По желобу номер два подошла к площадке тележка. Толкнулась о край буфером-контактом, приготовилась ехать обратно. Витька прыгнул ей на выпуклую черно-желтую спину, в тень алюминиевого крыла. Лег животом, уперся ногами в страховочную скобу. Откинул крышку аппарата контрольной связи. С размаха вдавил девятую кнопку.

— «Кристалл-два», дежурная бригада, — отозвался динамик девичьим голосом.

— Скицына позови! — рявкнул Витька в черную воронку микрофона.

— Ты, Витенька, поздоровался бы сначала...

— Скицына давай! Мне по делу, срочно!

— Совсем ты, Витька, охамел, — обиделся голос, но крикнул в сторону: — Их величество Витторио Первый требуют Михаила Петровича! Категорически!

— Чего тебе? — сказал Миханл через две секунды. — Пожар?

— Какие дураки посадили «пчелу» на пятьдесят девятый радиус? — со звоном сказал Витька.

Скицын сразу же понял:

— Ты живой?

— А ты видел перепуганных покойников?

— Целый?

— По счастливой случайности...

— Холера тебя носит! Смотреть надо, когда сигаешь вниз башкой!

— На пятьдесят девятом смотреть? Там сроду ничего не было!

— А сейчас откуда?

— Это я тебя спрашиваю... — сказал Витька. Его опять накрыло запоздалым страхом. Тележка между тем бодро ехала вверх. Скицын проговорил:

— Ничего я не знаю... Зачем переносить «пчелу»? Да и все бы про это слышали. Разве такое сделаешь незаметно? Полторы тонны...

«А в самом деле... — подумал Витька. — А может, ночью? Бесшумным грузовым дирижаблем? Но з а ч е м?»

— Слушай, ты, наверно, перепутал радиусы! Вечно носишься не глядя...

— Сам ты... — устало сказал Витька.

— Ты сейчас где?

— Где надо...

— Дуй домой, будем разбираться.

— Ну уж фиг! — Витька приободрился. Он словно перелил свою тревогу Скицыну и освободился от неприятного груза. — Дома я буду только вечером, потому что иду с Люсей в Итта-даг.

— Куда-куда? Опять в ту преисподнюю?

Витька захлопнул крышку и мстительно хмыкнул, представив, какой тарарам сейчас поднимется в «Сфере». И какую нахлобучку получают «новаторы», пересадившие «пчелу». Если... Если только... Да ну, чушь какая лезет в голову! Разозлившись на себя, он трахнул кулаком по спине ровно гудящей «пчелы». Потом подумал, что и самому ему не миновать вечером крупной нахлобучки. Это была мысль о привычном, и она успокоила Витьку.

Тележка ползла вверх уже очень круто, Витька теперь не лежал, а стоял на скобе, держась за крышку. А когда оставалось до края метров десять, он сильно толкнулся ногами, махнул через край желоба и упал в чашу орешника. Потом, цепляясь за ветки, выбрался наверх. Морщась от боли в пятке, залез на парапет. И сразу увидел, как от лесной опушки идет сквозь заросли иван-чая Люся.

Сразу все отодвинулось назад — «пчела», спор со Скицыным, глупый страх. Было утро, солнце, дорога. Витька прыгнул, пошел наавстречу.

2

— Здравствуй, — сказал он, и Люся засветилась:

— Здравствуй... Ух, какой ты взъерошенный.

Витька ответил без насмешки:

— Зато ты красивая за двоих.

Она была в отглаженной теннисной юбочке, в желтой блузке с белыми горошинами и белым галстучком. На длинных ногах новенькие желтые гольфы и белые сандаletки. И улыбалась — зубы крупные и круглые, как те же горошины на блузке.

— Будто в парк собралась. Обдерешься ведь...

— А сам-то! Руки-ноги тоже...

— Меня никакие колючки не берут.

— А меня, что ли, берут? Забыл, что я дочь лесничего?

Он сказал примирительно:

— Лесная фея... Ладно, пошли.

— Напрямик через лес?

— А другой дороги и нет.

— Ох уж!

— Я серьезно говорю... Прямо по меридиану.

— Значит, строго на север? Или на юг?

— Ох, да не по тому меридиану. Вот так...— Витька ладонью рубанул перед собой.— По гироскопу.

Люся вздохнула. Ничего, мол, я в этих делах все равно не понимаю...

Они перешли по пояс в траве поляну, пробрались через густой орешник опушки и оказались в полумраке под плотной широколиственной крышей. Здесь, в заповеднике, Витька до сих пор не знал всех названий деревьев. Лес был южный, среди могучих дубов и вязов стояли желтовато-серые, без коры, великаны с кружевными листьями. Их голые стволы оплетали мохнатыми канатами лианы с желтыми звездочками цветов. Чиркал по коленкам узорчатый густой папоротник и какие-то громадные ландыши. Воздух был как в прохладной гулкой аптеке — с валерьянкой и мятой. Кто-то шелестел и юрко шастал под ногами. Но змеи здесь не водились, шагать можно было без опаски.

Люся сказала вроде бы насмешливо, но со скрытой робостью:

— Все-то ты, Витенька, сочиняешь. Говоришь, всего пять километров идти... Я тут всю округу знаю, нет такого места. И папа говорит, что нету никакого Иттадага.

Витька прошелся по лежащему стволу — заросшему и трухлявому. Оглянулся через плечо.

— Как же нет, если мы туда идем? Просто название я сам придумал. «Итта» — это... ну, по имени одного марсианского племени. А «даг» значит «горы», «предгорья»... Говорят, в древности сюда добирались кавказские племена. Может, от них там и развалины...

— Сюда? Кавказские?

Витька прыгнул со ствола, усмехнулся:

— Ерстка...

— Что?

— Слово такое... Означает: «Может, было, а может, нет...»

— Это по какому? По-реттербергски?

— Что? — развеселился он. — Вполне по-русски!.. А ты же говорила, что не веришь ни в какой Реттерберг.

— Но ты-то веришь... Ай!

— Предупреждал ведь, что обдерешься. Под ноги не глядишь...

— Пустяки... — Люся легко перескочила мшистую, спрятанную в папоротнике корягу. — Просто я с тобой заболталась...

— Эн ганг найт цанг унд найт аогенданг, — назидательно сказал Витька на северном наречии Вест-Федерации... — Что означает...

— Да знаю! «На пути не мели языком, чтоб под глазом не быть с синяком»..

— Ух ты! — изумился Витька. — Откуда?

Она ответила с покровительственной ноткой, совсем как в прошлом году.

— Радость моя, зимой, когда ты грызешь науки в своем Ново-Томске, я, по-твоему, где? Здесь, в Яртышском интернате. А твои «эмигранты» где? Здесь же... От них и научилась.

— Но ведь... Их же, говорят, всех по домам разобрали, — неловко сказал Витька.

— Не всех... Да и учатся-то все равно они там, вместе... Уж будто бы ты не знал!

Витька неопределенно повел плечом.

Было дело, в прошлом августе он вывел своим путем из Южной Пищевой слободы семерых мальчишек и шестерых девчонок — маленьких арестантов какой-то подлой тюремной школы. Кир, хозяин «Проколотого колеса», сказал — надо. Отец тоже. Витька тогда еще понятия не имел ни о Якорном поле, ни о Башне, но как поступать в таких случаях, знал не хуже Пограничников... Скандал, правда, случился немалый, и Витька всерьез поверил, что дед надерет ему уши, как «в старые добрые времена»... Но в скором времени дело замаяли, тем более что ребятам все равно деваться было некуда... Потом Витьке и в голову не приходило, что кто-то будет об этом случае говорить и напоминать.

Он пожал плечами: наша, мол, о чем разговаривать. Люся поджала губы: сам начал, не я. Тут они вышли на конную тропу. Навстречу проскакали на лошадях без седел трое практикантов из учебного центра заповедника. Помахали руками.

Тропа вывела из леса в ложбину с луговой травой

и шапками кустарника. Воздух трепетал от кузнечиков и птичьего пересвиста. Сразу обдало солнцем. Прошли шагов двести среди высокой сурепки и белых зонтичных соцветий. С заросшего склона бежал среди кустов ручей. Вернее, даже речка — шириной метра три. Вода была темная, но очень прозрачная, видны все камушки.

— Перескочишь? — без всякой задней мысли спросил Витька. Люся покосилась и, насупившись, стала расстегивать сандаlette.

— Стой... — Витька присел, храбро ухватил ее за спину и под колени и, выгибаясь от тяжести, ступил в ручей.

— Ай... Сумасшедший!.. Утонишь ведь...

— Ага... — И хотя ноги сводило от холода (вода-то из горного родника), нарочно затоптался посреди речки, будто теряя равновесие. Ах, как здорово она завизжала и вцепилась в него... А на берегу опять сказала:

— Сумасшедший.

И он опять сказал:

— Ага...

Взяли влево, стали подниматься по склону, к зарослям. Люся наконец обратила внимание:

— Ты почему хромаешь?

— А... Укусила пчелка за пятку...

— В прошлом году ты был гораздо серьезнее..

— Ну и что? С возрастом все глупеют...

Началась чаща дубняка, склон стал круче. Ветки хватили за плечи. Под рубашку Витьке скатился твердый желудь.

— Тут тропинка, только ее не видно... Руку давай. Она послушно дала руку, но вдруг спросила:

— Вить... А Дину ты тоже носил на руках?

— Кого? — искренне удивился он.

— Ну, Дину Ясвицкую... которую ты с теми ребятами привел.

— С чего ты взяла?

— Она говорила... Ты ее нес от платформы...

— Святые Хранители! Состав стоял полминуты, насыпь высокая, дождь, скользко, они продрогли. Я и одних парнишек хватили всех на руки без разбора, тащили вниз... Я даже не помню, как кого зовут!

Он говорил правду. Он помог этим ребятам и считал, что дело сделано. Потом он с ними почти не встречался. Потому что... потому что разные он и они, это было ясно сразу. Конечно, они хорошие люди, особенно стар-

ший (Антон, кажется), но... Витьке неловко было от их какой-то сдавленности, прижатости. Наверно, потом все у них наладилось. Теперь им хорошо, это главное. А для Витьки важны были не те, кого он вывел о т т у д а. Важен был тот, кто т а м остался.

«Цезареныш...»

Никогда Витька вслух так его не называл. Ого, скажика такое! Но издалека-то, в мыслях, можно. И Витька заулыбался от наплыва радостной ласковости. И конечно, тут же толкнулось беспокойство: как он там?

А у Люси было свое на уме. И когда выбрались из дубняка к черной, горячей от солнца сланцевой осыпи, Люся отдышалась и спросила, будто слегка дурачилась:

— Вить, а ты раньше с девочками дружил до-настоящему?

Он уточнил серьезно:

— Кроме тебя?

— Ну...

Тогда он глянул краем глаза и сказал покаянно:

— Что скрывать, было. В давнем детстве...

— Правда?

— Ага... Ее звали Зинаида.

3

Все ее, семилетнюю, так и звали, полным именем. И ребята, и взрослые. Несмотря на миловидное личико и роскошные ресницы, была она храбрая, самостоятельная и твердо знала, что дети ничуть не глупее учителей и родителей. А иногда и умнее... Витька же в ту пору был нерешительный мамин мальчик, и что нашла в нем Зинаида, навсегда осталось непонятным.

Если бы ей просто нравилось командовать Витькой, тогда ясно. Однако Зинаида не помыкала мальчишкой, как иные капризные примадонны. Она старательно тянула Витьку «до своего уровня». Учила — серьезно, без насмешек — давать сдачи обидчикам, не бояться лезть по деревьям и прыгать в крапиву, спорить с учительницей, свистеть сквозь дырку от зуба и делать вид, что тебе весело, если на самом деле страшно. Может, ей нравилось, что он такой доверчивый и послушный? Нет, что послушный, не нравилось. Однажды она вскипела:

— Ну что ты такая тютя! Мингешь и молчишь! Хоть бы подрался со мной!

— Зачем? — тихо спросил Витька.

— Ну нельзя же быть таким синеглазым облизанным теленком!

«Синеглазый облизанный теленок» — это показалось оскорбительным. Витька подумал, вздохнул и стукнул. Она обрадованно треснула его по носу. Неведомые доселе чувства освободили в крайне обиженном первокласснике Мохове какие-то пружины: он коротко, без слез, взревел и кинулся в бой. И они подрались бурно и от души. В школьном буфете. И были доставлены в кабинет директорши, где после всяких грозных слов и поучений последовал приказ — мириться! Но мириться при директорше они не стали и покинули кабинет, показав друг другу кулаки.

Мир был заключен позже, после уроков, — крепкий и радостный. Зинаида храбро чмокнула Витьку в щеку и велела ему сделать с ней то же самое. И там, в уголке школьного весеннего сквера, по щиколотку в рыхлом снегу, они обещали друг другу «быть как сестра и брат».

С той поры Зинаида смотрела на Витьку как на равного. Но все же она была умудреннее в разных житейских делах. Чтобы Витька не отставал в развитии, она по-дружески посвящала его во всякие тайны. Так Витька узнал, например, что далеко не все младенцы вырастают в пробирках в Институте охраны раннего детства. Наоборот, случается это довольно редко, а чаще всего они при известных обстоятельствах заводятся в маминых животах, откуда и появляются на свет.

Витька поверил Зинаиде, но, потрясенный этим сообщением, решил уточнить подробности у мамы. И был большой крик, «чтобы ты больше не смел близко подходить к этой испорченной девчонке!». И мало того, мама пошла к учительнице. А учительница, поглядев на бледного Витьку и потом на маму, доверительно спросила:

— А что, он у вас в самом деле пробирочный?

Мама уткнула несчастного Витьку за руку из учительской почты по воздуху и заявила, что переводит его в другую школу.

И вот тут послушный и воспитанный мальчик Витя впервые устроил бунт. И объявил голодовку. Конечно, это был запрещенный прием. Но безотказный. Того, что «ребенок ничего не ест», мама боялась больше, чем всех испорченных девчонок на свете.

— Изверг... Кто мог подумать, что в тихом омуте вырастет такое чудовище? Впрочем, понятно в кого...

Тот, «в кого» было у Витьки все нехорошее, уже тогда жил отдельно от семьи. То в университетском поселке, то в «Сфере»...

Так или иначе, Витька выиграл сражение. И даже не поехал в летний лагерь, чтобы в каникулы быть с Зинаидой.

Они жили недалеко друг от друга, играли на пустыре позади остановленной стройки химкомбината. Иногда с ребятами, иногда вдвоем. Друг с другом им ни разу не было скучно. Даже если совсем нечего делать, можно просто сидеть в оконном проеме недостроенного цеха, качать ногами, болтать о чем-нибудь или петь всякие песни. А была еще такая забава: вытаскивают две доски из оставленного на стройке штабеля, вставляют их одним концом в щель между бетонными блоками в метре от земли, а на другой конец прыгают сами — каждый на свою доску. И качаются, летают вверх-вниз друг перед другом. И хохочут. Или опять поют. Надо сказать, у Зинаиды был голос чистый и звонкий, да и у Витьки хороший дискант...

И вот так они однажды качались и пели. И поскольку была вокруг солнечная пустота и полная независимость от всяких запретов, пели они песню о Жучке, известную всем с детсадовского возраста. Вдохновенно и трогательно:

Укусила пчелка собачку
За больное место...

Далее без церемоний называлось пострадавшее собачкино место и описывались мучения Жучки, атакованной вероломным насекомым. Ясные детские голоса выводили в тишине почившей стройки:

Стала Жучка охать и плакать
«Как же я теперь буду...»

Но тут Витькин дискант осекся. И Зинаида в сольном варианте закончила куплет, повествуя о горестных сомнениях многострадального животного. Ибо она качалась спиной к тропинке и не видела возникших там прохожих.

Прохожие эти были полный ошастый дядька и Витькина мама.

— Атас... — пискнул наконец Витька.

Зинаида по-балетному повернулась на носочке, скакнула в лебеду, сделала Витькиной маме и незнакомцу книксен:

— Здравсте... Витечка, я пойду, вечером поговорим, как дела.

Это не было малодушием и дезертирством. Это был реальный учет обстановки: помочь Витьке она все равно не могла и своим присутствием лишь сильнее раздосадовала бы его маму.

— Та-ак...— сказала мама.— Иди сюда.— И поскольку Витька стоял, как прибитый гвоздем, подошла сама.— Вот он, полюбуешься, Адам Феликсович... Я же говорила, что искал его следует на пустырях и помойках. Но я, по правде говоря, не ожидала, что он уже ~~освяти~~ такой... помойный репертуар...— В голосе мамы что-то стеклянно подрагивало...

— Да помилуйте, Кларисса Аркадьевна! — весело возгласил мамин спутник.— Это же детское устное творчество, оно корнями уходит в эпоху феодализма! Целый пласт нашей фольклористики, пока еще почти не тронутый...

— Ах, пласт...— Красивая интеллигентная мама выдернула стебель пертополоха и верхушкой огрела певца по ногам, а комлем по шее (за шиворот посыпались крошки).

— Кларочка, что ты делаешь! — Широкий Адам Феликсович быстро заслонил Витьку. Покрасневшая мама сказала:

— Одно к другому. Пусть и воспитательные приемы уходят корнями в феодализм...— Она выпустила чертополох и отряхнула пальцы.— Жаль, что сбежала эта красавица. Чтобы я ее рядом с тобой больше не видела! Предупреждаю последний раз!

— Не буду обедать, — быстро сказал Витька из-за локтя Адама Феликсовича.

— На здоровье! Можешь заодно не завтракать и не ужинать...

— И не буду...— сообщил Витька менее уверенно.— И... помру.

— Не успеешь. Оправившись в круглогодичный интернат, где из тебя быстренько сделают человека.

Витька заложил руки за спину и наклонил голову.

— Это при живых-то родителях?

— Одному родителю до тебя нет дела, а второго... меня то есть... ты скоро вгонишь в гроб!

Витька был уже искушен кое в каких жизненных ситуациях. Посмотрел на маминого знакомого, на маму.

— Понятно... Значит, третий — лишний, да?

— Виктор!

Адам Феликсович ухватил Витьку за плечи, прижал спиной к своему круглому животу, который весело колыбался.

— Кларочка! Этот гениальный ребенок попадет в интернат только через мой труп! А сделать из меня труп не так-то легко.

...Вечером Зинаида спросила:

— Думаешь, поженятся?

— Факт.

— Ну и дела... Знаешь, Вить, ты им не мешаешь. Пусть...

— Да я и не мешаю пока... А дальше видно будет...

— А отец-то навещает?

— Ага... нечасто. Почему-то он всегда грустный какой-то.

— А чего ему веселиться, — сказала мудрая Зинаида.

Новый мамин муж Адам Феликсович Римский-Заболотов и Витька зажили вполне по-дружески. Не то чтобы Адам очень нравился Витьке, однако нравилось то, что он не лезет в отцы и воспитатели. Ко всем жизненным сложностям отчим относился легко и без «лишних мудростей». Такой подход не всегда устраивал маму, но это уже другой вопрос. Зато дружить с Зинаидой она больше не запрещала. Да и недолгий срок отпустила этой дружбе судьба.

Осенью Зинаидиною отца переехали в какой-то НИИ в Харьков, и она уехала вместе с родителями. Ну, погрузили оба, попереписывались немого, несколько раз говорили по видею. А потом... жизнь есть жизнь, у каждого своя. Но, конечно, Витька был рад всегда, что на восьмом году этой жизни постречалась ему Зинаида. Да и та, наверно, была рада...

— Дружил, — вздохнул Витька. — Только это у-у-у когда было... Осторожно! — Он дернул Лёсю за руку. Сверху со стуком ехала маленькая лавина сланцевых плиток. — Тут глядеть надо.

— Я здесь, оказывается, и не бывала ни разу.

Склоны были теперь безлесными. Осыпь кончилась, справа и слева торчали скалы, похожие на громадные серые клыки. Между ними сновали какие-то пестрые птички с хохолками. Перекинулись: «Черр... черр...» Скоро скалы — темные, ребристые — обступили со всех сторон. Этаким гигантский «сад камней». Люся смотрела уже с беспокойством:

— Вот странно. Будто и не рядом с домом, а где-то... Это и есть Итта-даг?

— Не совсем еще. Но близко...

— Жарко. Жаль, фляжку не взяли.

— Здесь рядом родник.

Теперь скалы выстроились в два ряда. Казалось, что Люся и Витька идут между развалинами крепостных стен. Слева в толще дикого известняка вдруг видна стала искусственная кладка — стенка из желтоватых пористых камней, а в ней маленькая сводчатая ниша. Там из каменного желоба падала стеклянная струйка.

Люся радостно взвизгнула, прыгнула вперед, подставила ковшиком ладони. Уткнулась в них губами. Потом повернула к Витьке мокрое веселое лицо:

— Холодная такая... — Смахнула на него брызги с ладоней, засмеялась.

Витька тоже напился. От ледяной воды ломило руки и зубы.

Люся присела на плоский камень.

— Отдохнем чуть-чуть, ладно?

Витька спиной прислонился к теплomu известняку. Сказал снисходительно:

— А говорила — не обдерешься. Вон дырки-то...

Люсины желтые гольфы были порваны в нескольких местах.

— Подумаешь... — равнодушно отозвалась она. «Устала», — с беспокойством понял Витька.

— Ой... — Люся вдруг потянулась к травяному кустику с мелкими желтовато-белыми цветами. — Я таких не видала.

— Не рви! — вскрикнул Витька.

— Я не рву, что ты. Просто смотрю...

Витька объяснил, будто извиняясь:

— Они редкие.

— Реликты!

— Не реликт, но все равно редкие. Только здесь растут...— Он сел перед кустиком на корточки. Листья были мелкие, как зеленые чешуйки. У каждого цветка пять лепестков, каждый лепесток — будто крошечная растопыренная ладошка. Витька сказал:

— Они называются «андрюшки».

— Почему? — Люся, кажется, повеселела.

— Ну... так. Бывают васильки, анютины глазки, а эти — андрюшки.

— Ты, наверно, это сам придумал. Как Итта-даг...

— Не-а...

«Андрюшек» придумал Цезарь. Ранним летом Витька выпросил его у родителей на два дня и привел сюда. Это случилось единственный раз, потому что путь через Окружную Пищевую не близкий, а прямо — перехода Цезарь не знал. И знать не хотел, боялся. Однажды он виновато и прямо признался в этом Витьке.

До той поры Витьке было известно, что Цезарь Лот боится в жизни лишь одного: что опять арестуют мать и отца. Но после судебной реформы и отмены обязательных индексов не так-то просто было в Западной Федерации кого-то арестовать. Особенно всем известного штурмана Лота.

...Витька выпрямился.

— Люсь, может, пойдём? Недалеко уже. Скоро остатки крепости, там в фундаменте щель и подземный ход...

— Ой...

— Не бойсь,— дурашливо сказал Витька.

Храм без купола

1

Каменный коридор был высоким, но темный, не шире метра. Он полого уходил вниз, под толщу горного склона. Почти сразу стало темно. Витька вынул из нагрудного кармана плоский фонарик-зеркальце. Эта штука работала без батареек, от тепла руки. Слой похожих на бисер микролампочек давал рассеянный, но яркий свет. «Зеркальце» Витька держал в левой руке, а правой взял Люсю за холодные пальцы. Она молчала.

Стены и свод были грубо выбиты в камне, но пол устилали ровные плиты. Кое-где даже со следами стершегося узора. Было сухо и чисто, словно только что подмели. И запах — словно не в подzemелье, а от камней, согретых солнцем.

Но скоро стало прохладно. Люся передернула плечами. Вниз повели крупные, плохо отесанные ступени. Витька знал — их шестнадцать. Потом опять пошел наклонный туннель.

Дыхание слышалось громко, а слова, наоборот, почему-то вязли в глухоте коридора. Люся сказала виновато:

— Мне под землей всегда не по себе. Кажется, будто она оседает и навалится.

— Ты же лет не оседала, а теперь вдруг, как напропалую, да? — очень бодро и насмешливо отозвался Витька.

— Вить, а кто это вырыл?

— Точно не известно... То есть вообще ничего не известно.

— А ученые-то что говорят?

— А они ничего не знают про это. Не добирались сюда.

— Почему? Это же совсем рядом!

— А то, что рядом, их мало волнует, — уклончиво сказал Витька. — Потрошат и атомы, и галактики, а простейших вещей до сих пор не знают.

— Каких, например?

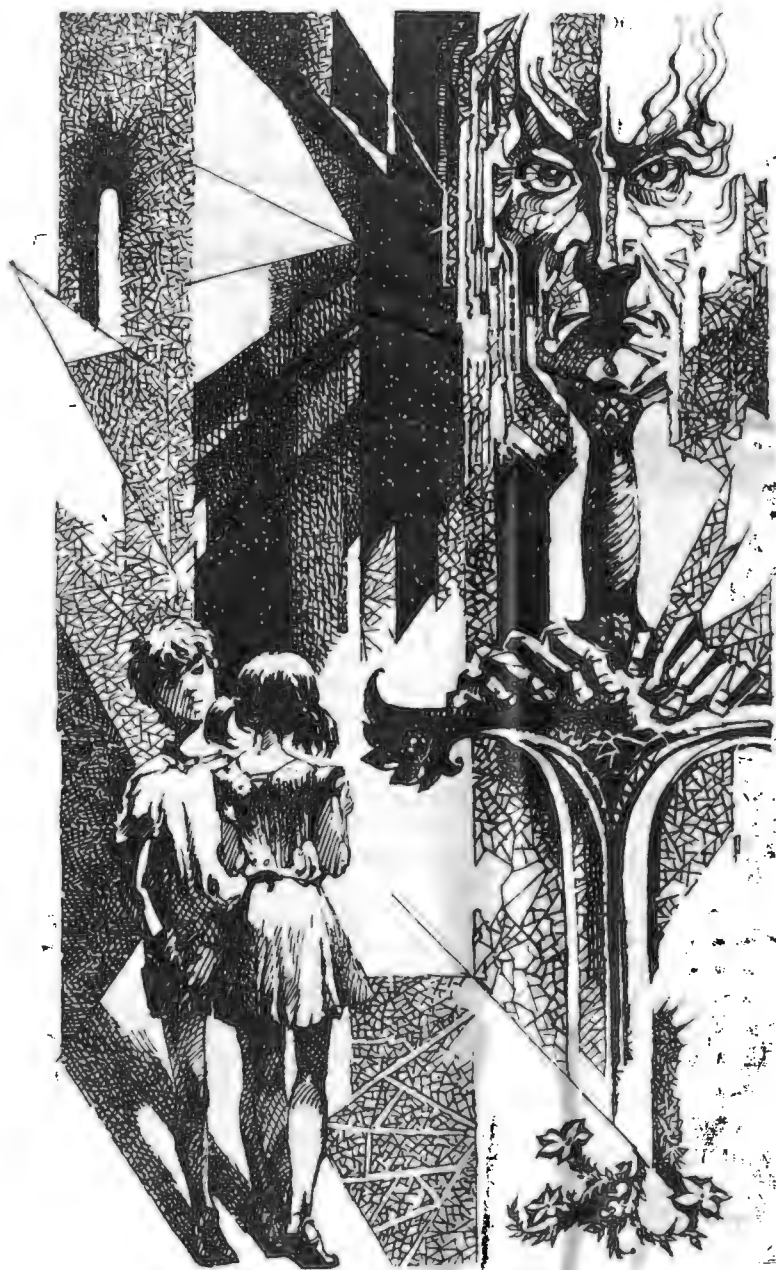
— Ну... например, почему человеку ни с того ни с сего бывает то весело, то грустно... Или почему сосульки вкуснее мороженого.

— Да ну тебя, я серьезно...

— А я, думаешь, нет?

— Ай!.. — Люся дернулась назад. Из глубины коридора кто-то смотрел широко расставленными глазами.

— Не бойся, — Витька потянул ее вперед. Коридор уперся в стену. На стене была мозаика — большой портрет старого человека с прямыми седыми волосами. Человек положил узловатые пальцы на широкую перекладину меча, подбородком уперся в головку рукояти и устало, но пристально смотрел на подошедших. Белки его глаз были выложены из кусочков перламутровых раковин и белки свежо и чисто. А зрачки — глубокие и грустные. Глаза — в темных впадинах, да и все лицо



темное... Местами тускло-цветные камешки мозаики осыпались, одна щека совсем исчезла. От этого лицо казалось еще печальнее. Но суровости в нем не было.

— Это кто? — прошептала Люся.

— Наверное, один из Хранителей...

— Кто?

— Это... ну, понимаешь, есть такие легенды всякие, истории... О людях, которые спасали и защищали других людей. В общем, о тех, кто всю свою жизнь этому отдали. В некоторых странах они считаются как святые, им даже храмы строят.

— Никогда не слыхала.

— Услышишь... если захочешь...

Каким-то нехорошим получился этот ответ — с излишней важностью и хмуростью. И Витька сказал уже иначе, ~~еще~~ более:

— Скорей всего, это портрет Первого Командора. Он жил в древности на каком-то средиземном острове. Он считается главным Хранителем детей... Вот, значит, и нас с тобой. Годится?

Люся отозвалась без улыбки:

— Какой-то... неласковый... Но все равно интересно.

— Здесь еще в тысячу раз интереснее будет! Пошли!

Слева был прямоугольный проход. И опять несколько ступеней вниз. И там — большая квадратная комната.

— Ох... — выдохнула Люся, и это «ох» разнеслось под высоким сводчатым потолком.

Здесь не было полного мрака. В полукруглые, прорезанные у потолка окна проникал желтоватый рассеянный свет — словно много раз отраженные и потерявшие силу солнечные лучи.

— Вить, откуда это? — Люся недоуменно смотрела вверх. — Мы же под землей!

Он сказал как можно беззаботнее:

— Я тоже думал: откуда? Потом догадался. Наверх идут каналы, они выложены стеклом или перламутром от раковин. И получаются световоды. Древние строители много хитростей знали...

Витька придумал это объяснение на ходу. Едва ли были какие-то каналы. И откуда свет — неясно. Витьку, однако, эта неосведомленность не пугала, он видел и не такое. А Люся боится непонятного, пусть думает, что световоды. Пока...

— Смотри, сколько тут всего! — Зеркальцем-фонариком Витька провел по стенам. Сумрачные фрески расцветали на свету. Переплетенные деревья, белые птицы, размахнувшие на полстены крылья; вздыбленные кони, воины среди зубцов крепостной стены. И лица — старые и совсем детские (но все равно неулыбчивые)...

— А вот опять Хранитель...

Высокий безбородый старик — с тем же мечом, что на первой мозаике, в темно-вишневом плаще, стоял среди сумрака и созвездий. Прямой, со сжатым ртом. Одной рукой опирался на меч без ножен, другую выкинул над собой — ладонью вверх и вперед. Он будто оставлял какую-то идущую из пространства опасность.

Старик защищал не себя, он держал руку над мальчишкой.

Мальчик — худенький, с проступившими под кожей ребрами — был беззащитен в своей наготе, как бледно-желтый росток на кромке гранитного обрыва. Но он не боялся. Он верил в оберегающую силу Хранителя. Он, в отличие от всех других, кто здесь на стенах, даже слегка улыбался. Лицо мальчишки было запрокинуто. Встав на цыпочки, он тянулся вверх и слетал над головой пальцы своих ладоней. Словно прикрывался от невидимых лучей и в то же время стремился им навстречу.

— Красиво... сделано, — скованно сказала Люся. И Витька догадался: ей неловко при нем смотреть на голого мальчишку, хоть это и картина.

Кое-где кусочки мозаики вывалились, и тело мальчика словно пробито было кубическими пулями. Но он все равно был беззаботный и живой.

— Гляди на его руки, — быстро сказал Витька. — Видишь, как они соединяются? Одна ладонь вверх, другая вниз. Это символ кольца Мёбиуса.

— Да?

— Да... Древний знак соединенных пространств.

— Красиво, — опять сказала она. И добавила, помолчав: — Древние люди были настоящие мастера, верно?

— Еще бы! Они уже тогда знали, что здесь Меридиан. Поэтому и поставили обсерваторию.

— Я думала, это храм.

— И храм, и обсерватория... Пойдем. — Он потянул ее за руку, уловив еле ощутимое сопротивление. Впрочем, тут же она шагнула следом.

За коротким коридором было еще одно помещение.

Вот уж действительно храм! Большой восьмиугольный зал. Точнее, квадратный, но со срезанными углами — четыре стены широкне и четыре узкие. В узких были прорезаны окна-щели, в них тоже сочился отраженный от камней свет. Широкое, как желтое одеяло, пятно от фонарика опять пошло по стенам, выхватывая лица, крылья, лошадиные головы и складки одежд. Потом в нише у самого пола заблестели громадные стеклянные колбы. Разбитые.

— Здесь были большие песочные часы...

— Жаль, что разбились, — послушно сказала Люся. — А там что?

В другой нише ~~оказалась~~ желтые блики метровая медная дуга с ~~желениями~~, а рядом лежало черное, видимо ~~дуги~~ колесо.

По-моему, это старинный гироскоп. — Витька хотел еще объяснить, почему он так думает и что такое гироскоп на Генеральном меридиане.

— А-а... — сказала Люся и посмотрела вверх. Витька повел туда фонариком. Стены, сужаясь, переходили в сводчатый потолок. Однако в центре храма потолка не было — пространство уходило вверх широкой цилиндрической пустотой. Как в церкви с круглой башней, увенчанной куполом. Но от края зала, от стены, всю внутренность башни и купола было не разглядеть. Видны были только нижние края узких окон, в которые шел все тот же нерешительный полусвет.

— Высотища! — вздохнула Люся.

— Да. Теперь идем, — Витька решительно повел ее к центру. — Смотри под ноги, не запнись.

Посреди храма поднимался круглый постамент из камня. Высотой Витьке до колен. Или телескоп здесь когда-то стоял, или, может, статуя Хранителя... Витька вспрыгнул, потянул Люсю. Она ойкнула: оказывается, шла с закрытыми глазами.

— Теперь смотри вверх

Витька ожидал, что она вскрикнет. Или хотя бы охнет негромко. Но она только прижалась к его плечу. Помолчала и спросила шепотом:

— Вить, а как это сделано?

Он слегка ~~подвинулся~~.

— Это не сделано. Это по правде...

Купола не было. Вместо него — небо. Высокое, густо-черное, как в середине августовской ночи. С россыпью переливчатых далеких звезд.

Далеких — но по-разному. Одни виднелись просто далеко, другие — в страшной космической глубине. Некоторые, казалось, вот-вот взорвутся от избытка своего белого или голубого света. Но таких было не очень много. Больше — просто ярких. И не очень яркие были. И совсем крошечные искорки, они еле проклевывались сквозь великое пространство космоса. А всех вместе — громадное множество. Кое-где клочками светлого дыма висели звездные туманности...

— Но мы же под землей...— тихо, потерянно сказала Люся.

— Ну... мы-то да... А храм уходит вверх. Сама видишь, какая высота.

— Но сейчас же день...

В окна-щели по-прежнему сочился неясный свет очень далекого отраженного солнца. А над этими окнами — чернота ночи и праздничный блеск созвездий.

— Видишь ли...— Витька подавил в себе неожиданный толчок досады.— Это... наверно, эффект колодца. Слышала, что со дна колодца можно увидеть звезды?

— Кажется, слышала... Но здесь же не колодец. Вон как широко...

— Ну и все равно... Сама видишь.

Конечно, про колодец — это ерунда. Ни другим, ни себе Витька не мог бы объяснить, почему здесь видно звездное небо. По силам ли ему, пацану-шестикласснику, разобраться во всем, что происходит на стыках граней Кристалла и в витках многомерного Сопределья? Но кое о чем рассказать он все-таки мог. Про Генеральный меридиан, про споры о Мёбиус-векторе, который указывает путь с грани на грань. И про сам Кристалл Вселенной, где каждая из бесчисленных граней — целый мир. А главное — про переходы из одного такого мира в другие. Туда, где живут друзья. Пограничники...

Он и хотел рассказать про это. Еще недавно хотел. Когда шли сюда...

А что мешает сейчас? Да ничего... только... Почему она такая сделалась?

— Ты боишься? Люсь...

— Я? — сказала она чуть удивленно. Не опуская лица, мотнула головой. — Нисколько.

И не должна. Ведь локальный барьер у осыпи она прошла, не моргнула. Скицын и тот застрял при первом разе, а она даже не заметила...

Люся по-прежнему смотрела вверх. Потом, не опуская лица, шагнула вперед, соскочила с постамента, села, все так же глядя в небо. Сказала тихо:

— Смотри-ка, они движутся...

— Конечно! — обрадованно отозвался Витька. Сел рядом. Осторожно, почти незаметно звездное небо перемещалось в черном круге. Справа налево. — Гляди, сейчас появится... пятнышко такое... Вон, у синей большой звезды!

— Вижу... Это что, спутник?

— Какой же спутник! Приглядишься внимательно. Оно как завиток, спираль... Видишь?

— Кажется, да.

— Это галактика Гельки Травушкина.

— Кого?

— Мальчик был такой... В дальних краях. Он однажды порвал темпоральную петлю, чтобы спасти друзей...

— Что порвал?

— Ну, кольцо времени. Есть такое физическое понятие. Он для этого взорвал рельсы на мосту. И сорвался, упал.

— Разбился?

— Он... понимаешь, он ударился о планету. И родилась новая галактика.

— Это легенда?

Витька повел плечом.

— Какая же легенда... если галактика вот она...

— А этот мальчик... он, значит, погиб?

— Наверно, он ожил в этой, в своей галактике. Она же его. Так Юкки говорит...

— Кто?

— Мальчик один, путешественник. Он ходит по всем... дорогам, знает кучу историй.

— Как он ходит по дорогам? Один?

— Иногда один, иногда с сестренкой.

— А кто их отпускает путешествовать?

— А кого они спрашивают! — вырвалось у Витьки.

Люся вздохнула. Зябка шевельнула плечами, хотя

было не холодно. Витька понял, что ей кажется, будто сверху дышит сам Космос. Она согнулась, натянула до отказа гольфы — так, что они закрыли колени, потом попыталась натянуть посильнее и белую нзмятую юбочку. Поежилась опять, ухватила себя за локти.

Вот тут бы взять ее ладонями за плечи, придвинуть к себе. Ну, честное слово, без всяких мыслей о любви и объятиях и о всякой чуши, просто чтобы ей стало теплее от его рук. Не посмел. Почему? Сгреб ведь недавно в охапку и перетащил через ручей без всяких церемоний. А сейчас... Нет, ему мешала не мальчишеская робость, а что-то иное. То же, что мешало начать разговор о пространствах и Пограничниках...

Витька положил себе фонарик на колено — чтобы не гас без тепла. Стащил через голову рубашку, накинул Люсе на спину, как плащ, рукавами вперед. Тяжелый медный петушок царапнул ему ладонь.

— Вить... — вдруг вздохнула Люся. — Я за тебя боюсь.

— Да брось ты, мне не холодно, у меня еще майка.

— Я не про то...

А про что она? Ведь он же ничего еще ей не рассказал. Почему-то опять вспомнилась «пчела». И мохнатый шарик страха прокатился по спине. Витька спрятал тревогу под хмурой шуткой:

— Разве я тебя за этим сюда привел?

Она промолчала, но будто спросила: «А зачем?»

Гелькина галактика уже ушла за край круга. Теперь в его центре висела маленькая, с аккуратным хвостиком комета...

— Посмотри, — сказал Витька с последней надеждой.

— Да... Забавная такая. Как на картинке.

— Я не про комету. Просто на звезды посмотри. Подольше... Похожи на что-нибудь?

Она смотрела целую минуту. Старательно.

— На огоньки. На искры... Они же разные...

Цезарь, тот увидел почти сразу. Если глядеть пристально, скоро многие звезды делались похожими на далекие-далекие светящиеся окна. Такие, как в маленьких домах, на окраине старого города. С переплетом в виде буквы Т...

Но сейчас Витька смотреть не стал. Все равно свои глаза другому не подаришь... Он решительно взял Люсю за кисти рук.

— Пойдем... Ух, замерзла-то, вся в гусиной коже.

Она не спорила. Только с какой-то мыслью свела брови и прикусила губу.

Вверх шли быстро и поднялись очень скоро. День ошарашил их своим жаром и светом. Люся зажмурилась, заулыбалась. Бросила на траву рубашку. Витька поднял, отцепил петушка. Скрутил рубашку жгутом, подпоясался. Значок приколот к майке, а фонарик стал заталкивать в карман на шортах.

— Откуда он такой? — спросила Люся с виноватой ноткой. — Никогда раньше не видела.

— Так... подарок.

Фонарик подарил Цезарь, здесь таких не делали.

— Знаешь, Вить, было очень интересно... — нерешительно сказала Люся. — Только я ужасно боюсь подземелий. Даже в погреб стараюсь не лазить лишний раз.

— Ничего. Все уже позади, — хмыкнул Витька.

— Может, ты жалеешь, что взял меня сюда? Или боишься, что разболтаю?

— Ни капельки, — искренне сказал он. Потому что знал: никто без него не найдет сюда дорогу. — Ладно, пошли...

— Ой, а ты опять хромаешь.

Нога снова болела.

— Ерунда. Я же говорю: стукнулся пяткой...

— Может, вылечишь ее... своим шариком?

— Неохота возиться. Почти не больно, дохромаю до дома.

— Дорога-то все-таки длинная...

Витька поморщился, Люся замолчала.

Наверное, она думала, что он злится или обижается. А он — ни то, ни другое. Просто было скучно. Так бывает иногда среди затянувшейся игры. Вдруг понимаешь — все надоело. Кругом по-прежнему бегают, шумят, веселятся, а тебе уже не хочется. И знаешь — сегодня больше ничего интересного не будет. Лишь пустой вечер перед сном...

Чтобы спрятать эту скуку, Витька сказал бодро:

— Длинной дороги не бойся! Я ведь хитрый. Сейчас перевалим через горку, а там шоссе и автобусы, через Яртыш идут. Остановка у самой «Сферы».

— Ой... а почему сюда не поехали на автобусе?

— Для пушей романтики. Чтобы путешествие...

Не объяснять же теперь, что такое локальный барьер и почему в Итта-даг можно пройти лишь у осыпи...

«Горка» оказалась ничего себе, забирались минут двадцать. Опять через дубняк и всякие колючки. Люся еще больше обтрепала юбочку и блузку. Но лезла за Витькой послушно и неутомимо.

Для спуска нашли удобную тропинку. И скоро стояли на обочине теплой от солнца бетонки, рядом с решетчатым павильоном автобусной остановки «Солнечные часы».

Сами часы видны были через дорогу. Низкий гранитный цоколь, на нем трехметровый наклонный круг с медными ликами солнца и месяца, черные числа и блестящий, как меч, треугольный перпендикуляр из нержавеющей стали. Тень от него лежала между цифрами 4 и 5.

— Смотри-ка, уже половина пятого! То-то я такая голодная!

— Часы неправильно поставлены,— глядя вдоль тракта, сказал Витька.— Сейчас ровно четыре. То есть шестнадцать.

— Ох уж! Откуда ты знаешь?

Витька вынул и молча показал зеркальце. Под бисерным слоем микролампочек светилося красное, чуть размытое число 15.59 и прыгали, торопясь к нолям, секундные цифры.

— Подумаешь,— притворяясь беззаботно-упрямой, зевнула Люся.— Может, как раз у тебя неправильно. Элементы сели...

— Здесь нет элементов... Не веришь мне, поверь петуху. Петухи всегда в четыре часа пополудни орут. Слышишь?

— Не слышу...

— Да ты что! Вон там, за деревьями!

Из-за росших вдоль тракта разлапистых кленов от какого-то недалекого поселка долетел отчетливый петушиный крик.

— Не слышу,— снова сказала Люся.

Петух опять веселым штопором ввинтил в воздух свой сигнал.

В воздух? Или...

Люська же вот не слышит...

А может, и правда снова удрал от Филиппа, сидит под колоколом и орет на всю... на весь Кристалл?

А если не удрал? Если — нарочно?

Черт, здесь никогда ничего не узнаешь. То ли дело в Реттерберге...

«Ты врешь,—сердито сказал себе Витька.— Тебе просто хочется т у д а. Раньше обещанного срока... Дед опять будет ругаться, а отец скажет: «Какая тебя муха укусила...»

«Ага, укусила... Пчелка за пятку...» И сразу — жуть воспоминания: летящая навстречу махина тележки, рубящий пространство кабель... А если все это связано? Петух, «пчела», непонятный страх?

Витька зажмурился, вздохнул, словно вновь пропуская над собой стремительную тяжесть робота.

«Да при чем здесь «пчела»? Это же просто дурацкий случай... У тебя, Витторнио, кислое настроение, потому что не получился там, в храме, разговор. А к такому настроению все дурацкие мысли и страхи клеятся...»

А петух еле слышно, далеко, но все еще кричал.

«Но я же боюсь не за себя,— понял Витька. И посмотрел на Люсю.— И не за нее. Она здесь тоже ни при чем...»

— Люсь, часики все-таки точные,— сказал он твердо.— Хочешь на память? На, держи...— Он вложил зеркальце ей в ладонь. Да, это был подарок Цезаря, а подарки отдавать другим не полагается, но сейчас ничего другого Витька придумать не мог. Чем-то надо было загладить вину перед Люсей. Ведь то, что он сделает через минуту, будет плохо. Обидно для нее, непонятно.

Она смотрела и радостно, и неуверенно:

— А... почему? Я же...

— Надо,— вздохнул он. Желто-красный автобус из трех сцепок уже подкатывал, шипел тормозами.

Витька потянул Люсю к сложившейся в гармошку двери, пропустил вперед, подтолкнул:

— Давай...— И сам отскочил назад.— Сойдешь у «Сферы», забеги к Скицыну, скажи: Витька уехал на два дня. Миша поймет...

Люся испугалась по-настоящему:

— Куда ты?

— Срочно надо. Потом объясню.

Она качнулась к нему из двери. Но он вскинул скрещенные ладони: «Все! Решено!»

И дверь шумно задвинулась, и автобус зашипел, приседая на шинах и набирая ход. И ушел, оставив мальчишку в пустоте жаркого дня. Петуха уже не было слышно, зато в траве у обочины ободрающе трещали кузнечики.

Витька прищуренно глянул через дорогу. Правее солнечных часов деревья словно таяли, размывались в воздухе. В открывшемся дымчатом пространстве косо торчал угол зеленоватого трехэтажного дома с квадратной башенкой над карнизом.

«Значит, правильно. Все как надо...»

Этот дом с обшарпанной штукатуркой, ржавым флажком-флюгером на шпиле башенки и мятой трубой водостока возникал везде, где Витьку настигало неодолимое желание оказаться там. И Витька знал, что позади дома, за разваленным каменным забором, идет по ложбине грузовая рельсовая линия, которая потом выходит на Окружную Пищевую. Надо только дождаться состава, который на подъеме «пых-пых», догнать заднюю платформу...

Стараясь не ступать на большую пятку, Витька перебежал горячий бетон, потом жесткую траву обочины. С размаха уперся ладонями в зеленую штукатурку. Отдышался, посмотрел назад. Не было тракта, часов и остановки. Были старые дома Рыночного пригорода, кирпичная башня церкви Смиренных искателей. Пыльные заросли стрелолиста.

У мусорного контейнера сидел мирный окраинный пес клочковатой реттербергской породы. Взглядом спрашивал: «Ты мне что-нибудь дашь?»

Витька развел руками:

— Извини, сам лопать хочу, да ничего нет.

Пес извинил. Помахал хвостом. Негромко, далеко еще, прогудел грузовой локомотив.

Пробитое стекло

1

Товарный состав неспешно ехал по высокой насыпи через болотистую равнину. Над круглыми грудями кустов, над камышами и зеркальцами воды сновали темно-серые птички. Может быть, кулики?.. Витька сидел на порожном ящике у левого борта платформы. Эта задняя открытая платформа была пуста, лишь перекатывалась туда-сюда гулкая жестяная каннистра.

Слева и впереди открывался Реттерберг. Белые с разноцветными крышами коттеджи предместий, за ними

блестящее на солнце стеклянное многоэтажье. Зеленая гора со старинной крепостью, иглы антенных вышек, маленькие на фоне небоскребов колокольни и средневековые башни...

Болото кончилось, потянулся луг. Насыпь стала делать плавный поворот, путь пошел на подъем. Состав сильно замедлил ход. Витька перебрался на подножку и прыгнул. Съехал на кожаной заплате по ровной траве откоса. И пошел через луг, путаясь кроссовками в низком клевере и раздвигая стебли высокого прянника — похожего на иван-чай, но с белыми цветами, которые разбрасывали густую пахучую пыльцу. Летали бабочки, что-то звенело в траве.

...После судебной реформы, скоропалительно проведенной правительством Западной Федерации, после всеобщей амнистии и отмены обязательных биоиндексов отец перебрался из таверны «Проколотое колесо» в Плоский квартал — старое предместье, которое треугольным мысом втыкалось в луговые окрестности Реттерберга на юго-западе.

Зачем он переехал? Кто его знает. Может, не хотел осложнять жизнь Киру, хозяину «Колеса». Может, что-то вышло между ними (хотя едва ли: Кир на отца чуть не молился). Может, отцу и правда удобнее работать на новом месте? Хотя чем удобнее-то? Квартира маленькая, на верхнем этаже пыльного двухэтажного дома — комната да кухня. И делать все приходится самому, а в «Колесе» Анда помогала, дочка хозяйская. И безопаснее там было. Отец говорит: «Какая сейчас может быть опасность? Реформа же! Вот и уланский корпус передали в ведение муниципалитетов. И экран у меня к тому же...»

Экран — это конечно. Могучее защитное поле силового генератора с принципом действия, который неизвестен здешним властям и ученым деятелям. Да ведь на него энергии не напасешься...

Луг закончился, Витька прошел через квартал дощатых домишек с огородами и пленочными теплицами. Это были остатки знаменитого раньше «Деревянного пояса», где обитал всякий сомнительный люд. Местные пацаны с неулыбчивыми лицами играли на немощной дороге в «банки-обручн». На Витьку смотрели без дружелюбия, но не прнставали. Знали уже.

Потом потянулась Сухоречная улица с дешевыми

кино, мастерскими и магазинчиками в первых этажах старых домов, чахлый сквер с громким названием «Сад принцессы Анны», а за сквером показался угловой дом, где и жил Михаил Алексеевич Мохов — эмигрант, частный экспериментатор, паспорт-браслет номер такой-то, индекса не имеет.

Вход был отдельный — на узкую деревянную лестницу. Витька, слегка нервничая, набрал на двери сложный семизначный код плюс еще две цифры — свой позывной — чтобы отец не кричал через динамик: «Кого там несет?»

На лестнице пахло пылью давно не мытых ступеней. Дверь в комнату была приоткрыта. Отец оглянулся на шаги. Он сидел у обширного (и очень старого) стола, заваленного пленками, программными дисками и бумагами. На столе горела желтая лампа, окно было завешено черной шторой, в дырку на ней пробивался колющий лучик.

— Ну-с,— без особой ласковости произнес Мохов-старший.— Ваше сиятельство явилось. Как всегда, раньше графика... Чем обязан?

Витька скинул кроссовки. Сел на узкую кровать, привалился спиной к штукатурке. Поставил пятки на край жесткой постели (в правой опять толкнулась боль). Обнял белые от пылицы пряника колени, взглянул из-за них на отца. Тот, как обычно, всклокочен и небрит. Густо-густо, гораздо заметнее, чем раньше, блестит в щетине седина.

— Ну... чего прискакал-то? — спросил отец уже мягче.

— Соскучился,— сказал Витька тихо, но с вызовом.

— Уж будто бы...— пробубнил отец. И отвернулся к столу. Витька вздохнул, подошел. Взял отца за плечи, грудью прилег на его костлявую спину. Почесал ухо о его колючую щеку. Прежде чем отец к этому как-то отнесся, шагнул в сторону. Взял наугад со стола листок с отпечатанными строчками. Забормотал с понимающим видом:

— «Соединение пространств и возникновение эффекта перехода вовсе не есть результат деформации Кристалла и предвестие всеобщего космического краха, как то пытаются представить нам господа из Института философии. Это, наоборот, логическое следствие развития Вселенной, которая в результате своего совершенство-

вания обретает новые формы и свойства... Логично то, что первыми носителями этих свойств в человеческом сообществе являются дети, не отягощенные консерватизмом и так называемым «житейским здравомыслием»...»

— Ну и как? Все понятно? — ехидно поинтересовался отец.

— Ага... Только ерстка.

— Что-что?

Витька хихикнул.

— Такое новое слово. Центр требует, чтобы в отчетах, когда объясняют всякие новые явления, было написано: «Если рассматривать с точки зрения теории Кристалла». Сокращенно: ЕРСТК, «ерстка»... Скицын теперь чуть что, сразу говорит: «Ерстку вам в поясницу».

При имени Скицына Мохов-старший демонстративно поморщился. Мохов-младший демонстративно этого не заметил. И посоветовал:

— Вот и здесь напиши «ерстка». На всякий случай.

Михаил Алексеевич почти искренне вскипел:

— При чем тут я? Ты что, считаешь, это моя статья?! Такая ахинея! Это бредятина некоего Корнелия Гласа, который усматривает спасение мира только в будущих поколениях... В таких шалопаях, как ты...

— Ну и что? — Витька дурашливо крутнулся перед отцом на пятке (скривился). — Можно и спасти... А Корнелий Глас — это который привел тогда в «Колесо» ребят, а сам с ними не пошел? Он теперь командор? — Витька потянул новый лист.

— Никаких командоров нет, это чушь... И не лапай бумаги!

— Жалко, что ли?

— Не жалко, а незачем голову забивать. Все равно не поймешь.

— Ох уж... Скицын всегда дает читать отчеты. И ничего, разбираюсь...

— Ха! — сказал Михаил Алексеевич и хлопнул себя по коленям. — Он р а з б и р а е т с я!.. На том, на вашем уровне это не мудрено! Велика наука! Там все, даже твой ненаглядный Скицын, строят базисную теорию на детсадовской схеме пространства-времени, где время есть четвертое измерение! Хотя даже первокласснику должно быть ясно, что время не есть измерение в прямом смысле. А четвертым, пятым, десятым измерениями являются многовариантности развития, возрастающие по

степеням, равным... Тыфу... Ладно, вырастешь — поймешь...

— Я и сейчас кое-что понимаю, — тихо сказал Витька. — Может, по-своему только...

— Понимаешь? Прекрасно! — Мохов-старший оттолкнул стул, скакнул к панели большего, во всю стену, нейрокомпьютера. — Возьмем простейший вариант. Многовариантность одного явления — горизонтальная ось. Бесконечность самих явлений — вертикальная... А, черт, опять заедает включение...

Витька украдкой зевнул. Зевок, однако, был замечен Моховым-старшим. Тот угас.

— Ладно... Если ты в чем-то и разбираешься, толку от этого...

— Па-а... — скучновато и осторожно сказал Витька. — Я и Скицына про это спрашивал, и Румянцева, и деда... Вообще, какой от этого толк? Ну, от всех изучений?..

— От науки?! — негромко взревел отец.

— Ну, ты не злись. Ты объясни. Зачем, если...

— А, понимаю! Зачем нужны научные теории, исследования и всякая возня «взрослых мудрецов», если вы с приятелями без всякой науки шастаете по Сопределью! Так?

Витька повел плечом.

— Ты похож на обезьяну... — печально сказал отец. — Да-да, на обезьяну в джунглях, которая нашла оставленный там космическими пришельцами белковый синтезатор. Научилась давить на кнопки, и синтезатор выдает ей бананы. И она радуется, угощает других... Ну и что? Подвинет эта находка обезьянье общество в развитии? Освоят макаки устройство прибора, научатся сами делать синтезаторы? Вступят в контакт с пришельцами?

— Спасибо за «обезьяну», — Витька снова устроился на кровати. Отец развернулся к нему со стулом.

— На здоровье... Кстати, ты думаешь, вы многого достигли? Ну, побывали в нескольких точках соседних граней. Полуостров, Поле, Луговой поселок... Это, кстати, лишь горизонтальная ось. Разные (и даже не очень разные) варианты развития одной цивилизации. Одинаковая культура, почти один уровень техники, сходные сюжеты мифов. И глупости человеческие одинаковы...

— А княжество? — сказал Витька.

— Ну... и что? Думаешь, другая ось? Просто каприз темпоральной петли. Возможно, этот князь — наш давний предок... Вернее, не наш, а, судя по этническим особенностям, твоего приятеля Радомира.

Витька вспомнил Матвея Радомира по прозвищу Ежики... Какой он приятель? Они с этим пацаном виделись всего два раза... Хороший, конечно, парнишка. Главное, что счастливый. Случилось, что у него выслали в другое пространство мать, объявили ее умершей, а Матиуша запихали в спецшколу. А он не поверил, что мама погибла, пробился к ней, нашел. И вернулись они в свой дом, а враги их получили сполна... или не сполна? Про это всякое говорят. Но главное, что у Ежики опять есть дом и мама...

Ты чего это, Витька? Что вдруг так скребнуло по глазам?

Он опять спрятал лицо за поднятые коленки. Сказал глуховато:

— Я же вовсе не про то говорю... Совсем не про то... Я про тебя.

Молчали они с отцом с полминуты. Потом отец проговорил неохотно, почти боязливо:

— То есть... Что значит про меня? Мы про Юр-Танку, по-моему...

— Про тебя... Ведь все это можно изучать и т а м. У нас... Там сейчас такие новые блоки поставили. Уловители...

— Ах, уловители...— Отец заерзал.— Может, кому-то хочется и меня уловить? А зачем, скажи на милость, я там нужен? Опять слушать обвинения в дилетанстве?..

— Да вовсе нет! Наоборот, все говорят, что...

— Говорить там умеют... Пойми, если бы даже я хотел вернуться, я должен сначала закончить работу здесь. Иметь результаты... Вернуться т у д а без ничего? Хорошо бы я выглядел!

— Ты о себе думаешь...— уже сквозь зажатые слезы сказал Витька.

— А о ком же я должен думать? О Скицыне? О твоём любимом деде? Но он...

— Обо мне...— еле слышно проговорил Витька.

— Ну...— сразу увял отец.— В каком, собственно, смысле? Мы что, редко видимся? По-моему, ты и так... тут...

— Я же не могу быть здесь все время. Сам говоришь — чужая страна... И вообще...

— А зачем все время-то? Ну, повидались и... Собственно, искусственная какая-то проблема. Нет, я в самом деле...

— Ты не понимаешь,— выдохнул Витька.— Мне почти тринадцать... А детство, говорят, всего до четырнадцати. Ну, может, до пятнадцати, кто как растет. А я... так и не жил нормально... Чтобы окно светило...

— Какое окно? — тихо спросил отец.

— Простое... Вот когда ребята на улице играют, и уже вечер, и отовсюду их зовут... кричат с балконов: «Иди домой, поздно уже!...» И вот они идут, и каждый смотрит на свое окошко...

Отец, слушая, как-то механически покачивал головой. Она то заслоняла, то открывала дырку в шторе: колючий лучик угасал и вспыхивал... Потом отец сказал скановно:

— Я не понимаю. Разве... у тебя дома что-то не так? Адам к тебе плохо относится?

— Он ко мне отлично относится. И к маме...— Витька запнулся, лбом лег на колени.

— Тогда какое же здесь «но»? — с ненастоящим раздражением спросил Мохов-старший.— Ты же явно не договорил.

Витька молчал.

— Кажется, я понимаю. Мама не так относится к Адаму... Но тебе-то, собственно, что?

Витька поднял лицо.

— Она... они то разъезжаются, то опять... Все время как на вокзале...

— Послушай, Виктор. При всех обстоятельствах жаловаться на мать — это последнее дело...

— А я не на нее,— хриловато сказал Витька.— Я вообще... Жаловаться, конечно, ни на кого нельзя. На тебя тоже...

— Да на меня жалуйся сколько угодно! — почти обрадовался Михаил Алексеевич.— Хоть маме, хоть деду, хоть Святым Хранителям!.. Я знаю, что я никудышный отец, я кругом виноват и толку от меня никакого... Ну и тем более! Какая тебе со мной жизнь? Я холостяк, бобыль по натуре, я не то что о сыне, о себе заботиться не умею...

— Я бы тебе яичницу жарил...— шепотом сказал Витька.— С помидорами. Ты любишь...

— Ну... аргумент...— Отец старательно засопел.

— Ага... И чай вечером. Ты приходишь из лаборатории, а я...

— Есть обстоятельства, из-за которых я никак не могу уйти отсюда... Кстати, о яичнице! Небось, лопать хочешь, а?

— Хочу,— безрадостно сказал Витька.

— Не дуйся, и пошли на кухню.

2

Кухня была маленькая. А с тех пор как Витька побывал здесь последний раз, в ней стало вообще не повернуться. Все углы, простенки и свободное пространство на полу были заставлены черными кубиками энергосборников, серебристыми импульсаторами и дополнительными нейроблоками. И еще всякими аппаратами, в которых Витька ни бум-бум.

Отец по-журавлиному шагнул через ящик с кабелями к холодильнику, дернул дверцу.

— Гм... Ни яиц, ни помидоров... Слушай, консервированная каша с говядиной есть. Хочешь?

— Не все ли равно...

— Отлично! Сейчас разогрею, пообедаем...

«Вернее, поужинаем»,— сердито подумал Витька, время Реттерберга отставало от времени «Сферы» на три часа, но уже и здесь вечерело.

Отец сказал:

— Ты тут не болтайся, я один управлюсь. Иди в комнату... Только не поднимай штору, у машины левый нейроблок закапризничал, свет он, видите ли, не переносит, псих такой...

Витька послушно ушел.

В комнате он потоптался, поморгал. Глаза все еще были мокрые. С дошкольных лет Витька знал примету: если вытирать слезы рукой — значит, они будут еще. А платка в карманах, конечно, не водилось. Витька подошел к окну, взялся за край мягкой ворсистой шторы. Она была туго натяута, закреплена внизу, Витька потянул край к лицу. Сверху сорвался, зацепил его по плечу и грохнул об пол гулкий цилиндрический карниз. В окно ударило вечернее солнце.

Отец перепуганно ворвался в комнату.

— Ведь я же просил!.. Я ее только сегодня повесил, временно, не закрепил еще, а ты...

Витька держался за плечо. Штора на полу, как живая, дергалась и уползала в щель карнизной трубы. Но Витька не смотрел на нее. Смотрел на стекло.

— Что это?

— Где?

— Вот э т о,— со звоном сказал Витька.

— Не видишь, что ли, дырка...— бормотнул Мохов-старший.

Дырка была диаметром с копейку. Ровная, матовая по краям, с маленькими, как паучьи лапки, трещинками. И отец понимал, что Витьке известно, как получаются такие дырки. И что от объяснений теперь никуда не деться. Витька молчал и ждал. И кажется, даже слышно было, как звенят в нем нервные жилки.

— Чепуха... Давно это, на той неделе еще,— хмуро сказал отец.— Меня дома не было... Говорят, в квартале случилась перепалка: уланы и кто-то еще. Может, со своими же схватились, с теми, кто не хочет подчиняться муниципальной власти, такое иногда бывает тут... Вот и влетела случайная...

— А защита?! Поле?!

— Я же говорю — не было меня! А когда ухажу, поле убираю, переключаю на энергосборники. Не хватает же на все-то... Ну, ты чего нос повесил?

Витька, ослабевший и поникший, опять забрался на кровать. Есть уже не хотелось. Он сказал унылым шепотом:

— Зачем ты только перебрался сюда из «Колеса»...

— Здесь удобнее... И сколько можно жить нахлебником!

Витька знал, что отец нахлебником не был. Он им там, в «Колесе», о-го-го сколько помогал! Может, ушел потому, что не хотел больше связываться с подпольем?.. Нет, он, конечно, не трус. Но он всегда говорил, что не его это дело — лезть в споры внутри чужой страны. Особенно, когда занят наукой...

— Куда вляпало-то? — хмуро спросил Витька.

— А! Под потолок... Снизу же палили. Пробило старый конденсорный блок, я сразу выкинул...

Витька снова прошелся глазами по нагромождению приборов.



— Зачем тебе столько всего?

— Ну зачем... Во-первых, координация граней. Во-вторых, коплю энергию, вечная проблема. Без нее что? Пшик, а не импульс...

— А что за импульс?

— Что-что... Прокор! Должен же я наконец доказать, что это технически возможно! Своими силами! Не ползание через локальные барьеры, а связь через прямой канал между гранями!

Витька незаметно пожал плечами.

И отец сразу понял, о чем он думает:

— Знаю, ты опять о ваших фокусах. Но невозможно же строить теорию на уровне мальчишечьей игры в догонялки-пряталки...

— А что даст этот твой импульс? — неохотно сказал Витька. — Ну, как это будет все выглядеть? В натуре?

— Это... Ай!

Из кухни понесло горелым. Отец метнулся туда. Витька хотел тоже... и передумал. Скакнул к пульта, надавил красный клавиш.

— Это ты, Витя? — дружеским баритоном спросил отцовский нейрокомпьютер. — Привет.

— Привет, Гектор... Тихо. Отвечай на дисплее. Что такое эксперимент с импульсом?

На экране зажегся вопрос:

«Имеется в виду опыт с кодовым названием «Разбитое зеркало»?

— Почему «Зеркало»?.. Я не знаю... Ну, наверно, да...

Побежали зеленые строчки:

«Разбитое зеркало» — опыт, в результате которого с помощью энергетического импульса возникает связь между заданными точками двух параллельных пространств и становится возможным перенос из точки А в точку В материального тела. К сожалению, на данном уровне разработки возможен так называемый зеркальный эффект, который в случае нехватки энергии может стать единственным реальным результатом эксперимента. Именно так это...»

Раздались шаги отца. Витька даванул отключение, мигом устроился на кровати. Отец вошел, держа за краешки алюминиевую тарелку. Глянул на пульт, на Витьку.

— Шпионили, сударь?

— А чего... Нельзя, что ли, с Гектором поболтать?

— Ну-ну... Ладно, ешь. Подгорело немного, но, по моему съедобно.

У стола было не пристроиться. Витька, сидя на кровати, взял тарелку на колени. Взяв из нее, быстро поставил на одеяло: алюминиевое дно было горячим.

— Я рад, что ты повеселел,— заметил отец.

— Издеваешься, да? — Витька подул на колени, подобрал с одеяла в рот крошки, начал жевать подгоревшую гречку с жилками говядины.— Даже посуда у тебя не домашняя, а как у туристов... А я бы тебе нормальные тарелки купил. С цветочками...

— Опять ты...

— Па-а... А перенос матерального тела в точку «бэ»... Значит, ты сам перенесся бы?

— Гм...— сказал Мохов-старший.— Не исключено.

— А если там что-нибудь не так? Вдруг заблудился бы?

— В родных местах не заблудишься...

— Ой... Значит, ты на «Сферу» импульс нацеливаешь?

— Ешь, не болтай...

— Эт-то хорошо! — Витька глотнул полную ложку горелой крупы, даже не поморщился.— Правильно... А обратно как? Прежним путем, по рельсам? Ой... или не надо обратно?

— Ешь!! — гаркнул отец.

— Ладно... А что такое зеркальный эффект?

— Все тебе надо знать...— Отцу, видать, было неловко за неожиданный вскрик.— Такое явление...— Он хмыкнул.— Когда окружающее пространство в точке достижения импульса меняется, как в зеркале... Например, нос твоего дорого Скицына оказался бы скособоленным не влево, как обычно, а вправо...

— А зачем это?

— Да ни за чем. Побочный эффект.

— А нельзя послать пол-импульса, чтобы нос выправился? Не вправо, а по центру сделался?

— Не имеет смысла,— поддержал юмор отец.— Это же всего на несколько секунд. Потом все возвращается на круги своя...

«Возвращается» — это слово он сказал неосторожно. «Все возвращается, кроме тебя»,— подумалось Витьке,

и он взглядом выдал эту мысль. Отец нервно сунул в карманы острые кулаки, отвернулся к окну с пробойной. Сказал, не оглядываясь:

— Мама правильно говорила: ты весь в меня... И оба мы — эгоисты.

— Почему это?!

— Видишь ли... думаем прежде всего о себе. Ты говоришь: возвращайся, мне с тобой будет лучше. А я: мне лучше здесь...

— Я думаю о тебе... — сумрачно и дерзко сказал Витька. — Тебя здесь угробят.

— Не говори чушь... А если, скажем, поселились бы мы с тобой в «Сфере»? Или еще где-нибудь в тех краях... А дальше? Ты будешь по-прежнему шастать с юда, уже бесконтрольный и беспризорный. Все равно ведь не проживешь без своего ненаглядного Цезаря... А я буду изводиться из-за тебя больше, чем сейчас.

«Будто я сейчас «контрольный» и «призорный», — усмехнулся про себя Витька.

— Чего из-за меня изводиться-то, — пробурчал он. — Ты же знаешь, я от любой беды уйду в один миг...

Конечно, и отец, и сам Витька знали, что это неправда. Не от всякой опасности спасет прямой переход. Даже если Витька один. А если с Цезаренком...

— Поражаюсь, что ты до сих пор не звонишь ему, — сухо сказал отец, словно уловил Витькины мысли.

«В самом деле! Что это я!...»

Витька отодвинул тарелку. Прыгнул к пульту.

— Не через компьютер! — рявкнул отец. — Что за мода дергать машину по пустякам! В передней телефон...

В темной и тесной, как чулан, прихожей висел старомодный дисковый аппарат. Диск ржаво попискивал при вращении. «Т-техника...» Наконец загудело, шелкнуло в наушнике. И ясный голос:

— Дом штурмана Лота...

— Цезаре!

— Витька! Ты здесь?

— Ага... Сбегаемся, ладно?

— Давай скорее!

Великие Хранители, все-таки хорошо жить на свете!

— Па-а! Я к Цезарю!

— Ясно. И конечно, до ночи...

— Я позвоню тебе...

— Я к тому, что ночью меня не будет. Надо в «Колесе» побывать, и вообще... дела всякие.

— Ну вот! Кто из нас «шастает»!

— Придешь, сразу включи защиту. Разогреешь ужин, поешь и ложись. На звонки не отвечай. И Гектора вруби. Если надо, я свяжусь через него...

— Да я лучше переночую у Цезаря!

— Но без фокусов...

— А ты... тоже.

— Ох, распустил я тебя.

— Ага... Алло, Чек! Я мчусь! Что? Конечно, там же!.. Слушай, тебе не кажется, что сегодня орал петух?.. Да?.. Тогда я еще быстрее!

Театр в Верхнем парке

1

Встретились они, как всегда, на станции монорельса в квартале «Синяя деревня». Витька увидел Цезаря издалека. На открытой платформе среди пестроты пассажиров мелькал светлый, почти белый, ровно подстриженный шар волос (из-за этой прически голова у Чека всегда казалась чересчур большой). Они протолкались навстречу друг другу, чуть улыбнулись, широко отвели правые руки и звонко вляпали ладонь в ладонь. Потом Цезарь почему-то вздохнул и тихонько боднул Витьку в плечо упругой, густо-щетиистой своей шевелюрой. Ему это удалось легко, потому что ростом Цезарь как раз чуть повыше Витькиного плеча. Витька затеплел от этой совсем дитячей доверчивой ласки. Отвел глаза.

Он всегда был счастлив при встрече с Цезарем, оба они радовались. Но радовались, кажется, неодинаково. Чек — откровенно и ясно, весь он был как на ладони. А Витька не мог отвязаться от скрытого смущения и тайной виноватости. Дело в том, что Чек был уверен: они дружат на равных. И Витьке приходилось притворяться, что это так. А в душе-то он относился к Цезаренку как к младшему, которого надо защищать и оберегать. Впрочем, это одна сторона. А другая... Бывает, что друг меньше по годам, слабее по силам, а ты понимаешь, насколько он крепче духом и яснее душой. И ты

благодарен ему за то, что он выбрал в самые лучшие друзья именно тебя.

...Подумать только, год назад Витька смотрел на него со скрытой неприязнью и досадой!

Они видели друг друга, когда Витька навещался к отцу в «Проколотое колесо». Незнакомый пацаненок не понравился ему сразу. Большеголовый, тонконогий, «обезьянистый» какой-то, с твердыми скулами на неулыбчивом лице. Держался он со взрослой вежливостью и очень отгороженно. «Подумаешь, принц в изгнании», — подумал Витька с недовольной усмешкой. Потому что, несмотря на всю некрасивость, было в мальчишке что-то... такое вот, как у юного дворянина...

— Здравствуй, — говорил ему Витька при встречах так же, как и другим. Ни разу ни на капельку не показал, что мальчишка ему не нравится. Мало ли кто кому не нравится! Ведь ничего плохого этот пацан ему не сделал. Это во-первых. Во-вторых, он все-таки младше года на полтора или два. А кроме того, мальчишка, видать, успел хлебнуть в жизни всякого. Иначе не был бы с родителями здесь, в таверне. Витька знал, что в «Колесе» не живут просто так. Здесь укрываются.

Почему прячется в таверне семья Лотов и что с этими людьми случилось, Витька не спрашивал. Лишние вопросы были здесь не в обычае. В благоустроенном государстве Западная Федерация почти всякому гражданину с рождения был привит излучающий биологический индекс — несмываемый, нестираемый. Чуткие локаторы Системы Всеобщей Координации заботливо следили за каждым носителем индекса в течение всей его жизни. А компьютеры Юридической службы постоянно оценивали эту жизнь с точки зрения самых мудрых и беспристрастных в мире законов. Укрыться от этой мудрости, беспристрастности и всепроникающего наблюдения можно было лишь в нескольких убежищах. Одним из них была таверна «Проколотое колесо». Владелец «Колеса» Кир считался старым и добросовестным осведомителем корпуса уланов. А скрытые в подвалах могучие энергосборники обеспечивали излучение поля, которое защищало обитателей таверны от локаторов и заодно стирало проблески подозрений в мозгах ревностных стражей правопорядка.

Разные люди приходили в таверну. У некоторых отвисали карманы от тяжелых пистолетов «дум-дум».

Иногда о чем-то говорили с отцом. Отец после таких бесед был хмурый и молчаливый. Не хотел он вмешиваться в эти дела. Но людям с пистолетами помогал. Потому что и его самого в свое время приютил и укрыл от властей Вест-Федерации маленький, круглый, добродушный Кир.

Дважды случалось, что Кир и отец просили переправить людей туда. Витька понимающе кивал. Оба раза это были усталые, неразговорчивые мужчины. Когда товарный поезд уходил с Окружной Пищевой на прямую линию перехода, они разбирали свои пистолеты и по частям швыряли с катившейся платформы. Потом недалеко от «Сферы» прыгали с поезда вместе с Витькой, молча жали ему руку и уходили... Никто в «Сфере» не знал об этом. Кроме Скицына. А Скицын сказал однажды: «Ничего, Витторнио, так надо. Там, у себя, им бы не выжить...»

Затем случилась история с тринадцатью беглецами из тюремной спецшколы. Тут без шума не обошлось. Но в конце концов сошло Витьке и это.

А Цезарь Лот покидать родные края не собирался. Как узнал наконец Витька, этот мальчишка был из той же спецшколы, но отказался уходить через грань, потому что искал родителей. И вот, выходит, нашел...

Однажды Анда, дочь Кира, сказала:

— Витенька, папа-мама Цезаря уехали, комната их занята, пусть Цезарь переночует с тобой... И свет у себя не включайте, ладно? Так надо...

Витька пожал плечами: надо — значит, надо. Когда он оставался в таверне на ночь, то спал обычно в узкой, похожей на коридор тесовой комнатке, бывшей кладовке. Мебели не было, только у торцевой стены стоял сколоченный из плах широченный топчан. Для Цезаря принесли раскладушку. Легли в темноте, за окнами стояла непроницаемая августовская ночь. Лишь изредка мигал на недалекой грузовой станции прожектор. Из открытой форточки несло запахом увядающей лебеды и нагретых за день шпал.

Цезарь дышал тихо, но раскладушка была старая и ржаво пищала при малейшем шевелении.

— Извини, пожалуйста,— вдруг сказал Цезарь.— Я, кажется, мешаю тебе. Такая скрипучая кровать...

— Не мешаешь. Скрипи на здоровье,— отозвался Витька. Он думал, что до сентября три дня. Завтра

возвращаться в «Сферу», послезавтра — в Ново-Томск, и здесь он окажется снова не раньше зимних каникул.

— Извини, — опять сказал Цезарь. — У тебя нет фонарика?

«Вот не спится человеку...»

— Нет... — буркнул Витька. Цезарь как-то очень очень притих. Даже раскладушка словно затаила дыхание. Витьку царапнуло: «Зачем я с ним так?»

— Если надо не очень ярко, я могу посветить...

Он поднял мизинец, привычно вобрал клетками кожи электрическое щекоотание воздуха, согнал покалывающие токи к ногтю, сказал: «Гори...» Маленькая шаровая молния послушно и мирно засветилась над пальцем. Витька, будто жоиглер, понес шарик на мизинце к Цезарю. Тот сел навстречу. Витька увидел, что он смотрит на шарик без удивления. Это Витьку слегка разочаровало.

— Ну, где светить?

Цезарь повел голым плечом. На коже чернела маленькая бусина.

— Клещ прнсосался. Даже не знаю когда. Только сейчас нашупал.

— У, зверюга... — сказал Витька, наклонившись. Клещ был местной породы, водился в сорняках городских окраин. Пакостный и заразный. — Это зловредная тварь, так просто не вытащить.

— Ну уж... — отозвался Цезарь, и впервые в его голосе прозвучала еле заметная снисходительность. — Вылезет как миленький. — Он придвинул к набухшему клещу прямую, будто зеркальце, ладонь, пошептал что-то. Бусинка шевельнулась, задергалась, вытаскивая из кожи крошечные лапки. Скатилась Цезарю на колено, потом на простыню. Он брезгливо взял клеща на помусоленный палец, шагнул к черному окну, встал на подоконник, щелчком сбросил «зверюгу» в форточку. Прыгнул на пол и сказал Витьке:

— Большое спасибо.

— Подожди. Небось, он в тебя всякую дрянь занес. Давай облучим шариком. Лучше всякой прививки будет... Ты этой штуки не бойся.

— Уверю тебя, я ничуть не боюсь. — Цезарь поставил плечо. Витька почти коснулся светлым шариком припухшей на месте укуса кожи. И пока излучение убивало в крови Цезаря всякую заразу, Витька смотрел на ровный, недавно заросший рубец. Он розовел на руке

у самого плеча. Словно Цезаря обожгло раскаленной проволокой. Не надо было спрашивать, но Витька не удержался:

— Где тебя так?

Цезарь ответил без охоты, но и без промедления:

— Чиркнуло тогда, в машине...

Наверно, он думал, что Витьке известна его история. А тот не знал ни про машину, ни про все другое. Но спрашивать не стал. Чем «чиркнуло», можно и так догадаться. Витька поежил, сказал неловко:

— Если хочешь, можно сгладить.

— Спасибо, но нет смысла. Все уже прошло, не болит.

Витька не настаивал. Может, рубец дорог Цезарю как память о приключениях. Дело хозяйское.

Цезарь, словно извиняясь за отказ, проговорил:

— Я про эти твои шарики уже слышал. От Анды. Я знаю, ты Виктор, который увел ребят...

Витька шагнул назад, послал шарик в угол под потолок. Вернулся на топчан. Сказал оттуда:

— Не Виктор, а Витька. В любом случае...

— Извини, пожалуйста.

— Что ты все время извиняешься?

Цезарь опять заскрипел раскладушкой.

— Видишь ли... Мне показалось, что мои слова тебе неприятны.

— Ни в малейшей степени...— Витька спохватился, что передразнивает Цезаря. Прикусил язык, откинулся на подушку.

Желтый светящийся шарик проплыл под потолком и скользнул в форточку.

— Снова темно...— тихо сказал Цезарь. Кажется, не Витьке, а себе. И раскладушка скрипнула от его вздоха. Часто, в каком-то нехорошем ритме, стучал на дальнем пути поезд. Мелькнул прожектор, и еще глуше стала темнота. Где-то хлопнули негромко и безобидно два выстрела. Ржавого скрипа больше не было, зато проступило в тишине осторожное дыхание Цезаря. Какое-то чересчур застенчивое. И Витька... да, он, кажется, понял. И сказал прямо, без всякой насмешки:

— Ты что, боишься спать в темноте?

Раскладушка завизжала без обиды, а скорее радостно.

— Видишь ли,— тут же откликнулся Цезарь.— Я вообще-то этого никогда не боюсь. Но сегодня... должен признаться, мне не по себе.

— Бери постель и шагай сюда.

Цезарь послушался. Без лишней торопливости, но сразу.

— Лезь за меня, к стенке. Места много, скрипа никакого. А если что... — Он хотел сказать «а если что случится, я рядом». Но резко устыдился почему-то. Однако Цезарь, кажется, понял. Быстро и без суеты он устроился у стены, задышал ровно и благодарно. Прошептал:

— Спасибо. Здесь прекрасно.

«Чудо ты волосатое», — с каким-то непривычным ощущением подумал Витька. Впервые он чувствовал себя кем-то вроде защитника и покровителя.

Цезарь сказал нерешительно:

— Может случиться, что я толкну тебя во сне...

— Лягайся хоть всю ночь. Я сплю как убитый.

— Спокойной ночи, Вик... Витька.

— Угу... — пробормотал он в подушку. И в самом деле стал быстро засыпать.

Сны его, однако, не были спокойными. Сначала он бежал по скользким стеклянным ступеням — вниз, вниз, потом сорвался, ухнул в мерцающую искрами пустоту. Пустота стала плоской, выгнулась, гибко соединилась в кольцо Мёбиуса. Кольцо лопнуло, разлетелось черными бабочками. Он оказался на утрамбованной, горячей от солнца глинистой площадке среди желтых скал под белесым знойным небом. Площадка, скалы и небо раскололись бесшумной черной трещиной, и Витька обреченно упал в эту трещину и летел, летел, умирая от жутки падения, пока не оказался на подсолнуховом поле. Не успел он обрадоваться покою и громадным цветам, как цветы эти размазались в желтые полосы, опутали его густым серпантинном, спеленали в кокон, и в этом коконе тугая сила опять швырнула его в пропасть. Витька рвался, разрывал ленты, а они вдруг исчезли, и открывшаяся абсолютная пустота, в которой он повис, была страшнее всего на свете. Он висел в центре этой пустоты и в то же время падал, падал, падал, смутно понимая, что необходимо нащупать глазами и мозгом какую-то нить, скрестить ее с другой, найти в точке пересечения желтый узелок-горошину (которая в то же время — светящееся окошко), зацепиться за нее сознанием, остановить ужас падения...

Он не знал еще, что эти сны — первый сигнал о возможности прямого перехода. Что скоро клетки его тела, его нервы не во сне, а наяву научатся отыскивать

среди граней мироздания межпространственные щели и он уже сам, добровольно, будет кидаться в этот страх чудовищного полета из одного мира в другой. В страх, от которого нельзя избавиться и к которому нельзя привыкнуть...

И той ночью он метался и вскрикивал во сне, пока не понял, что все кончилось. Он с невероятным облегчением упал на заросшую ромашками поляну, перевернулся на спину и стал смотреть на облака в очень синем небе. Потом облака исчезли. Витька понял, что лежит на топчане и что уже утро, а над его головой — маленькая ладонь с растопыренными пальцами.

Это была рука Цезаря. Он сидел, склонившись над Витькой, и словно прикрывал его от кого-то.

— Извини... — Он убрал руку. — Ты так беспокойно спал. Я решил помочь немного...

— Умеешь, — весело сказал Витька с неожиданным предчувствием чего-то хорошего. — Спасибо. Только не извиняйся так часто.

Цезарь как-то неожиданно по-простецки шмыгнул носом и вздохнул:

— Ладно... Будем вставать?

— Ага... Только подвинься, ты мою простыню прижал.

— Изв... Ой! — Цезарь испуганно округлил глаза и вдруг улыбнулся. И его жесткое некрасивое лицо от улыбки стало... тут сразу не скажешь словами. Совсем другим оно сделалось: по-настоящему мальчишечьим, доверчивым, мягким, веселым. Таким, каким бывает, наверно, у самого лучшего друга. И Витька не сдержал радостного толчка, похожего на внезапное счастливое открытие. Он засмеялся, ухватил Цезаря за плечи, опрокинул на подушку, взъерошил ему густую щетину прически. И получил веселого тумака! И они с хохотом покатались с лежанки на половицы, комкая простыни и колотя друг друга ногами. И над ними стоял прибежавший на шум Кир, качал головой:

— Какие дети!.. Вставать надо, кушать надо. Витка, хватит. Витка, домой собираться надо.

— Фиг!

В то же утро Витька смотался в «Сферу» и дал в Ново-Томск телеграмму, что задерживается у отца на неделю. И на первом товарняке умчался назад, предоставив деду и матери выяснять по телефону отношения

и подробности. А родная школа в Ново-Томске проживет несколько дней и без шестиклассника Мохова...

Эта неделя была полностью счастливой. Отец не ругал Витьку за самовольное продление каникул. К Цезарю вернулись из столицы родители — с хорошими новостями: следственная электронная машина признала невиновными их самих и тех людей, которые помогли им вырваться из Лебена. Раненый Корнелий Глас из тюремной больницы был переведен в частный госпиталь. Водителя машины Рибалтера амнистировали «в силу нестандартности обстоятельств». Люди, у которых по неизвестным причинам исчезли индексы, больше не объявлялись вне закона.

Витька и Цезарь целыми днями мотались по громадному Реттербергу, хотя в городе не было полного спокойствия: носились по улицам патрули, кого-то догоняли, кто-то даже отстреливался... Зато было в Реттерберге где гулять и что посмотреть. А вечером на глухом и скрытом от глаз пустыре за насыпью Витька учил Цезаря ездить на мотодиске, который он месяц назад угнал у зазевавшегося улана.

По ночам они разговаривали. Про книжки, про Кристалл, про обнаруженную на Марсе цивилизацию иттов, про построение многопространственных континуумов, про старинных коллекционных солдатиков из олова. Про всякие свои дела и приключения в той жизни, когда они еще не знали друг друга. Витька рассказал даже про Люсю. О том, каким горьким было расставание с ней Цезарь понял это без ревности. Одно дело девчонки, другое — мужская дружба.

Но расставание с Цезарем, когда прошла неделя, оказалось не менее печальным. Цезарь, отводя мокрые глаза, спросил тихо:

— А раньше, чем зимой, тебе сюда никак нельзя?

Витьке не хватило духа сказать, что никак. Пробормотал «посмотрим».

И главное — не напишешь, не позвонишь. В другой-то мир, в другое пространство, которое вроде и рядом и которого в то же время будто и нет совсем...

Нет?

Он изводился в своем Ново-Томске сентябрь и половину октября, а сны с ощущением провала и падения были все чаще. И... ну, не дурак же он, Витька Мохов, понял в конце концов, что это такое. Так же, как понял год назад первую премудрость перехода через

локальный барьер, потом через грань... Правда, тогда помогал отец, а сейчас...

А сейчас никто не поможет. Просто некому. Скицын рассчитал однажды, что прямой переход возможен теоретически. Даже вопреки принципу Мёбиус-вектора. Но расчет одно, а на самом деле... Однако снилось уже не раз, как это бывает.

«И ты, Витенька, знаешь, как это можно попробовать. И просто-напросто боишься».

Не неудачи он боялся, а, наоборот, — неистребимой жути, которая охватывает в межпространственном вакууме (значит, есть такой?). И все же... кто-то должен. Когда-то должен... Там Цезарь. И если получится, путь к нему будет занимать несколько секунд... Да, но каких секунд!.. И все равно...

А может, не так уж страшно? Зажмуриваешься, появляется в сознании тонкая зеленоватая нить, потом еще несколько — со светящимися узелками на перекрестках. Их не видишь, а скорее чувствуешь. Потом возникает за светлым пятнышком одного узелка ощущение того места, куда ты стремишься. Например, путевая насыпь, покрытая красными листьями увядшей лебеды. Недалеко от таверны... Это очень близко. И в то же время чудовищно далеко в бесконечной глубине черной щели между неудержимо скользкими невидимыми плоскостями. И надо пересилить себя, зажать в себе ужас, шагнуть вниз, в падение...

...— Ай, Витка! Ты почему здесь? Почему голый?

Он сидел в лебедь у насыпи, в одних трусах, взмокший, со всхлипами в горле. Несколько минут назад у себя в Ново-Томске он, выключив будильник, делал зарядку, машинально махал руками, а мысли об этом жали все сильнее, сильнее. И, крикнув, он прыгнул на стул, а с него шагнул... в пустоту. Не во сне, по правде...

— Ой, Витка, что скажет Алексеич! — Кир подхватил его на руки. Витька измученно улыбнулся:

— Получилось...

— Что получилось? Вот папа даст тебе «получилось»!

— А у вас тут еще тепло... Кир, а где Цезарь?

— Вот папа даст тебе Цезаря...

Параютисты привыкают. Прыгуны с трамплина привыкают. Каскадеры, говорят, тоже привыкают к страху высоты и падения. А к этому у привыкнуть было нельзя.

Ужас был неотъемлемой частью, самим содержанием межпространственного вакуума. Бесконечные секунды, проведенные в нем, выкручивали душу тоскливым томлением... И все же не раз и не два решался Витька на такое. Осенью, зимой, весной... И потом все-таки казалось уже не так страшно...

А наградой были дни с Цезарем.

2

Конечно, Витька рассказал о прямом переходе Цезарю. И не просто так рассказал, а с надеждой: вдруг и Цезарь сумеет? Ведь он же все чувствует и понимает. Когда говорили о Кристалле, о Мёбиус-векторе, когда, развлекаясь, строили в глубине компьютерных стереоэкранов многомерные комбинации, Чек моментально схватывал Витькины идеи и тут же, смеясь, обгонял его и перестраивал по-своему — сложнее, веселее, интереснее. Что ему стоит постигнуть хитрости координационной сетки и межпространственных соединений? Только бы он решился...

Но Цезарь сказал:

— Извини, но, видимо, для меня это исключено...— Печально так сказал, со смущением, но откровенно. И признался, что с младенчества боится высоты и «всякого такого».

— Один раз папа сунул меня в антиграв. Камера такая, тренажер невесомости у них в летном учебном центре. На минутку сунул, чтобы я чуть-чуть попробовал... Меня еле откачали... А здесь, при переходе, все это в сто раз сильнее. Я ведь понимаю. То есть предчувствую... Я бывал уже близко к этому. Ну, почти как на краю обрыва. Но шагнуть не смогу...

Витька неловко кивнул. Цезарь не заметил этого в темноте. Они разговаривали ночью, все на том же топчане в узкой тесной комнате. Сидели рядом, привалившись к стене и обняв колени. Не дождавшись ответа, Цезарь сообщил, словно покоряясь неизбежному:

— Видимо, никуда не деться от того, что я большой трус...

— Ты?!

— Конечно... Мы ведь и познакомились поэтому. Я боялся в темноте, помнишь?.. Но тогда я просто нервничал: мама и папа уехали, я тревожился за них... А бы-

вало и такое, когда я совершенно отчаянно трясся за себя.

— Врешь ты все,— убежденно сказал Витька. Он уже многое знал о жизни Цезаря.— То есть, может быть, ты и трясся, но все равно делал, что надо.

— К сожалению, не всегда. В тот раз, в машине, когда Корнелий выпрыгнул на дорогу и стал стрелять по уланам, я знал, что нельзя оставлять его одного. А вместо того чтобы прыгнуть за ним, сжался... как перепуганный дезертир.

— Ты дурак! Ну зачем бы ты прыгнул? Какой был бы прок?

— Да, я сейчас это понимаю. Но тогда-то я был уверен, что прыгнуть необходимо. И не смог. Скорчился в машине.

— Ну и... любой бы скорчился...— проворчал Витька.— Ну, не любой, но многие... Я бы точно... Когда в тебя палят очередями... Чек, а почему родители оказались в Лебене?

— Их туда в институт привезли и стали выпытывать, почему у меня пропал индекс. А они откуда знают? Если у меня такое биополе: погладил рукой — и нет индекса... Ты ведь тоже снял индекс Корнелию. Только ты шариком, а я себе — ладошкой. Провел нечаянно...

— Я Корнелию тоже нечаянно. Руку залечивал, вот и получилось так... А ты у многих снимал индексы?

— Вовсе нет! Первый раз у себя, потом у Рибалтера, у папы и мамы, когда бежали из Лебена... И еще у нескольких людей здесь в таверне. Я их не знаю... За ними следили, я и снял. Папа разрешил...

— Чек... А что, без разрешения папы это нельзя? — очень осторожно, чтобы Цезарь, упаси господи, не заподозрил насмешки, спросил Витька.

— Сейчас-то, наверно, уже можно... Папа сказал: чем скорее развалится эта машинная демократия, тем лучше. Она вся на том и держится, что у людей индексы... Но ведь нельзя снимать у тех, кто не хочет. А ходить и спрашивать не будешь...

— Цезарь! А если...

То, что они сделали, им самим потом казалось сумасшествием. Но это именно потом, когда подумали как следует... А сперва они дома у Цезаря отстукали на принтере сотню листовок:

«Граждане Реттерберга! Запомните! Все, кто посещает Верхний парк, может лишиться индекса. Там особое излучение. Это правда! Те, кто идет смотреть театр в Верхнем парке,— знайте: вы можете вернуться домой безындexсным человеком. Если идете, помните: вы сами решились на это!»

И расклеили в разных кварталах и у парка.

Таким образом они успокоили свою совесть.

Верхний парк над рекой — старый, неухоженный — не был многолюдным. Главным образом туда ходили любители Театра Неожиданностей. Театр считался запрещенным, и все-таки люди собирались почти каждый вечер. Даже в ту зябкую ноябрьскую пору.

К открытой эстраде вело несколько запутанных и скользких тропинок — с лесенками, с мостиками через канавы. Одна канава — с крутыми, заросшими бурой травой стенками, с палыми листьями на дне — была очень глубокая. Витьке по макушку. Он и Цезарь в сумерках, когда к театру собирались зрители, сидели в канаве и время от времени жалобно просили:

— Дяденька, помогите вылезти...

— Как вас туда занесло, сорванцы?

— Мы часы уронили. Спрыгнули, а выбраться не можем...

«Дяденька» протягивал руки, причем кисти, как правило, вылезали из обшлагов. Цезарь хватал спасателя за левое запястье горячей излучающей ладошкой. Нескольких мгновений было достаточно. Добрый прохожий шагал дальше, еще не подозревая, что пополнил число безындexсных граждан Вест-Федерации.

Интересно, что число посетителей парка не убавилось и не прибавилось. Скорее всего, никто не принял листовки всерьез. Но Цезарь и Витька убедили друг друга, что раз идут — значит, хотят избавиться от индекса. Или, по крайней мере, не боятся этого.

Два вечера их диверсионная работа шла как по маслу. На третий день Витьке и Цезарю захотелось новенького. Они пошли по заваленным листьями плохо освещенным аллеям. Витька держал на мизинце светящийся шарик, Цезарь звонко покрикивал:

— Господа! Кому снять индекс? Всего пять грошей! Дело нескольких секунд!

В общем осмелели (а точнее, обнаглели) сверх всякой меры. Прохожие, конечно, посмеивались: дурачатся

мальчишки. Начитались глупых листовок, вот и устроили аттракцион, собирают медяки на мороженое. Какую-то светящуюся штуку смастерили. Остроумные мальцы... Конечно, ходят слухи, что кто-то вернулся домой без индекса, но мало ли о чем болтают в трехмиллионном городе...

Те, кто более склонен к юмору, церемонно опускали монетки в вязаную шапку Цезаря.

— Ну-с? Дальше что?

— Руку давайте, — нахально говорил Витька. — Не бойтесь, шарик не горячий... Вот и все. Поздравляем вас. Отныне вы избавлены от власти безмозглых электронных начальников...

— Ну-ну! Предприимчивые детки!

Взяли деток минут через сорок. Веселый круглолицый мужчина в шляпе на затылке, в распахнутой куртке швырнул Цезарю крупную монету, задрал обшлаг, надвинулся на Витьку:

— Давай, дружище! Смелее!

Витька нутром понял — беда!

— Чек!..

Но Цезарь уже держали двое.

К счастью, Цезарь сильно присел, вырываясь. Шарик-молния (то ли по Витькиному мгновенному желанию, то ли сам) взлетел с пальца, вспыхнул над головами сыщиков белой трескучей звездой. Те завалились в кусты.

— Витька, за мной!

Цезарь тащил его через черные ломкие заросли долго, без остановок. Потом они отсиживались в глухой темноте какого-то подземелья (Цезарь, часто дыша, сказал: «Бункер под старинным фортом. Здесь не найдут...»).

Поздней ночью, понурые и разом поумневшие, они появились в таверне. Еще по дороге решили: надо признаваться, а то как бы не было хуже.

Самое интересное, что влетело им не так сильно, как они ожидали. Конечно, отец Витьке высказал многое: и «робин-гуды сопливые», и «чтоб ноги твоей здесь больше не было», и «скажи спасибо, что одышка, а то бы я тебя, террориста доморощенного...». Ну и всякое такое... Хуже всего были слова: «Ты же, балда, старше чуть не на два года! Где твоя голова? Если бы с мальчишкой что случилось, как бы ты жил?»

Витьку скорчило от запоздалого ужаса (такого не было даже в парке, когда поймали; даже при переходе...).

«В самом деле, как бы я жил?... Хотя при чем здесь я? Главное, что с ним, с Чеком, могла быть настоящая беда... Ведь за ним-то охотились уже не первый раз! Наверно, и пристрелить могли...»

Отец глянул через плечо.

— Нечего теперь сырость разводить...

Витька попросил совершенно искренне:

— Если у тебя одышка, скажи Киру, пусть он отлупит меня чем-нибудь тяжелым. Я не пикну.

Но Кир только поглядывал и покачивал головой: «Ох, Витка, Витка...»

О чем говорил с Цезарем примчавшийся среди ночи в таверну штурман Лот, Витька не знал. И не спрашивал. Цезарь на другой день ходил понурый и неразговорчивый. Но то, чего Витька боялся больше всего, не случилось. Отец Чека не сказал сыну: «Не смей больше знаться со своим безмозглым другом». Этот молчаливый, смуглый, не старый еще, но совершенно седой человек здоровался потом с Витькой, словно ничего не произошло. И мама Цезаря (маленькая, похожая на улыбчивую девочку) — тоже. А встречались они в таверне часто. Потому что было решено: после таких событий семье Лотов полезно опять некоторое время отсидеться в «Колесе».

Впрочем, время это оказалось коротким. Исчезновение индексов у граждан славного города Реттерберга (а потом и всей Вест-Федерации) шло со скоростью и размахом лавины. Выяснилось, что многие из тех, кто лишился индекса, обрели свойство снимать их у других. Ну и понеслось по нарастающей...

Нейрокомпьютерная система власти и суда трещала по швам. Трещали государственные и частные банки, лишённые способов электронного учета и контакта с вкладчиками. Федерация содрогалась от забастовок и дебатов, неумело и шумно выбирала человеческий парламент...

Михаил Алексеевич сказал со странной ноткой:

— Вот что натворили... две бактерии.

Разговор шел в большой комнате у очага. Штурман Лот грел у огня худые коричневые руки. Он отозвался, не оборачиваясь:

— Это же закономерный результат. При чем здесь два мальчика?

И властям, и корпусу улан было теперь, конечно, не до мальчишек и не до их родителей. Цезарь с отцом

и матерью вернулся домой... А Витьке в Ново-Томске попало наконец за многочисленные прогулы уроков.

3

Бывало, что дома, среди школьных будней, Витька отключался от всего, связанного с Реттербергом. Потому что никуда не денешься, надо жить, как все люди. На уроках надо сидеть, задачки решать, сочинения писать. Никто из ребят, никто из учителей не знал, конечно, что Витька Мохов, ученик шестого «Г», — один из немногих (а может, и единственный) на планете Земля, кто практически освоил способ прямого межпространственного перехода. И никто в заснеженном Ново-Томске этого не знал. А если бы узнали, то не поверили бы. Потому что это никак не укладывалось в заведенную жизнь и было ей не нужно... И ничего никому не докажешь... То есть, может быть, и можно доказать, но зачем? Тем более что переход — явление, которым занимается (хотя и не очень успешно) «Сфера». А о том, чем занимается «Сфера», зря болтать не принято...

Мама тоже ничего не знала. Думала, что отбившийся от рук Витька при каждом удобном случае уезжает к отцу в Реттерберг, который что-то вроде научного поселка недалеко от «Сферы»...

Зимой Витька появлялся в Реттерберге не так уж часто. Был на празднике рождественской елки, потом еще два раза. Они с Цезарем гоняли на коньках по ледяным аллеям Голландского сада, бродили по громадному, построенному на площади дворцу Снежной королевы... Было в этом ощущение какой-то случайности, краткости. Будто и не по правде все. И честно говоря, Витьке казалось иногда, что зимние визиты в Реттерберг словно приснились.

Но потом была весна, май, Башня... И наконец — лето.

Летом не было нужды в прямом переходе. Хоть и дольше, но легче, без всяких переживаний был путь по рельсам — от «Сферы» прямо до окраины Реттерберга.

Лето — вообще самое чудесное время. Во всех мирах и пространствах. Так считали и Витька, и Цезарь. И даже радость, с которой Витька встречал Цезаря,

была в такие дни особенная — летняя. Полным-полно солнца и беззаботности.

...Беззаботности? «Ох, Витка, Витка...»

С платформы они стали проталкиваться к нешумному Мельничному переулку.

На Цезаре был туристский комбинезон из оливковой шелковистой ткани. С карманами и карманчиками, с хлястиками и пряжками.

— В поход, что ли, собрался?

— Да нет... перевоспитываю себя, — как-то слишком небрежно отозвался Цезарь. Эта ненастоящая небрежность Витьку тут же встревожила. И с какой стати Чеку перевоспитываться?

Цезарь сказал неохотно:

— Я этот костюм не люблю. Все кажется, если надену, опять что-нибудь случится... А нельзя же подчиняться приметам, надо отвыкать от глупостей.

Витька не считал, что все приметы — глупость. И спросил насупленно:

— А что у тебя... с ним?

— Ну... — Чек неохотно повел плечом. На рукаве, пониже плечевого шва, была аккуратная штопка. Словно кто-то вырвал из материи узкую ленточку. И Витька вспомнил, что как раз там, под штопкой, у Цезаренка шрам-ожог. И неуютно ему стало, печально и страшновато. И опять вспомнилось не к месту (или к месту?) — «пчела», дырка в стекле, крик петуха...

— Зря ты это надел...

— Почему? — Цезарь беспечно скакнул с булыжника на булыжник на разбитой мостовой переулка.

— Что за польза от наряда, если от него настроение портится?

— А у меня уже не портится. Я почти привык. — Цезарь словно поддразнивал Витьку. И судьбу...

Терпеливо, но настойчиво Витька сказал:

— Посмотри. Эта роба тебе уже мала, ты подрос...

И правда, рукава были коротковаты, незастегнутые манжеты штангин болтались выше щиколоток. Цезарь скакнул опять.

— Зато карманов много. Я и фонарик взял, и спички, и зерно для Петьки насыпал.

— А что, мы в Луговой отправимся?

— Почему в Луговой? К Башне. Ведь Петька-то там кричит, из-под колокола. Мы оба слышали.

— Могло и показаться,— неохотно сказал Витька. Что-то расхотелось ему к Башне. То есть с Цезарем расхотелось. Боязнь какая-то.

— Как же может показаться сразу двоим? — наивно спросил Цезарь. Он еще не чувствовал Витькиных опасений.

— Очень просто,— буркнул Витька.— Петух орал где-нибудь в окрестностях, а я с дуру решил, что там. А тебе почудилось задним числом, когда я спросил.

Цезарь не заспорил против такой очевидной глупости. Сказал миролюбиво:

— Мы легко можем проверить, кричал ли Петька. Ты ведь знаешь где.

Витька знал. Но спросил с новым беспокойством:

— А дома тебе что скажут? От Башни-то мы вернемся не раньше чем через сутки.

Дорога была не близкая. У храма Девяти Щитов надо нащупать (ощутить нервами) дрожащую нить Меридиана, двигаться точно по ней через камни и буераки около мили, потом — первый локальный барьер. Оказываешься в безлюдной всхолмленной местности, идешь на северо-восток по берегу быстрой реки, находишь старую плоскодонку (их всегда много, хотя людей не видать), спускаешься по течению до похожего на присевшую кошку мыса, там снова барьер. Затем в километре от деревеньки, где всегда перекликаются собаки, надо подождать, когда тень от сухой березы упадет на черный горбатый камень, и шагнуть через эту тень... И тогда Башня рядом...

А обратно — через Луговой. Оттуда на Якорное Поле, с него по туннелю на Полуостров и там, с Южного вокзала мегаполиса (с тихого запасного пути), уходит два раза в сутки товарный состав и после незаметного перехода через барьер оказывается на рельсах Окружной Пищевой...

Цезарь сказал беззаботно (или почти беззаботно):

— Папа в рейсе, мама на сутки в столицу уехала. Я велел Биму передать им, что ушел с тобой. Они... не очень волнуются, если мы вдвоем.

«Гм...» — подумал Витька. Но подумал уже почти весело. Боязнь уходила, не устояв перед доверчивостью Чека.

Да и в самом деле, что случилось-то? Ведь все хоро-

шо. Солнце, лето, Цезарь топает рядом. И все это — настоящее, радостное. А страхи — смутные они были и пу-стые. Скорее всего, из-за досады после неудачного разгово-ра с Люсей. Это, конечно, царапает душу, но... сколько можно-то? Надо радоваться тому, что есть. И тому, что бу-дет. А будет встреча с ребятами у Башни. Петух орал, конечно, не из-за тревоги какой-то, а просто от пол-ноты жизни. Но раз орал, значит, Пограничники там.

Орал ли все-таки? Скоро узнаем.

— Значит, в парк?

— Конечно! — решительно сказал Цезарь.

— А может, я схожу один? А ты дома подождешь...

— Фиг.

— Ты неправильно выражаешься, — поддел Витька. — Надо говорить «извини, пожалуйста, но фиг тебе».

Цезарь переливчато расхохотался, закидывая голову. Этаким мальчик-колокольчик из «Городка в табакерке». «А еще трусом себя считает», — подумал Витька со смесью досады и удовольствия. Но сказал для очистки совести:

— Лучше бы нам туда не соваться.

— Ты это каждый раз говоришь.

Да, Витька это каждый раз говорил. Когда снова несла их нелегкая в Верхний парк. Не мог Витька без дрожи вспоминать, как агенты Охраны правопорядка чуть не сца-пали там Цезаря. Почему он, Витька, мог тогда забыть, что не только собой рискует, а прежде всего Цезаренком? Приключений захотелось болвану! Закружило голову об-манное чувство удачи и безнаказанности... Зато после того дня всегда звенела в нем настороженная струнка, если был он вместе с Чеком: радуйся, но не зевай...

— Идем, пожалуйста, — нетерпеливо сказал Цезарь. — Мы же быстро. И никому мы там не нужны...

Что ни говори, а Верхний парк обладал какой-то притягательной силой. словно в заброшенных аллеях и глухих закоулках застоялся воздух прошлых времен — когда жили на свете рыцари, фен, мушкетеры и гномы. Можно было отыскать здесь подземелья старинных береговых батарей, заросшие часовни в честь Хранителей. Стояла на берегу полузабытая бронзовая скульптура мальчишки, который когда-то спас город от вражеского десанта. Говорят, он посадил на бетонные сваи прокра-вившийся в реку монитор противника с чудовищной даль-нобойной mortирой...

Мальчик стоял на низком, затеряншемся в траве постаменте, смотрел в заречные дали. Босой, с длинными растрепанными волосами, в просторной матроске с галстуком, в мятых штанах до колен. Был он ростом с Витьку... Однажды, в октябре, Витька и Цезарь подошли к скульптуре и увидели пацаненка лет девяти и такую же девочку, которая накрывала плечи бронзового мальчика старой парусиновой курткой. Ребятишки глянули на подошедших серьезно и без боязни. Мальчик сказал:

— Ему холодно осенью. Пусть будет одетый...

— Конечно, Юкки,— отозвался Цезарь. И объяснил Витьке: — Они здесь часто бывают. А откуда они — не знает никто...

В этом тоже была загадка.

Но главная загадка — Театр Неожиданностей.

Собственно, никакого театра не было. Просто ветхая эстрада без крыши, с железной рамой, на которой когда-то, наверно, крепился занавес. Теперь от занавеса не осталось и воспоминаний. Не было и задника. Декорацией служил заречный пейзаж с вечерним небом. Спектакли всегда ставились после заката.

Может быть, когда-то были здесь скамейки, но теперь зрители смотрели спектакли стоя.

Играли в спектаклях любители. Но, видимо, какие-то особые любители. Было что-то завораживающее в их стремительных ломаных движениях, вскриках, настоящих слезах, долгих, томительных паузах, когда на весь парк наваливалась тишина... Ставили очень разные пьесы: «Короля Артура», «Гамлета», «Барабанщиков», «Сказку о Гадком утенке», «Золушку», «Царя Эдипа»... Случалось, что не хватало исполнителей, и тогда актеры стремительно протягивали к толпе руки: «Кто?!» Среди зрителей происходило движение, и один или несколько человек прыгали на сцену, включались в захватывающую игру — смесь декламации, странной пантомимы, фантазии и гипноза...

Почему-то не нравились эти спектакли властям. Иногда раздавались свистки, возникали уланы на своих черных мотодисках (они были похожи на чертей, оседлавших поставленные на ребро сковородки). Зрители, словно проснувшись, разбегались, ругали улан. Актеры же прыгали со сцены назад, в сторону реки. А несколько раз Витька и Цезарь видели, как актер вскидывал руки и словно прошибал собой близкое послезакатное небо. На миг в небе возникала пробоина — черный, заполнен-



ный звездами силуэт. Скорее всего, это был хитрый театральный эффект. Но может быть (почему бы и нет?), какой-то известный этим людям способ перехода. Или ухода?..

Так или иначе, была здесь загадка, и в мае Цезарю пришлось в голову разобраться, в чем там дело. И Витька волей-неволей отправился с ним. Днем на эстраде и вокруг было пусто. В солнечном тепле порхали желтые бабочки. Пахло гнилыми досками. Никакого волшебства на сцене, конечно, не обнаружилось. Только одно открытие сделали они — сцена была вертящаяся: посреди квадратной площадки, вровень с ней, — дощатый вращающийся круг. Механизм, как ни странно, оказался хорошо смазанным. Встаешь на кромку круга, толкаешься ногой, и он послушно, с мягким урчанием подшипников катит тебя, как карусель.

Витька и Цезарь порадовались неожиданному аттракциону, покатались. Витька даже забыл о неуютности, которую всегда ощущал здесь после того ноябрьского вечера. А Цезарь вообще радовался, как дошколенок. Только на каждом обороте он почему-то ойкал и подпрыгивал.

— Ты чего скачешь?

— Тень по ногам шелкает. Как резинка...

Витька был в джинсах, а Цезарь уже по-летнему, в шортиках. И смешно потирал друг о дружку цыплячьи незагорелые ноги.

Неужели правда шелкает тень?

Темная полоса тянулась через площадку от железной стойки до центра круга. Витька повел над ней ладонью. И — будто лопнула тугая бумажная ленточка.

— Странная тень... Чек, это и не тень вовсе. Солнце-то вон где! А это... так, полоска.

— А почему она не движется, когда вертится круг?

— А правда... Но если тень, то... не солнце ее делает.

— А что?

— Не знаю... Что-то...

— Витька, смотри. Это была бы нормальная тень, если бы посередине круга стоял шест. Как раз от него. Как на солнечных часах. Смотри, здесь и цифры были!

На краю дощатого диска и правда краснели остатки стершейся краски. Приглядишься — следы чисел и линий...

— Но ведь никакого шеста нет! Вот, пусто! — Вить-

ка скакнул на центр круга. Цезарь за ним... И здесь, в середине круглой площадки, на них упала особенная, очень прозрачная тишина.

И в этой тишине отовсюду, не мешая друг другу, зазвучали голоса и звуки:

«Московское время девять часов пятнадцать минут...»

«Внимание, «Сфера»! Эксперимент «Дельта» имеет своей особенностью...» (Это Скицын в радиорубке!)

«Уважаемые господа! Особая комиссия муниципалитета Реттерберга извещает, что лица, лишившиеся биоиндексов, должны получить магнитные регистрационные карточки не позднее...»

«Сашка, негодник! У тебя экзамены на носу, а ты!...»

«...А ежели ты, воевода, со своими сотнями встанешь в Каменном урочище, им и совсем не пройти...»

Витька присвистнул. Цезарь смотрел на него с веселым непониманием.

— Узелок,— сказал Витька.— Ерстка...

— Что?

— Если рассматривать с точки зрения теории Кристалла, здесь какой-то узелок на ребре граней. Аномалия.

— Спасибо, очень понятно,— слегка обиделся Цезарь.

— Не очень... Это вообще непонятно. Но Скицын и Румянцев предсказывали, что такие штуки могут быть. Сбегание волн разных граней в одной точке... Причем из разного времени... Смотри, тень на девятке. А если...— Витька отбежал на край. Толкаясь пяткой, повернул круг так, что тень легла на стертое число двенадцать.

— Витька, часы!

В центре круга отчетливо слышалось, как бьют башенные часы неизвестных городов. В какой-то приморской крепости ухнула полуденная пушка.

«Уважаемые граждане Вест-Федерации! Двенадцать часов. Служба погоды сообщает, что осадков не ожидается...»

«...орбитальная станция «Марс-двадцать два». Информация для рейсовых грузовых судов: сектор номер четыре закрыт в связи с археологическими изысканиями. Внимание...»

А сквозь голоса — равномерное, редкое и знакомое «шелк... шелк... шелк...», отдающееся в глубине большого колокола.

— Маятник,— прошептал Цезарь. Потому что уже был один раз у Башни.

...Потом они приходили сюда еще несколько раз. И теперь шли снова, потому что этого хотел упрямый Цезарь.

— Чек... А почему твой отец сказал, что если ты со мной, то он не беспокоится? Ведь после того случая, осенью... казалось бы, он должен наоборот...

— Почему же наоборот? — Чек глянул ясными, удивленными глазами. — Он меня сперва отругал, а потом говорит: «Скажи спасибо Виктору, которого ты втянул в эту авантюру. Ведь он мог сразу уйти в свой прямой переход, а ему это в голову не пришло, тебя спасал, дурня...»

— Как это я мог уйти? — изумился Витька. — Без тебя, что ли?

— Я понимаю... Ну, папа про это и говорил.

— А почему он сказал, что ты втянул меня в авантюру? Ведь это я тебя...

— Да? — очень удивился Цезарь. — Я всегда был убежден, что наоборот...

Они выбрались к эстраде, где, как всегда, было пусто и тихо. Темная черта — «тень от ничего» — лежала на досках.

— Во сколько он орал? — деловито спросил Цезарь. — В шестнадцать по-вашему? Значит, в двенадцать пятьдесят по Реттербергу... Вот так... — Он, толкаясь сандалией, подвел под черту стершееся число 13, потом слегка отодвинул назад. И отбежал к центру диска. Витька стоял уже там.

Сначала был слышен один маятник. Он равномерно разбивал прозрачную тишину редкими толчками (и в колоколе у Башни отдавалось эхо). Потом зашелестели, захлопали крылья, и отчетливо, будто в соседних кустах, закричал петух.

Цезарь сказал озабоченно:

— Он не сам по себе. Он кричит так, когда Филипп командует: «Голос!»

«Пожалуй...» — хотел сказать Витька. Не успел.

— Эй, вы! Что вы там делаете! — Неизвестно откуда возникла у эстрады дюжина улан. Со всех сторон. Скрестив руки, балансировали на дисках. Все в черном, лишь на одном вместо шлема офицерский берет песочного цвета.

Офицер сказал опять казенным голосом:

— Что вы там делаете? Идите сюда.

Цезарь, сам того не заметив, притиснулся к Витьке. Сейчас — не вечер в ноябре, не убежишь.

А может быть, ничего особенного? Просто здесь нельзя играть? Отругают и отпустят?

Спешным горячим шепотом Цезарь сказал Витьке в щеку:

— Я его знаю... Он был там, в тюремной школе...

— Тогда держись,— выдохнул Витька.— Надо вытерпеть, Чек...— Он рывком поднял Цезаря на руки. Будто раненого. И тот прижался — отчаянно и доверчиво. Понял.

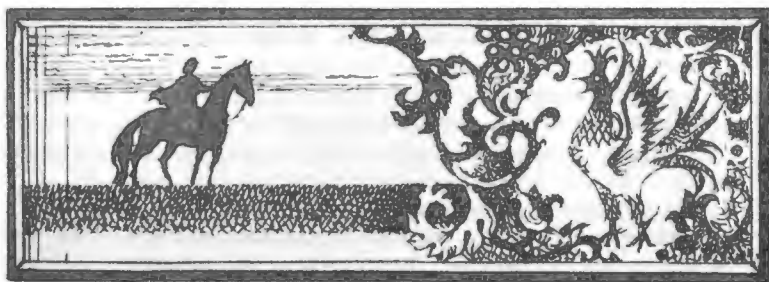
— Эй! — слегка забеспокоился офицер.— Что с ним?

— Сейчас... Подождите...— сказал Витька. И пошел к уланам, на край площадки.

На белесом лице офицера усилилось беспокойство.

— Эй...

— Сейчас,— опять сказал Витька. Прижал Цезаря изо всех сил и шагнул со сцены. В пустоту.



Часть 2 БАШНЯ И МАЯТНИК

Ярмарка

1

Идти на весеннюю ярмарку Филиппа уговаривали всем домом.

— Там будет ох как интересно! Даже я, старая, иду,— постанывая, убеждала бабушка. И держалась за поясницу.— Что за дети нынешние, прости господи. Ничего им не надо, ни пряников, ни каруселей...

«Нынешнее дитя» оттопыривало губу.

— Айда, Филя,— гудел отец.— Мы там с тобой в электронные шахматы сыграем, будет такой аттракцион.

— Ты же не умеешь в электронные...

— А ты поучишь батьку...

— Ты все равно уйдешь пиво пить.

— Ну и... а потом в шахматы.

— Не пойду ..

— А между прочим,— глядя в пространство и будто даже не для Филиппа, а просто так, задумчиво произнесла мама,— будут, говорят, новые игрушки со Стеклянного завода. Целые «городки в табакерке»...

— У вас допросишься! В прошлый раз обещали вечный фонарик, а что было?

— Но если не продавали!

— Во-во! И сейчас так скажете.

Мама потеряла терпение, после чего была приглашена соседка Лизавета тринадцати лет. Сокращенно — Лис.

— Дурень,— сказала Лис.— Все же идут.

— И Ежики?

— Вот бал... Извини. Но ты же знаешь, что Ежики вернулся с мамой домой, на Полуостров.

— Ничего я не знаю,— искренне огорчился Филипп.— Как вернулся? Туннель же заблокирован.

— Для кого? Для Пограничников?

Филипп засопел, досадуя на себя за глупость.

— Пойдем, а? — мягко сказала Лис.— Что ты дома-то будешь делать, когда останешься?

— Буду на стадионе змея запускать.

— Один?

— А чего...

Этого-то все и боялись. Оставить Филиппа одного, значит, не радоваться ярмарке, как все люди, а «быть на нерве». Думать: «Не выкинул ли он опять какой-нибудь фокус?» Талантов на фокусы у третьеклассника Филиппа Кукушкина больше, чем надо.

— Нам без тебя на ярмарке будет скучно,— с ненатуральной сладостью в голосе сообщила Лис.

— Да? А кто меня чехлом от зонтика лупил? Не было тогда скучно? А все смотрели, даже не заступились!

— Рэм заступился! И Ежики!

— Это потом, когда ты три раза меня...— Филипп засопел опять. Громче и серьезнее.

Лис насупленно сказала:

— Что старое вспоминать... А зонтик, думаешь, не жалко? Нашел из чего парашют делать...

— Зонтик ей жалко? А человека...

— Ну, с «человеком» же ничего не случилось. А зонтик...

— А тебе хотелось, чтоб наоборот,— злорадно подытожил Филипп.— Нормальные-то люди радуются, когда человек спасся, а она... чехлом...

— Палкой надо было,— в сердцах сказала мама.

— Да! Ну и идите на свою ярмарку...

— И чего обижаете друг друга-то,— стала мирить всех бабушка.— Перед праздником! Хорошо ли?.. Пойдем, Филюшка, с нами. А я тебе для этого дня рубашку новую пошью, вот гляди-ка, матерьял какой, все смотреть на тебя будут да радоваться...

На стол с шорохом лег отрез пунцового ситца.

Роскошного, с отпечатанными на нем желтыми и белыми монетами — разной величины, разных стран и времен. Были тут франки, динары, пфенниги, рубли, талеры, доллары, песо и совсем непонятные дырчатые денежки с иероглифами. И на них, на монетах, — львы, орлы, корабли, всякие портреты, слоны, гербы и даже кенгуру. И конечно, цифры и названия стран... Ну, прямо коллекция.

— А? — улыбнулась бабушка. — Вот будет рубашка... А хочешь, целый костюмчик летний.

Филипп раздумчиво склонил черную кудлатую голову. Облизал перемазанные чем-то губы.

— Ладно... Костюм. С брюками.

— Спятил, — сказала Лис. — Из такой материи брюки?

— Это он, чтоб колени не мыть перед ярмаркой, — разъяснила мама.

— Он их все равно никогда не моет...

Филипп не реагировал на эти безответственные заявления. Его холодное молчание было яснее слов: я, мол, сказал свои условия, а дальше — как хотите.

— Ох, да ладно вам, — решила бабушка. — Пускай, коли ребенку хочется...

Так и получилось, что на ярмарку Филипп отправился в красной с монетами рубаше и таких же великолепных брюках, отороченных к тому же черным блестящим шелком с перламутровыми пуговками. У всех попутчиков этот наряд вызывал изумленные взгляды и порой шумные высказывания, в основном одобрительные.

Попутчиков оказалось немало. Почти все население Лугового, растянувшись по неширокому асфальту, шагало на ярмарку. Можно было ехать на автобусе по недалекому отсюда шоссе, но до Гусиных лугов всего-то километра три, а майская погода стояла — ну, просто лето красное. Вот и двигались пешком.

К асфальту ручейками-притоками сбегались проселки и тропинки — от хуторов, от ближней деревни Горенки, от села Стародубова, которое северным краем смыкается с поселком Луговым.

Сам-то Луговой появился здесь не так давно, лет десять назад. Сперва по соглашению с местными властями два приезжих инженера поставили среди лопуховой пустоши энергосборник и радарный импульсатор. Зачем это, никто особо не спрашивал. Эксперимент, наука. Главное, что

станция платила Совету ближнего районного городка с красивым названием Соловьи положенные отчисления. Потом появились вокруг радара домики и лаборатории. И понемногу стало выясняться, что инженеры и другое население здесь не приезжие, а скорее ссыльные. Всякими неправдами их, судя по всему, срывали с насиженных мест и перебрасывали в этот небогатый и не очень развитый край. Где эти насиженные места, никто представить точно не мог. В местных учебниках географии таких названий не значилось. За какие грехи этих людей разлучали с детьми или семьями, тоже было неясно. Зато ясно было, что люди хорошие, работа их местному населению не вредит, а сами они приносят всякую пользу. Поставили в Стародубове хорошую школу и дали учителей. Открыли больницу с такой хитрой аппаратурой, какой не то что в Соловьях, но и в далекой отсюда столице не увидишь... Кое-кто из местных жителей стал перебираться в Луговой и находил там работу.

Про энергостанцию рассказывали всякое. Люди, мол, там хотят главного: пробить обратную дорогу через какое-то пространство, вернуться домой и отобрать своих ребятшек у злыдней, которые засадили их в специальные школы, чтобы дети жили и учились без родителей. Что ж, бывает, видать, и такое...

Работа шла туго, путь не пробивался. Могучие одноразовые импульсы образовывали каналы, но всего на несколько секунд. Это не решало вопроса. Тогда попробовали пробить стабильный туннель с Якорного Поля (место недалеко от Соловьев, но странное — не всякий туда находит дорогу). Туннель получился, его соединили с подземной транспортной сетью какого-то не известного здешним жителям Полуострова. Но пользы опять вышло мало, потому что оказалось: от туда на Якорное Поле кое-как попасть можно, а туда — шиш. Так бы и тянулось это дело, если бы в конце прошлого лета не пробился через туннель мальчишка — Матвейка Радомир, у которого жила здесь сосланная мать. К матери куда хочешь пробыешься. Он шарахнул навывлет все энергетические толщи и межпространственные барьеры и вышел даже не на Якорное Поле, а прямо у Лугового. Инженеры охнули и принялись что-то считать и анализировать, а туннель с той поры сделался доступным для каждого, будто простой подземный переход под улицей.

Кое-кто из ссыльных вернулся на Полуостров и под-

нял большой шум в тамошнем парламенте. Возникло громкое «дело Кантора» — бывшего ректора специального лицея. Кантор этот был в руководстве какой-то политической шайки. Он кое-как отмотался от тюрьмы и куда-то исчез. А из туннеля полезли в Луговой всякие делегации с предложениями научных контактов и мирного сотрудничества. И с намеками, что поскольку, мол, в Луговом живут в основном граждане Полуострова, то и должен этот поселок ему, Полуострову, административно подчиняться.

Здесь, однако, терпеливые и добродушные соловьевские власти проявили решительность. Жители Лугового — тоже. Улыбчивым чиновникам из параллельного пространства предложено было идти обратно с миром, после чего туннель надежно перекрыли и открывали только с особого разрешения районного Отдела по контактам и научного Совета станции. Мало того, объявлено было даже, что и визиты на Якорное Поле нежелательны. Дорогу туда и до той поры знал не всякий: локальный барьер пространства — штука хитрая. А теперь энергостанция добавила к нему искусственную силовую блокаду.

Но все это мало касалось Филиппа, Лис, ее одноклассника Рэма и нескольких других юных жителей Лугового, для кого Якорное Поле было любимым местом. И локальный барьер, и блокада оказались для них не прочнее мыльной пленки. Взрослым приходилось смотреть на это сквозь пальцы. А что оставалось делать?

Сотрудники станции пытались, правда, обследовать ребят: откуда у этих мальчишек и этой девчонки такой дар природы? На каких частотах система их биополей входит в резонанс с окружающим энергополем? Но приборы не показывали никаких отклонений, сами же ребята лишь пожимали плечами: «Не знаем, как это получается...» А Филипп с самодовольной ноткой разъяснил:

— Потому что мы Пограничники!

— Но ведь пограничники охраняют границы, а вы их наоборот...

— Ага,— нахально сказал он. А потом, когда на него наклеивали датчики, заорал, что боится щекотки, и удрал. А от Ежики отступились, когда он побледнел, покрылся капельками и сказал, что, как только начинает про такое думать, ему видится летящий на него поезд...

В общем, странно все это было. Но, с другой стороны, жителей Соловьевского района странности не удивляли.

Такое уж, видать, это было место. С давних пор творилось тут всякое. То обнаруживался на местных лугах невесть откуда взявшийся табун золотистых низкорослых лошадок с гривами до копыт и очень умными глазами; то шлепался на болото крупный летательный аппарат с иллюминаторами по поясу и люди из него — с продолговатыми глазами, оливковой кожей и странным акцентом — скупали в раймаге неходовой консервированный напиток «Фрукты-ягоды»; то ясным утром, без намека на дождик, возникало в небе чудное переплетение десятка радуг...

Газеты о таких штуках писали неохотно или не писали совсем. Потому что, если нельзя что-нибудь объяснить и нельзя доказать, что это «что-нибудь» не бывает, остается одно — не упоминать совсем. Мол, и так люди привыкнут. И привыкли. К разговорам о туннеле и к тому, что время в Соловьях ежегодно отстает от столичного на шестнадцать с половиной минут, что при цветении черемухи здесь никогда не бывает холодов; и к тому, что во время ярмарки появляются иногда люди с нездешним говором, в странных одеждах и с чудными товарами...

Семейство Кукушкиных двигалось по дороге неторопливо: у бабушки побаливала спина. Филипп шел впереди, но тоже не спешил. Иногда его обгоняли знакомые ребята, в том числе и одноклассники. Они отпускали шуточки по поводу наряда. Естественно, из зависти. Филипп не реагировал.

Потом Филипп увидел, что сбоку пылит рысью по асфальту священник Стародубской церкви. Моложавый, с соломенной бородкой, в модных квадратных очках и твердой шляпе из синтетической соломки.

— Здравствуйте, дядя Дима! — независимо сказал Филипп.

— Приветствую... О-о! Ты будешь украшением ярмарки... Здравствуйте, — отец Дмитрий раскланялся и со всеми Кукушкиными. — Софья Митрофановна, как ваша поясница?

— Грехи наши...

— Грехи грехами, а к доктору Платонову зашли бы все-таки. И пояс игольчатый рекомендую...

— Дмитрий Игоревич, я записала вас к протезисту на среду, — сказала мама. Она работала медсестрой в зубо-врачебном кабинете. — Раньше никак... Филипп занесет талон. Все равно ведь не сегодня завтра побежит к вам, не удержится.

— Благодарствую...

— Наверно, надоел он,— неловко сказала мама.— То и дело торчит у вас...

— Помилуйте! У нас обоюдный интерес. Просто других партнеров такого уровня нет в округе... Да вы не волнуйтесь, Екатерина Михайловна, разговоров на религиозные темы у нас не бывает. Стихийный атеизм этого отрока настолько неколебим, что перед ним бессильна была бы целая духовная академия. У нас один с ним общий интерес — игра...

— Филя у нас голова,— сказал отец.— Он меня в шахматы общелкивает за дважды два.

— Все бы ему игра,— вздохнула мама.— Да еще лазать куда не следует...

2

Именно стремление Филиппа лазать куда не следует было причиной знакомства его с отцом Дмитрием. В конце прошлого лета настоятель Стародубской церкви застал юного Кукушкина в своем саду сидящим в развилке яблони и дерзко жующим налитой «танькин мячик» — местный знаменитый сорт. Несколько других «мячиков» незванный гость держал в подоле майки.

— Спускайся, дитя мое,— сухо вато пригласил владелец сада.— Побеседуем, так сказать, на одном уровне.

Филипп счел ниже своего достоинства трусливо отсиживаться. Сбросил в траву яблоки и слез. И ощутил на своем запястье прочные пальцы настоятеля.

— Чадо,— ласковым баском спросил отец Дмитрий.— Ведомая ли тебе древняя заповедь, Божья и человеческая, которая гласит: не укради?

Вырваться без надежды на успех было глупо и стыдно. Реветь — тоже стыдно. И главное, преждевременно. Филипп глотнул разжеванный кусок, потом сказал сумрачно и с вызовом:

— Подумаешь, три яблочка...

— Сын мой,— усмехнулся в бородку отец Дмитрий.— Бывало, что и одно яблочко, не вовремя сорванное, меняло судьбы миров и народов. Например, яблоко познания, коим сатана в образе змия искусил Еву... Слыхал?

— Слыхал... Это поповские сказки,— заявил Филипп. Он тут же струхнул от собственной дерзости, но принципы надо было отстаивать.

— Отчего же обязательно сказки? — Голубые глазки отца Дмитрия за квадратными стеклами заблестели от любопытства. Филипп зажал в себе робость и заявил:

— Потому что никакого бога нет.

— Да? — отец Дмитрий словно обрадовался чему-то. — Но не Он ли предал тебя в мои руки, дабы возыме-ла место справедливость?

— Не он... Просто я зазевался.

— Ну что ж... — Отец Дмитрий погрустнел. — Оставим тогда богословскую тематику и займемся грешной земной проблемой: что с тобой делать. А?

В тоне священника Филипп уловил какой-то нехороший намек и на всякий случай смирил гордыню:

— Я больше не буду...

— Да? — Борода подозрительно зашевелилась. Не поймешь: смех в ней или еще что. — Но хотелось бы знать: искренне твое раскаяние или вызвано лишь страхом возмездия?

— Чего-чего? — стыдливо бормотнул Филипп.

— Я к тому, что мне надо решить: в соответствии с какими строками Писания поступить с тобой. Много в нем сказано о милосердии и прощении грехов своим ближним, но есть и такое поучение: «Урок же ему — урок. Лоза же ему — лоза»... Знаешь, что такое лоза?

Филипп догадывался. И понимал, что это гораздо неприятнее, чем пыльный чехол от Лизаветиного зонтика.

— Не-е... — выдавил он.

— Что «не»? Не лоза?

— Не имеете права, — угрюмо заявил Филипп.

— Это отчего же? Если сказано в Писании, что...

— А оно тоже... неправильное! Раз бога нет, значит, и оно...

— Дитя мое, — назидательно произнес отец Дмитрий. — Для тебя оно неправильное, а для меня истинно. Ведь не я у тебя, а ты у меня... гм, в гостях. В чужой монастырь со своим уставом, как известно, не лезут... даже через забор. А посему — пойдем...

Зареветь было самое время. Филипп так бы и поступил, если бы имел дело с простым хозяином сада. Но отец Дмитрий был как бы идейный противник, и остатки

гордости удержали Филиппа от унизительных воплей. Слабо упираясь, он семенил за настоятелем.

Тот привел пленника в комнату с узким, защищенным витой решеткой окном, сказал: «Посиди, чадо» — и удалился, шурша одеянием. Щелкнул замок. Филипп беспомощно переступил босыми ногами и стал озираться.

Было сумрачно, тлел в углу огонек лампы, и темнели неразличимые лики в искрящихся золотистых обрамлениях. Могучие кожаные книги стояли на полках аж до самого потолка. На покрытом бархатной скатертью столе рядом с магнитофоном «Феникс» дрыхнул серый сытый кот. На подоконнике стоял берестяной туесок с черникой и какая-то странная штука — клетка из тонких проволочных решеток с множеством разноцветных шариков. Створки окна были распахнуты, но решетка на чисто исключала возможность бегства.

— Чик!.. — орал в саду невидимый воробей. — Чик!.. — Он явно намекал Филиппу на предстоящие неприятности.

Раздались шаги, у Филиппа опустилось в желудок сердце, но отец Дмитрий явился не с орудием возмездия, а с корзинкой, полной «мячиков», самых отборных.

— Господь Бог милосерд, хотя его и нет, по твоему убеждению. Возьми и ступай с миром... Корзину потом не забудь принести.

— Да не надо... вот еще... — забормотал Филипп. — Мне и так хватило уж...

— Бери, бери... А коли захочешь снова, иди через калитку, она незаперта. На заборе же можно и штаны порвать, знаю по себе...

— Через калитку неинтересно, — насупленно признался Филипп.

— Ну... дело вкуса, конечно. Можешь и через забор... Держи корзину-то.

Филипп взял. Вдохнул. Сказав «спасибо». Потоптался.

— А это что? — подбородком он показал на странную клетку с шариками.

— Это?... Это, брат, игра такая. Хитроумная. Вроде пространственных шашек. Когда они ходят не по доске, а в трехмерном объеме, да еще с учетом проекции на дополнительные пространства... Понял что-нибудь?

— Чего не понять-то...

— Ну, дитя мое, от сомнений в себе ты не заболеешь...



Даже я в этой штуке не сразу стал разбираться, хотя сам ее придумал. Давно, когда еще преподавал высшую математику в Южноморском политехе...

Филипп, стучая коленками по корзине, подошел к подоконнику. Провел глазами по блестящим проволокам.

— А если вот эти шарики... синий и красный вот так... пересекающая диагональ свободна для большого черного?

— Постой-ка, чадо,— быстро сказал отец Дмитрий.— Давай-ка поставим эту штуку на стол... Брысь ты, четвероногое... Вот так. Черный большой — это «дамка» с правом скользящего хода и поворота. А это... Нет, давай все в исходное положение.

Филипп уперся немытыми локтями в бархатную скатерть. Подпер щеки.

— У меня будут черные и желтые...

С той поры отец Дмитрий и обрел достойного соперника в игре, которую постигнуть до конца не могли даже ведущие аналитики Станции...

Матери Филиппа отец Дмитрий сказал правду. Спор о религии они больше не вели. Только иногда, охваченный победным азартом, Филипп нетактично поддевал соперника:

— А что же вам бог-то не помогает?

— Только ему и дела такой ерундой заниматься,— ворчал отец Дмитрий, переживая очередной проигрыш. А когда наконец выиграл два раза подряд, на радостях показал Филиппу длинный розовый язык.

— А еще это... служитель культа,— сказал Филипп, крайне раздосадованный поражением.

— Грешен. Падок на соблазны и мирские радости... давай еще разок, а?

3

Ярмарка разноцветно и горласто заполнила Гусиные луга. Уже издали слышен был ее праздничный гул: рекламные крики динамиков, духовые марши и электронные «дзынь-бухи», слитный шум голосов, который прорезали чьи-то веселые и тонкие вопли. От всех этих волнующих звуков сердце колотилось, а ноги шагали все быстрее. Конечно, Филипп уже ни капельки не жалел, что пошел сюда. И вот ярмарка прихлынула вплотную, обняла

со всех сторон. Обдала запахами свежих красок, фруктовых леденцов, бензина, лошадей, сиреневых букетов, соломы, стряпни и хлопучечного пороха. Оглушила, завертела...

В такие минуты хочется сразу оказаться везде, все увидеть, все купить, все попробовать. Мама и бабушка ухватили Филиппа за обе руки. Иначе, дело известное, — не сыщешь. Он даже не спорил, только вертел черной кудлатой головой — ошеломленно и молчаливо. Машинально жевал печатный пряник с гербом города Соловьи (непонятная птица, а под ней два скрещенных музыкальных рожка).

Было отчего закружиться голове. Справа, в пяти шагах, на сцене театра-автофургона плясали игрушечные актеры кукольной труппы «Добрый Карабас». Ниток не было — видимо, в массивной крыше фургона пряталось гравитационное устройство с заданной на весь спектакль программой... Слева небритый дядька в удивительно разноцветных лохмотьях показывал электронного попугая, который вытаскивал из коробки карточки с предсказаниями судьбы и картаво орал что-то про пиастры. Сам дядька тоже орал:

— Граждане! Если через три дня предсказание не сбудется, плюньте мне на шляпу!

Адрес дома с крыльцом, где будет выставлена для этой цели шляпа, красовался на плакате на груди у дядьки...

На длинных прилавках громоздились разноцветные груды корзин, матрешек, шкатулок. Искрились и переливались хрустально-прозрачные звери, посудины, игрушки и бусы — продукция Соловьевского хрустального завода.

Тетки в пестрых сарафанах щедро и почти задаром — по копейке штука! — раздавали сверкающих сахарных петушков на пластмассовых стерженьках с названием фирмы (потом десять таких палочек можно обменять на одного петушка).

Худой коричневый старик в белой чалме продавал длинноногих чубатых верблюжат — ростом Филиппу до пояса, пушистых и с ласковыми глазами. Филипп ринулся к ним всем сердцем. Но оказалось, верблюжата искусственные, с программным управлением...

Реяли над головами большущие разноцветные шары с клоунскими рожами. А выше их Филипп краем глаза

вдруг зацепил сверкающий самовар. Тоже — летающий?

Нет, самовар висел на верхушке высокого желтого столба. По столбу натужно лез парень в синей майке и красных штанах. Метрах в трех от самовара он остановился, посидел неподвижно несколько секунд и поехал вниз.

— Филюшка, ты куда?

— Филипп, что за новости!

Но он молча волок бабушку и мать через толпу. К столбу.

Там, у подножия, сидя по-турецки на коврике, командовал полный бритоголовый мужчина с темными, как сливы, глазами и похожим на банан носом. Он продавал билеты желающим лезть за самоваром. Впрочем, после съехавшего парня желающих не было.

— Пуп-то мозолить, — говорнли в толпе. — Ишь, надрывайся тут для него... Он, глядишь, билетами-то на машину себе заработает, пока кто самовар его ухватит...

— Сколько стоит билет? — неласково сказал Филипп Банану (так он мысленно прозвал хозяина столба и самовара). Его задержали с двух сторон: «Филюшка, да ты что! У нас есть самовар... Филипп, ну что опять за фокусы! Хочешь шею свернуть?»

Банан поднял глаза-сливы.

— Десять копеек... Ай, нет! Какой красивый мальчик! Лезь так. Детки бесплатно... Какой храбрый мальчик! Покажи им всем, что такое ловкость.

Филипп сунул в карман остатки пряника. Лягнув ногами воздух, сбросил растоптанные полукеды. Подвернул выше колен свои роскошные штаны.

— Фили-ипп... — сказала мама. Бабушка что-то шептала и постанывала. Отец посоветовал:

— На ладони поплюй.

Филипп деловито поплевал. Облапил руками-ногами гладкое дерево. Полез рывками, будто приклеиваясь к столбу.

Вокруг притихли. Только отец лупил кулаком о ладонь и басовито вскрикивал:

— Филя, давай! Жми, сынок!

Мама его дергала за рукав. Она была воспитанная, а отец, хотя и занимал интеллигентную должность старшего бухгалтера в группе снабжения Станции, часто

«вел себя, как грузчик с автобазы». Мама в такие минуты его стеснялась.

— Филя, не сдавайся!

Он и не сдавался. Лез. Сперва было не очень трудно ему — цепкому и легонькому. А на полпути стало ой-ей-ей, приходилось отдыхать. Но что это за отдых, если нельзя ни насколочко расслабить мускулы... Ладно, еще разок. Еще... Заболело в животе, руки и ноги немели и слабели... Ну, еще чуточку... Внизу шумел уже не только отец, а все зрители. Давай, мол, пацан, покажи этому наживале. А чего там «давай», когда уже сердце из затылка выпрыгивает и в глазах что-то черно-зеленое... Обидно до чего: самовар-то вон он, всего за полметра. Еще бы рывочек, другой — и тогда приз, и слава, и восторг ярмарочной публки...

Не осталось сил для рывка. Филипп всхлипнул и обморочно поехал вниз.

...Нет, насмешек не было. Наоборот, одобрительный гул: «Во малец! Выше всех забрался... Чемпион! Еще бы маленько... Да ему и так приз полагается, за рекорд!..»

Филипп сунул ноги в полукеды. Сказал, ни на кого не глядя:

— Конечно... У него он чем-то намазан, столб-то. Скользкий, как мыло...

— Ай, мальчик, зачем так говоришь! Ничего не маzano, все честно!

— Ты, дядя, не крути! — нажимали два крепких мужичка (видать, приятели отца). — Знаем мы твое «не маzano»! Мальчишка выше всех залез, ему все равно премия положена! За достижение!

Зрители вокруг шумно поддерживали эту идею.

— Ай, граждане-товарищи! Почему премия? Хороший мальчик, да, но ведь не забрался! Если каждому, кто не забрался...

— Это не каждому! Это ребенок! Детям везде скидка полагается, сам говорил!

— Ну какая скидка? Не достал самовар...

— Пускай не самовар! Давай какой другой приз! Пацан заработал!

— Какой такой другой, граждане?.. Ай, ну хорошо! Хороший мальчик, пусть! Я все понимаю! Реклама!.. Гляди, мальчик, выбирай! — Банан, сидя по-турецки, плавно повел вокруг себя ладонями. На разостланных мешках стояли и лежали блестящие сапожки из искусственного

сафьяна, плюшевые альбомы с чеканкой, расписные кухонные доски, кованые сундучки и резная портретная рама с потертой позолотой.

Филипп, уже отдышавшийся и ободренный поддержкой масс, прошелся взглядом по этому добру. Спросил ревниво:

— А это что? — И дернул подбородком в сторону большущей круглой корзины — перевернутой и накрытой мешком.

— Ай, ну что ты, мальчик! Это совсем не для тебя...

— Давай-давай, дядя, показывай! — заволновались зрители.

— Что за люди!... Пожалуйста, граждане... На, мальчик, смотри. Хочешь? — Банан поднял корзину.

У врытого в землю колышка, привязанный марлевой тесемкой, топтался огненный петух.

Зрители на миг притихли. Такой красавец! Кроваво-алый зернистый гребень был тяжел, как царская корона. Перья отливали всеми оттенками надраенной бронзы и меди. Шпоры на красных лапах — как у старинного драгуна. Ослепленный пестротой и светом, петух помотал гребнем, вопросительно сказал:

— Ко-о?

И вдруг вздыбил перья, рванулся, поднял крыльями вихрь. Что-то хрипло прокричал. Рванулся снова. На людей! Кое-кто попятился даже.

— Во... приз...

Филипп не попятился. Хотя, конечно, сердце боязливо застучало. Петух медленно поворачивал голову, словно выбирая среди зрителей жертву. Топорщился, греб свободной лапой пыль. Но великолепие этой птицы было в сто раз сильнее, ярче его свирепости. И Филипп в двух метрах от петуха сел на корточки.

— Петя... Петя...

«Петя» обратил на мальчишку огненный взор. «Ох, беда», — понял Филипп, но поздно. Петух рванулся, оборвал завязку. Филипп кувыркнулся назад и бросился от этого сгустка перьев и злости. Под перепуганные и насмешливые вопли, под хохот...

За несколько секунд мальчишка и петух пролетели сотню шагов среди прилавков, ларьков, телег и автофургонов. На задах какого-то павильона поскользнулся Филипп

на устилавшей землю соломе. Брякнулся, перелетел через голову. Сел. А петух... он тоже затормозил. Он ходил боком в трех шагах, клокотал, как раскаленный чайник, рыл солому когтями и тряс гребнем. И глядел на Филиппа глазом с оранжевым ободком. Филипп сообразил, что сию секунду петух еще не бросится. Чего-то ждет. Может, вырабатывает тактику? Обдумывает? Используя спасительную отсрочку, Филипп торопливо сказал:

— Ты чего, дурак? Я с тобой по-хорошему...

— Ко-о? — недоверчиво отозвался петух. В его оранжевом глазу, кажется, поубавилось непримиримости.

— Ты такой красивый, — полушепотом приласкал его Филипп.

— Ко-о... — согласился петух со скромным самодовольством и перестал рыть солому. Перья пригладились.

С ласковым упреком (в точности как Тамара Семеновна в их третьем классе) Филипп заговорил снова:

— Ты такой умный, а так себя ведешь. Ты же сам себя подводишь...

Петух шевельнул крыльями (так люди смущенно поводят плечами). Бормотнул. Что, мол, такого я сделал-то...

Филипп нащупал в кармане огрызок пряника, раздавил его пальцами на крошки.

— Петя, иди... На, поклуй.

Петух перекинул на другой бок гребень. И другим глазом глянул на Филиппа. Потоптался. Подумал. Подошел.

Клюнул.

Деликатно так поклевал крошки на ладони, будто и не гонялся только что за этим мальчишкой.

— Ко-о...

— Хороший...

— Ко-о...

Филипп осторожно прошелся пальцами по шелковистым перьям. Погладил мизинцем гребень. И... то ли от его руки тепло передалось петуху, то ли от петуха Филиппу, или вообще это было что-то другое, но стало ясно: отныне Петька и Филипп никогда не сделают друг другу ничего плохого.

Не обращая внимания на сбежавшихся людей, Филипп выдернул из полукедов шнурки, соединил морским узлом, привязал конец к петушиной лапе.

— Пойдем, Петя...

Навстречу спешило все семейство Кукушкиных.

— Ты с ума сошел!

— Филюшка! Господь с тобой...

— Ай да Филя!

— Вот,— сказал Филипп Банану.— Всё. Я его забираю!

— Филипп! Ты рехнулся? — Это мама, конечно.— Петуха нам еще не хватало! Где он будет жить? Товарищ... э... продавец!..

— Ай, мальчик! Ты молодец, но это нельзя! Это не приз! Другой товар!.. Бери что хочешь: вот сапоги, вот сундук. Петуха нельзя!

— Сами же сказали, а теперь нельзя?! — взревел Филипп.

— Шутка была! Петух по другому списку. Вот, смотри, прейскурант! Хочешь, доплачивай десять рублей. Или старый рубль серебром...

Филипп мокрыми глазами обвел толпу. Но то ли сменились уже зрители, то ли изменилось их настроение.

— А ты потряси рубаху-то,— слышался добродушный совет.— Глядишь, и насыплешь денег, сколько надо. Вон их на тебе...

— Мама! — отчаянно сказал Филипп.

— Не выдумывай!.. Отдай дяде веревочку.

— Па-па!

— Ну, Филя... Если мама...

Вот так! Когда на столб лезешь, «Фнля, давай!». А тут — «если мама»... Филипп закусил губу, чтобы не реветь при всех, рывками раскрутил вниз штанины и пошел прочь, ни на кого не глядя. Семейство Кукушкиных, смущенно окликаая сына и внука, двинулось за ним. К счастью, очень скоро повстречались в толпе Лис, Рэм и Глеб — старший Рэмкин брат.

— Ребята, скажите хоть вы ему! — взмолилась мама.— Петуха захотел... Пусть он с вами погуляет, а нам еще надо в продуктовые ряды... Иван, ты где?.. Ну конечно! Сбежал уже пиво пить. Теперь не дожدهмся...

Филипп остался с ребятами. Но смотрел неласково. А как еще на них смотреть? Вчера только Лис уговаривала: «Нам без тебя скучно будет», а сегодня слиняли куда-то без него... Но Лис быстро сказала:

— Погляди, что мы тебе купили.

Она протянула стеклянный мутновато-прозрачный шар величиной с отборный «танькин мячик». Внутри что-то шевелилось и переливалось. Шаромультик! Эти игрушки делали на Стеклянном заводе по какому-то хитрому и таинственному рецепту. Берешь такой шарик в руку, пристально смотришь на него, и внутри появляются всякие фигурки, звери, кораблики, домики. То ли от тепла, то ли от действия биополя. Если постараться, можно увидеть то, что задумал. И даже целое кино прокрутить силой своего воображения. Редкая была игрушка, многие о такой мечтали. И Филипп... В другое время он возликовал бы, конечно, и простил бы Лис все прошлые обиды. Но сейчас только сдержанно вздохнул:

— Спасибо...

В шарике, который лег ему в ладонь, появился огненный петушок. А в голове — мысль: что, если попытаться продать шаромультик за десять рублей? Или за старый серебряный рубль, какие ценились в Соловьях наряду с бумажными червонцами?

Но кто купит у мальчишки?

Филипп глазами пробежался по толпе. И вдруг сказал быстро:

— Стойте, я сейчас!

Через некоторое время с ярмарки домой двигалась такая компания. Впереди Филипп с тяжелым и смирным Петькой на руках. За ним — Лис, Рэм и Глеб. Потом охающая бабушка, смущенный отец (найденный в пивном павильоне «Оазис») и мама. Рядом пылил отец Дмитрий с набитым покупками спортивным рюкзаком.

Он был тоже смущен. Мама говорила:

— Ну, право же, Дмитрий Игоревич, вы сами как дитя. Один подлетает: «Дайте взаймы», а другой сразу...

— Но, Екатерина Михайловна, не взаймы я, а от души. Ибо сказано, что ежели во благо ближнему, то...

— Во благо этому ближнему! А нам каково? Где мы будем держать такое чудовище?

— Что одно чудовище, что два... — хихикнула Лис.

— Екатерина Михайловна! Да я же и не уразумел сразу, что за петух-то... Оно ведь как было. Чадо подбегает: «Ой, скорее, очень вас прошу, а то кто-нибудь раньше меня купит». Я полагал, игрушка какая-то, а не живая божья тварь... А в кармане с давней поры лежал этот рубль серебряный, с орлом еще, экспон-

нат музейный, можно сказать. Я и не думал, что когда-то понадобится. А тут вижу: сам Господь предрасположил.

Филипп шевельнул лопатками, давая понять, что хотя он и благодарен отцу Дмитрию, но тем не менее отвергает его религиозную трактовку событий.

— Господь...— вздохнула мама, примиряясь с неизбежным.— Деньги Филипп занесет сегодня. Рубля такого нет, конечно, так что бумажную десятку...

— Помилуйте, Екатерина Михайловна! Я бескорыстно, чтобы дитя радовалось...

— Занесет, занесет... Все равно, небось, отправится к вам в эту сумасшедшую головоломку играть...

— Ага, мы придем,— сказал Филипп и ласково подул на Петькины перышки.

Стеклянные ступени

1

Сначала все шло обыкновенно. Рэм и Глеб выпросили на Станции несколько ящиков от аппаратуры, ловко разобрали их на рейки и сколотили во дворе у Кукушкиных большой курятник. Точнее, петушатник, потому что это было персональное жилище для Петьки. Петька там ночевал. А днем ходил по всему Луговому, ухаживал за курицами, время от времени лупил местных петухов — то есть вел обычную жизнь первого красавца и кавалера. Почти никого из людей к себе не подпускал. Только к матери и бабушке Филиппа относился снисходительно, поскольку они подсыпали в петушатник зерно и ставили воду. И еще он побаивался Лис (может быть, из-за лисьего имени этой девчонки, а скорее всего — вслед за хозяином). С некоторым уважением относился и к отцу Дмитрию. Возможно, и впрямь понимал, что благодаря ему попал к Филиппу.

Когда Филипп и отец Дмитрий в садовой беседке двигали по пересеченным проволокам похожие на зерна разноцветные шарики, петух, стоя на перилах, смотрел на это дело с одобрением и порой что-то советовал Филиппу:

— Ко-о-о...

С Филиппом они жили душа в душу. Где бы Петька ни гулял, стоило Филиппу посвистеть или покричать, как пышный кавалер оставлял млеющих от восторга хохлаток и пеструшек и мчался к своему другу. Часто они гуляли вместе (конечно, уже без всякого шнура на ноге). Бывало, что Петька в порыве нежности и преданности взлетал к Филиппу на плечо. Это, по правде говоря, было не очень приятно: лапы у него когтистые, сам тяжелый. Филиппа перекашивало на один бок, жесткие перья терли щеку и ухо. И все-таки это здорово: пройти по поселку с такой грозной и роскошной птицей на плече. Правда, находились дураки и завистники, кричавшие в спину: «Ха-ха! Два петуха!» Они, очевидно, намекали на яркий костюм Филиппа. Но известно, что умные люди на глупые шуточки внимания не обращают. К тому же стоило обернуться, как насмешники драпали.

И все было прекрасно до одного странного случая. Шел Филипп с петухом на плече по главной улице Лугового (пустой по причине жары и рабочего времени), и вдруг Петька затоптался, заклекотал по-орлиному, махнул крыльями, перепугав и чуть не свалив хозяина с ног. Взмыл и... растворился в ясном воздухе — в тишине, солнце и запахе доцветающей сирени.

— Пе-еть! — заорал Филипп в пустоту. Потом потерянно и обиженно сел на край плиточного тротуара. Прямо хоть плачь, хоть головой стукайся: «Что с ним? Куда он? Неужели насовсем?»

Оказалось — не насовсем. Вскоре Петька шумно спланировал из пустоты и затоптался рядом. Он был, кажется, смущен, однако прятал это под некоторой развязностью. Ничего, мол, не случилось, не стоит и говорить...

— Ты где был, паразит?

Петька сделал вид, что внимательно оглядывает окрестности.

— Через барьер куда-то мотался? Умеешь, да? А кто разрешил?

— Ко-о... — уклончиво сказал Петька.

— В следующий раз только попробуй смотаться один!

Петька попробовал. Через сутки. Сидя на своем петушатнике, он издал тот же орлиный клич и вскинул крылья, но Филипп ухватил его за лапы.

...Махнуло ветром. Черным ветром пустоты, как во сне. Помчались мимо не то искры, не то звезды. И сам

Филипп куда-то помчался — то ли вверх, то ли вниз. Душа замерла сразу и от жути падения, и от восторга. Филипп заорал и зажмурился. Но глаза тут же «растопырились» опять. Пальцы отчаянно сжимали петушинные лапы. Петька разгнулся крыльями черноту. И тоже орал — не то от ужаса, не то от радости.

... Они приземлились на странной лестнице. Она висела среди звездного пространства и плавными поворотами уходила вверх и вниз. Там и там в бесконечность. Филипп крепко шелкнул о ступень новыми (лишь накануне купленными) сандалиями, поскользнулся и сел. Ступени были из очень скользкого стекла. Петька дернулся, вырвался, встал рядом, неловко заскреб лапами по стеклу. Сорвался, покатился по ступеням — этакий вопящий «кукареку» шар из огненных перьев. Филипп хотел вскочить, тут же грохнулся и тоже заскользил по лестнице, пересчитывая ступени. И через всю свою перепуганность и боль от ушибов замечал все-таки, что при каждом толчке, на каждой ступени он видит разное.

...Очень синее небо, а в нем похожие на планеты зеленые и коричнево-голубые шары.

...Переплетение громадных зеркал, в которых отразилось множество Филиппов и Петек, причем в разных позах.

...Скрученные винтом белые постройки и мосты над скалистыми бухтами, в которых клубилась темнота.

...Повисший в оранжевом пространстве жидкий, как исполинская капля воды, прозрачный шар, в котором плавали какие-то чешуйчатые звери.

...Поле с желтой травой, где сшибались в дикой скачке всадники в блестящих, как самовары, латах...

Наконец Филипп треснулся крепче прежнего и увидел себя на громадном — до горизонта — поле из ровного темного стекла. Глубоко под стеклом шевелились не то растения, не то щупальца. Это было страшновато, и Филипп глянул вверх. Светили сразу три солнца — два белых и голубое. Они слепяще отражались в стекле. Кое-где подымались высоченные белые сооружения, похожие на перевернутые шахматные фигуры — узкая часть внизу, а наверху — круглая площадка. На одну такую площадку опустился с высоты большущий черный шар — мягкий, приплюснутый, с неприятным крысиным хвостом...

Петька плюхнулся рядом с Филиппом и опять скреб лапами по стеклу. Наконец встал. Махнул крыльями, и... нет его!

— Ты куда?!— завопил Филипп.

«...Да... да... да...» — звонко заголосило отовсюду эхо.

Ох как жутко стало Филиппу. Он отчаянно заскользил, поднялся, брякнулся опять на коленки... Где он? Что теперь будет? Ясно одно — реветь и звать на помощь бессмысленно. А подлый Петька рванул куда-то в одиночку. Куда?! Филипп зажмурился от горького отчаяния. И снова как бы увидел лестницу. Но не просто так, а в перекрестье светлых нитей... что-то очень напоминающих. Может, игру в многомерные шашки? На скрещенных нитей дрожали цветные огоньки, словно что-то подсказывали. Так бывает, если заблудишься среди улиц, на которых раньше не бывал, и вдруг видишь знакомое: трамвай с известным тебе номером или привычную телевышку за чужими крышами... Такими были эти огоньки. И Филипп не успел разобраться, что означает каждый из них, потому что ближний — оранжевый, трепыхающийся — был, безусловно, беглец Петька... Догнать бы только!

Филипп, скользя, опять встал. И опять зажмурился. Вытянул вслед за Петькой руки. Он знал, что надо лишь оттолкнуться для прыжка. Но подошвы снова раскатились. Филипп наконец догадался, сбросил сандалии. Босыми ногами стоять на стекле было надежнее. Оно оказалось прохладным и плотно прилегало к ступням. Филипп стремительно присел и прыгнул... в темноту, расчерченную светлыми нитями бесконечной координатной сетки. За петухом...

Они приземлились прямо во дворе. Филипп сказал:

— Ты у меня еще побегай, котлета по-киевски. Доиграешься...— Он был очень сердит. Но Петька повел себя виновато и лстыиво. Ходил следом, говорил свое «ко-о» извиняющимся тоном и словно объяснял: «Я же хотел как лучше».

А может, он и правда хотел научить Филиппа свободно путешествовать по космической лестнице и по всяким дальним краям?

...В следующий раз Филипп не стал хватать Петьку за ноги, а просто рванул следом. И опять они оказались на лестнице. Петька держался рядом. Босой Филипп



не скользил... Прежде всего он, зажмурившись, отыскал среди переплетений сетки точку вчерашней посадки на стеклянном поле. Надо было забрать сандалии, а то бабушка и мама покоя не давали: «Где ты, растяпа, их посеял?»

Дело едва не сорвалось. Потому что, приземлившись на площади под тремя солнцами, Филипп увидел перед собой черный мягкий шар. Высотой метра два. Это была голова! С мясистым носом, толстыми губами и зелеными задумчивыми глазами (каждый — величиной с тарелку). От макушки тянулся тонкий-тонкий хвост. Кончиком хвоста шар держал сандалии Филиппа на уровне глаз, рассматривал.

Филипп шлепнулся. Толкаясь пятками, отъехал на заду подальше. И тоненько сказал «здрасте». Шар отвел сандалии от глаз и глянул на Филиппа. И тому очень захотелось домой. Но... без сандалий-то совсем со свету сживут. Филипп глянул на них и робко сказал:

— Это мои. Я вчера оставил...

Голова улыбнулась, показав белые (размером со стакан) зубы и розовую внутренность метрового рта. Петька перепуганно завопил и кинулся в пространство. Филипп не кинулся, потому что обмер. Голова, улыбаясь, поставила перед ним сандалии, беззвучно взмыла и села на площадку ближней башни.

— Спасибо... — слабым голосом сказал Филипп и поспешил за Петькой.

...Потом они бывали в разных местах. Гуляли по громадному городу со стоэтажными домами, непонятными машинами и причудливо одетыми людьми, которые говорили на каком-то птичьем языке, а на мальчишку с петухом не обращали внимания. Приземлялись на берегу зеленого озера, в глубине которого можно было разглядеть стеклянные здания с огоньками. Бродили по каменным коридорам с выбитыми на стенах непонятными надписями. Видели (правда, издалека) стада косматых мамонтов на желтой равнине под бледно-полосатым холодным небом...

Конечно, Филипп хвастался перед ребятами своими путешествиями. Конечно, те не верили. До той поры, пока он однажды не исчез вместе с Петькой у них на глазах. Через десять минут он принес им керамическую плитку с улыбочивой шестилапой и крылатой кошкой — от пустого красивого здания, которое одиноко стояло посреди

волнистых песков под зеленым безоблачным небом, где светило маленькое солнце и висел великанский бледный полумесяц.

Тогда поверили. Рэм сказал:

— Ты там осторожнее, шею не свихни.— А что он мог еще сказать? Все равно не удержишь, не запретишь. А Лис заметила:

— Ты небось там все стены исписал: «Здесь был Филя».

— Сама такая...— обиделся Филипп. Что он, в самом деле, совсем дурак? В третьем классе уже проходили охрану памятников и заботу о природе...

2

Иногда Петьке все же удавалось удрать одному. И Филипп отправлялся на поиски. Теперь это было нехитрым делом: с крыльца или с забора бултых в пустоту! Оглянешься в полете, прикинешь среди пространственной сети, где искать беглеца,— и туда. А он — то с дикими курами среди лиловых зарослей и громадных, похожих на беседки грибов, то червей ищет на берегу белого, как молоко, пруда, в котором басовито квакают исполинские, больше самого Петьки, лягушки...

А однажды Филипп выследил Петьку на обыкновенном дворе, у дощатого дома рядом с железнодорожной насыпью. По двору ходили белые пыльные куры, но Петька был не с ними. Он беседовал с мальчишкой. Мальчишка этот — старше Филиппа года на три, худой, в пятнистых шортах и майке, загорелый, хотя всего лишь начало лета,— сидел на корточках и говорил Петьке:

— Цып... Кригер... Откуда ты взялся? Это ты?

Петька снисходительно кивал гребнем и говорил свое «ко-о», будто соглашался. Не нападал!

— Это не Кригер, а Петька,— ревниво и дерзко сказал Филипп.— Он мой!

Мальчишка встал. И обезоружил Филиппа улыбкой.

— Здравствуй... Твой? Ну и хорошо. А где ты его нашел?

Так Филипп Кукушкин познакомился с Витькой Моховым, а скоро и с Цезарем Лотом. Те не стали заявлять хозяйские права на петуха, хотя Витька твердо

был уверен, что это Кригер, занесенный в Луговой в результате неудачного (или, наоборот, удачного) эксперимента.

— Главное, что живой! — радовался Витька.

Филипп все же спорил сначала:

— А почему он тогда к вам ни разу не прилетел обратно?

— Я тоже удивляюсь... Может, напугался после того опыта и не хочет. А может, забыл дорогу... Все равно это он! Смотри, он откликается на Кригера!

Так и звали потом — то Кригером, то Петькой.

Витька и Цезарь оказались люди что надо! Над костюмом с монетами не смеялись, «неумытиком» не обзывали, разговаривали всегда так, будто они и Филипп одинаковые по возрасту. И все объясняли понятно. Витька сказал, что полеты в темном пространстве со звездами называются «прямой переход», и очень завидовал, что Филипп переносит это дело шутя. Сам Витька при каждом переходе непонятно от чего мучился, а Цезарь и совсем летать не мог. Но все равно они были отличные ребята, и Филипп даже сказал однажды Витьке:

— Ты похож на Ежики...

— На каких ежиков?

— На Ежики. Так одного моего друга зовут. Он тоже такой же... никогда не дразнится. Только он сейчас уехал на Полуостров. Через туннель. Жалко...

— А разве ты не можешь его навестить?

— Через туннель? Мама не пускает...

— Да нет же! Переходом!

— А как?.. Я... не знаю куда...

Понадобилось несколько часов, чтобы обсудить все свойства прямого перехода и сделать кое-какие выводы (Цезарь, бедняга, конечно, только слушал да вздыхал). Стало ясно, что переходом этим попасть можно не в любую точку, не наобум куда-то, а лишь в такое место, где тебя кто-то ждет, или туда, где ты кого-то или что-то ищешь или с кем-то хочешь встретиться. Короче говоря, надо знать, куда стремишься...

— Петька, выходит, тоже знал, — заметил Филипп.

— А ты думал! Кригер — не дурак, зря не ползет... И обрати внимание: он ведь ни разу не сунулся в какой-нибудь мир с метановой или аммиачной атмосферой или с большими опасностями. Только туда, где можно жить и дышать...

— Ох, ребята,— вдруг встревожился Цезарь,— а если Филипп в каком-нибудь уголке Вселенной подцепит вредные бактерии и занесет к людям эпидемию? Всякое может быть.

— Почему это именно я? — обиделся Филипп.

— Но Витька ведь так далеко не летает...

Филипп подумал.

— Не-е... По-моему, межпространственный вакуум,— он сказал эти новые для себя слова очень солидно,— уничтожает всякую заразу... А я уцелел. Значит, я хороший.

— При чем здесь ты? — удивился Цезарь.

— Лис вчера сказала, что я хуже чумы...

Посмеялись. Потом порассуждали (в основном Витька) о различии между прорывом через локальные барьеры и прямым переходом. Пришли к выводу, что разница такая же, как между почтой восемнадцатого века и радио. У прямого перехода все другое — и физические законы, и скорость... Барьеры и туннели между гранями, видимо, кое-кому были известны еще в древности. А вот чтобы мгновенно просверлить толщу Кристалла...

— Ну, расхвастались,— вдруг сказал Витька, посмотрев на Цезаря.— Сами еще как слепые котята...

Но конечно, не такие уж они были слепые. Ведь пространственную сеть с координатами они в полете видели оба — и Витька, и Филипп. Витька объяснил, что если Филипп захочет и постарается, то сможет, наверно, отыскать в этой сетке и Полуостров, где живет Ежики.

Филипп поверил. И попробовал. Полуостров и дом Ежики он вычислил и побывал там. Причем один, без Петьки. Но это случилось позже. А сперва они побывали на Якорном Поле. Филипп и Витька, без Цезаря.

Наверно, Цезарю было обидно. По крайней мере, так думал Витька. И пришлось немало поломать голову, пока наконец не нащупали путь от Реттерберга до Якорного Поля не прямым переходом, а через локальные барьеры и вдоль Меридиана. Не близкая оказалась дорога, но все-таки однажды на поле, где лежали в сорняках ржавые якоря и стояла старая кирпичная крепость-кронверк, сошлись Филипп, Витька, Цезарь, Лис, Рэм и Ежики.

Разные и чем-то похожие друг на друга. Может, тем, что знали о переходе и умели проходить сквозь барьеры? Одни больше умели, другие меньше, но все равно

каждый мог шагнуть хотя бы через одну границу пространства. Потому и Пограничники.

Они понимали друг друга, и потому им было хорошо вместе. А может быть, и не только поэтому. Просто на стыке, на границе разных пространств, судьба свела своими тропками людей, которым предназначено было стать друзьями. Тут не разберешься. Да никто и не думал разбираться. Сходились вместе и радовались друг другу...

Два раза собирались на Якорном Поле, а потом Филипп вывел их к Башне...

3

Лето было бесконечным. Казалось, кто-то растянул его, чтобы вместились как можно больше событий. Стояла еще первая половина июня, а с Филиппом случилось такое множество приключений, что хватило бы на целый год: и полеты с Петькой, и новое знакомство, и визит на Полуостров, и встречи на Якорном Поле... А потом было вот что.

Однажды Петька удрал опять, и Филипп нашел его среди степи с клочковатым кустарником и пестрой травой. В траве кое-где стояли серые каменные идолы ростом со взрослого дядьку, но в три раза толще и с неласковыми лицами без ртов. Они были горячими от солнца. Солнце, белое, как расплавленное серебро, светило в бледном от зноя небе. Густо пахло какими-то цветами.

Петька разгребал землю у подножья идола. Он покосился на Филиппа, сказал свое «ко-о» с большим недовольством, замахал крыльями и пропал. Видимо, сбежал домой, уклоняясь от неприятных объяснений.

Филипп оглянулся. Место было неинтересное, разглядывать особенно нечего. Он зажмурился, чтобы сигануть вслед за Петькой. В глазах плавали от солнца зеленые пятна, сетка не появлялась.

Вначале Филипп не испугался. Вдохнул поглубже, зажмурился еще раз... и почувствовал себя как в душном, обложенном ватой мешке. Жара и сладкий запах кружили голову, лишали сил. И Филипп с нарастающим ужасом понял, что нет у него прежней силы, прежнего умения бросаться в пустоту между разными пространствами. Знойный воздух степи обволакивал, растворял его в себе.

Он встряхнулся, отчаянно заорал:

— Петька-а-а!

Но голос увяз в солнечной тишине. Степь держала мальчишку в плену.

Филипп заревел. Ужасно захотелось домой. И не то чтобы он понял умом, но ощутил душой, в какой страшной, непреодолимой дали оказался вдруг от своего Лугового... Это ощущение было таким жутким, что даже слезы остановились. И тут же высохли на щеках под белыми лучами. Филипп, раздвигая высокую траву с желтыми зонтиками цветов, побрел, не зная куда... Хотел еще раз крикнуть Петьку, но голос осекся...

Он шел довольно долго и вдруг услышал сзади равномерные толчки. Это рысью догонял Филиппа всадник. Полуголый мальчишка на рыжей длинногровой лошадке.

Нельзя сказать, что все в жизни встречи с незнакомыми мальчишками проходили у Филиппа гладко. Но сейчас он просто возликовал. Все-таки живой человек, настоящий! Не какой-то каменный идол или громадная башка с крысиным хвостом. Тем более что похож был мальчишка на знакомого четвероклассника Стасика Блинова, человека незадиристого и разумного. Курносым лицом похож, короткой белобрысой стрижкой, редкими веснушками, глазами с золотинкой. Плечи у мальчишки шелушились от загара, на груди на цепочке висело что-то круглое и блестящее. Вместо штанов — не то повязка, не то юбочка с бахромой.

Это все разглядел Филипп, когда лошадь стала в двух шагах. Мальчик смотрел с седла спокойно и по-хорошему. Даже понимающе как-то.

— Ххто-у... — сказал он негромко. Или это означало «кто ты», или приветствие на здешнем языке.

— Филька я, — насупленно объяснил Филипп. — Кушкин. Заблудился.. Из Лугового я. Понимаешь? — А что он мог еще сказать?

Мальчик, наверно, не понял. Но и не удивился. Проговорил что-то еще по-непонятному. Филипп виновато пожал плечами. Тогда всадник протянул руки: лезь ко мне. Нагнулся, ухватил Филиппа за локти (сильный такой!), дернул вверх. И Филипп оказался на лошади, впереди седла. Лошадь оглянулась, весело фыркнула, обдав ветром Филькины босые ноги.

И поехали... Было тряско, не очень-то удобно, зато здесь, повыше над землей, сонно-сладкий запах цветов был

слабее. Словно сквознячком повеяло, и у Филиппа появилась надежда. Он хотел спросить: куда едем и зачем. Но мальчик сказал:

— Ха-атта! — И лошадь перешла на галоп. Верхушки трав захлестали Филиппа по ступням. Он ойкнул, вцепился в гриву. Налетела встречная тень, хотя в небе — ни облачка. Что-то лопнуло, зазвенело, будто проскочили сквозь натянутую пленку. Филипп увидел, что уже вечер — желтый закат над пологими холмами, которых до сих пор не было. Увидел странную, косо стоящую башню. Было прохладно, пахло осокой...

Лошадь стала, мальчик соскочил, помог слезть Филиппу. Повел по сторонам тонкой рукой с расцарапанным локтем. Сказал что-то по-своему, но Филипп его понял. Не слова, а смысл понял: «Сейчас иди, не бойся. Отсюда дорога куда хочешь...»

Филипп зажмурился. И точно — все теперь было как полагается. Светилась — в пространстве сеть, дрожал в ней желтый огонек — дом в Луговом.

Филипп открыл глаза, встретился взглядом с мальчиком и почему-то смутился, засопел. Мальчик смотрел, словно спрашивал: «Ну что? Все хорошо теперь?»

— Ага... — сказал Филипп. — Спасибо... А ты кто? Ты сюда придешь еще? — Ему не хотелось почему-то расставаться.

Мальчик понял или не понял, но кивнул. Вскочил в седло, показал на башню, потом вокруг. Сказал что-то, улыбнулся, стукнул голыми пятками о лошадиные бока. Поскакал и пропал за башней, будто не было...

Прежде всего Филипп слетал домой. Изловил Петьку и посадил его за вредность на целый день в петушатник. И сразу вернулся к башне. Задрал голову.

— Как ты не падаешь, а?

...Потом, когда ребята стали собираться здесь регулярно, они все разглядели внимательно. Однако многое осталось непонятным.

На свете давно известны падающие башни: Пизанская, Невьянская, Дум-тоор в марсианской Долине Льда и так далее. Но эта из всех из них была, без сомнения, самая падающая. По всем законам гравитации следовало ей грохнуться и рассыпаться. А она стояла неколебимо. И видимо, очень давно. В какие-то неведомые времена и неведомо кто сложил башню из громадных, плохо

отесанных глыб. Четырехгранная, с полукруглым входом без дверей, с черными щелями окон-бойниц на разной высоте, она сильно суживалась вверх, и увенчивала ее крыша в виде пирамиды, с кривым ржавым копьём. Скорее всего, крыша была из полустлелвшего теса, но как следует не разглядишь: высотища-то метров пятьдесят. Стояла башня так косо, что сперва и подходить было боязно. Потом привыкли. Тем более что внутри башня вовсе не казалась наклонной. Стены уходили вверх строго вертикально и терялись в желтоватой полумгле — потолка не было видно. Надо сказать, что вообще башня внутри казалась гораздо просторнее, чем снаружи, а высота представлялась совсем какой-то недосыгаемой. И вот из этой-то клубящейся и словно чуть-чуть подкрашенной закатом полумглы спускался ржавый, граненый, толщиной в руку стержень маятника.

О маятнике особая речь. Он был громаден. Литой, из потемневшей меди, метровый шар был надет на стержень невысоко от пола. Точнее — от круглой, размером почти с цирковую арену площадки, усыпанной крупным гравием и огороженной низкими гранитными брусками. Страх подумать, сколько этот шар весил.

Маятник двигался. Вечных двигателей, конечно, не бывает, но, видимо, качала его какая-то скрытая энергия, или запас изначальной инерции был так велик, что сохранился на века. Шар плавно ходил над площадкой — семь секунд туда, семь обратно. Когда он останавливался на миг у гранитного поребрика, что-то звонко шелкало и отдавалось эхом, словно оконечность маятника цепляла металлическую пластинку. Но никакой пластинки не было.

Никто не мог разглядеть: прицеплен стержень к потолку или уходит в какие-то надзвездные дали. Возможно, что и уходил. В бесконечность. По крайней мере, двигался он вертикально, без заметного угла наклона. А нижний конец его, под шаром, шел над площадкой в середине и у края на одной высоте — сантиметрах в десяти от гравия.

Лис высказала мысль, что это маятник Фуко. Рэм возразил, что маятник наверняка сделан в те времена, когда Леона Фуко, знаменитого инженера и ученого, не было на свете. К тому же, как известно, маятник Фуко не зависит от вращения Земли. Если он ходит долго, заметно, как линия его качания постепенно перемеща-

ется. Точнее, это поворачивается Земля, а линия остается в пространстве неизменной. Здесь же острие стержня под шаром неизменно ходило между желтыми и черными камнями, вмурованными в гранитную окружность.

— А ты уверена, что здесь Земля? — тихо спросил у Лис Ежики.

— А что? Вон бабочка-крапивница летает...

— А может, этот маятник ходит вдоль Меридиана? — осторожно предположил Витька.

— Какого? — недовольно сказала Лис.

— Генерального...

— Что это за штука?

— Ну... считается, что направление вдоль ребер Кристалла. То есть границ, которые лежат между пространствами. Его не везде можно определить, только в редких местах... Это условное понятие, конечно.

— Понятие условное, а шарик-то ого какой... материальный, — заметил Рэм.

— К сожалению, мы едва ли сможем расшифровать надпись, — сказал Цезарь.

Шар по экватору был опоясан медной широкой лентой с отчеканенными знаками. Они напоминали старинные готические буквы, но были совершенно непонятны. Приклепанная к шару в нескольких местах лента кое-где отошла. Один конец был сильно отогнут.

— Будто кто-то отодрать хотел... — задумчиво сказал Филипп. — А может, и правда хотели... Великан какой-нибудь или чудовище.

Всем стало немного не по себе. Но вскоре убедились, что никаких великанов и чудовищ здесь не водится. Водились птицы в кустарнике, что разбросан был тут и там (в нем оказалось много сушняка, и это пригодилось для костров). Водились бабочки, жуки и стрекозы, а в мелких озерах, почти лужах, по вечерам кричали лягушки.

Кстати, когда бы здесь ни появлялись ребята, обязательно стоял ясный, желтый от заката вечер. А стоило всем собраться — и быстро наступала ночь. Черная, с яркими звездами. Проходила она тоже очень быстро, буквально за два часа. Потом на эту маленькую, окруженную близкими, но туманными холмами равнину приходил жаркий безоблачный день. Тоже очень короткий. И все сутки получались часов шесть. Может, и правда другая планета? Или один из темпоральных эффектов Меридиана?

К башне с одной стороны примыкала кубическая каменная пристройка. Может быть, когда-то в ней жил смотритель маятника. С другого бока стоял квадратный, сложенный из гранитных брусьев столб. Метрах в пяти от земли он соединялся с башней могучим рельсом, на котором висел черный от старости колокол. Большой, двухметрового диаметра. Языка внутри колокола не было. Хочешь позвонить — бросай камушком. Впрочем, звук был глухой, впечатления не производил. Зато, если встанешь под колоколом и что-то скажешь, разносится по всему полю. А может, и не только по нему. А если по просьбе Филиппа заорет Петька-Кригер, то хоть ложись и зажимай уши.

Петьке, кстати, нравилось это место. Он часто сидел под колоколом, на желтом, источенном временем камне, похожем на череп динозавра.

Несколько раз Филипп созывал Пограничников тем, что командовал Петьке: «Голос!» Без команды Петька орал здесь редко. Наверно, его смущала необычная краткость суток.

Сперва башня казалась неудобной и даже подавляла своей таинственностью. Но скоро ее полюбили. Она стала башней их — Пограничников. И называли они ее теперь как бы с большой буквы. Правда, внутри собирались нечасто. Только если уж очень донимала дневная жара, шли в каменную прохладу пристройки. Там, будто скамейки, лежали буквой П гранитные брусья. Очень удобно. И все-таки чаще всего ребята сидели снаружи, вокруг маленькой костровой площадки. Потому что неловко было шумом и разговорами беспокоить маятник, меривший семисекундными отрезками вечность.

Маятник уважали. Говорили рядом с ним вполголоса. Лишь Филипп, если был один, позволял себе нахальство. Вспрыгивал на шар и садился, растопырив ноги. Качался туда-сюда, млея от удовольствия. Казалось бы, что за радость для мальчишки, который за один миг может «качнуться» в невероятные края? А вот поди ж ты... Одна была неприятность: соскальзывая с шара, Филипп часто цеплялся за отогнутый конец медной ленты и рвал штаны.

Если посчитать, сколько раз собирались у Башни, то вроде бы и немного. Но всем казалось, что случается это давно и многократно: и разговоры у костра, и небо

в густых звездах, и негромкие «шелк... шелк...» маятника. И теплое, прочное ощущение, что все — свои, все — друзья... И смесь русского и реттербергского языков, на которой они говорили, тоже скоро сделалась привычной.

Таким вроде бы неизменным все это стало, что Витька очень удивился, испугался даже, когда из темноты шагнул однажды к костру незнакомый мальчик.

Небольшой, ровесник Филиппа. В летнем парусиновом костюмчике с якорем на кармане, в пыльных красных кроссовках. Светло-русый, давно не стриженный, с неприметным лицом, на улице и не обратишь внимания на такого. Но здесь... Откуда?

Витька смотрел на незваного гостя просто обалдело. Но... через несколько секунд сообразил: не такой уж он незнакомый. Виделись один раз — в Верхнем парке, у скульптуры. А остальные Пограничники — те просто-напросто обрадовались:

— Юкки!

Он заулыбался, хорошо так:

— Я иду, вижу огонь... Я погреюсь с вами, можно?

Его усадили у костра. Ежики выкатил из золы печеную картошку. Юкки сидел на корточках, молча ел, мазал угольной кожурой губы, слизывал с коленок картофельные крошки.

— Как дела на Дороге? — спросил наконец Рэм.

— По-всякому, — тихо ответил Юкки. — Идешь, идешь... Много людей...

— А... сестренка? — осторожно сказал Ежики.

— Она в Райдосаре сейчас, я узнал... Встретимся, не привыкать... Не в этом дело, — Юкки заметно погрустнел.

— А в чем? — нерешительно спросил Ежики.

— Вообще... В Дороге. Куда она?.. — Юкки вдруг улынулся, зевнул. — Я тут посплю, ладно?

Рэм дал ему свою ветровку.

— Закутайся и ложись...

...Однажды в полдень появился князь. Пеший. Лошадь вел на поводу. Здесь уж все удивились. Кроме Филиппа, который неизвестно почему заорал «ура». Впрочем, и он тогда не знал, что это князь. Тот сказал с акцентом, но довольно понятно по-реттербергски:

— Колокол разносит шум. Я услышал. И еще мне говорил про вас Юкки... Можно к вам? — И улыбнулся, как улыбаются смирные ребята, когда не уверены, что их

примут в компанию. Щуплый такой парнишка, губы в трещинах, зубы со шербинкой...

У костра

1

Красное солнце, едва Витька взглянул на него, скатилось в дымку над размытыми очертаниями холмов. Розовато-желтый закат растянулся по близкому волнистому горизонту. Башня, стоявшая в двух сотнях шагов, казалась черной, Витька смотрел на нее через траву. Головки травы тоже казались черными. Не двигались. Было очень тепло, душно даже. Пахло всякими растительными соками и стоячей водой...

Витька лежал на спине. Цезарь — поперек его груди, лицом вниз. Не шевелился. Но Витька ощущал сквозь рубашку редкие толчки его сердца. «Живой все-таки...» — как-то отрешенно подумал он. В ушах тонко звенело, в голове — словно мокрая вата.

Слабо дергая ногами, Витька выбрался из-под Цезаря, перевернул его на спину. Лицо у Чека белое, мокрые ресницы слиплись, на щеках размазалась влага. Рот приоткрыт, и нижняя губа оттопырена, как у обиженного во сне малыша.

Тяжелая вата в голове исчезла. Вместо нее — горькая озабоченность и страх: «Опять я втянул его в скверное дело...» Витька резко встал, поискал глазами в траве бурые головки клопомора. Сорвать, разломить стебель, сунуть Чеку под нос — едкий запах продирает мозги не хуже аммиака... Черт, как назло, ни одного кустика...

Цезарь слабо шевельнулся, Витька с тревогой глянул на него. Цезарь лежал, неловко согнув руки и раскинув ноги. И... Витька охнул и сморщился. С досадой и жалостью. На комбинезоне Цезаренка внизу живота и между штанин темнело широкое сырое пятно... Ну что тут поделаешь, бывает такое. Пусть смеется или дразнится тот, кто не испытывал прямого перехода. А Витька-то знает. Стыдно вспоминать, но и с ним однажды это было, только не в первом случае, а, кажется, в третьем. Сколько трудов стоило потом скрыть это от других, в таверне...

А Цезарю как? Он же не простит ни себе, ни Витьке, когда очнется... Вот еще забота!

Цезарь двинул ногами, шевельнул головой. Витька беспомощно оглянулся. Потом подхватил Цезаря (обвисшего, странно тяжелого) и понес, заплетаясь в траве. Шагах в двадцати было озерко. Крошечное, метров десять в ширину. Витька продрался сквозь осоку, увяз в илистом дне, застонал сквозь зубы (вода была ледяная от ключей) и плюхнул Цезаря.

Тот дернулся. Забарахтался. Ошалело сел в воде. Витька рывком поднял его на ноги. Цезарь содрогнулся, растопырил ресницы, затряс плечами, раскидывая брызги. Сказал, шатнувшись:

— Ты что? Зачем?

— Я хотел тебя головой макнуть, чтобы ты очухался. И не удержал... Ну, ты как?

— Спасибо, я очухался,— вздрагивая, сообщил Цезарь.— Хотя и не совсем... Ты не мог придумать другого способа?

— Не мог. Я перепугался...— Витька потянул его из воды. Цезарь сначала засопровтивлялся почему-то, потом быстро вышел. Опять помотал головой. Сказал жалобно:

— Извини, но ты псих...

Витька радостно засмеялся. Это был уже настоящий Цезарь.

— Сними все, высушись у костра.

— Какой костер! Спички размокли.

— Твои размокли, а у Башни все равно кто-нибудь костер разведет.

— Значит, мы у Башни?

— Ты что, не видишь?

— Ох, правильно... Значит... это был прямой переход?

— А что же еще...— сказал Витька виновато.

Цезарь помолчал, постоял. Сбросил набухший комбинезон, мокрую майку. Задрожал крупно и беспомощно. Витька накинул на него свою рубашку.

— Плавки выжми...— И отвернулся. Помимо всего Чек был ужасно стеснительным.

Потом они выкрутили комбинезон и майку. Рубашку Цезарь вернул.

— Спасибо, я уже согрелся. Здесь тепло...— И вдруг сел в траву. Скорчился. Маленький, костлявый. Сказал шепотом:

— Я и не предполагал, что это так... ну, совершенно ужасно.

— Все ведь позади, Чек...

— Да... но все равно...

— Зато ушли от улан.

Цезарь снизу вверх печально смотрел на Витьку.

— Благодаря тебе. Один бы я ни за что не решился, если бы даже умел. Сдался бы им...

— Человек никогда не знает заранее, на что может решиться, — насупленно сказал Витька.

— Я, к сожалению, знаю. Когда очень страшно, я съезживаюсь.

— Это ты опять про машину, что ли?

— В том числе...

— Вовсе ты там не съезживался! — обрадованно разозлился Витька. — Ерунду мелешь! Ты орал: «Пустите меня к Корнелию!» — и сдуру на всем ходу пытался выпрыгнуть на шоссе. А отец с матерью тебя тащили назад за ноги!

— Кто тебе сказал такую чушь?

— Рибалтер! Давно еще!

— Он не мог видеть, он сидел за рулем, ко мне спиной.

— Ему рассказали твои мама и папа... Если бы ты не высовывался, как бы тебя зацепило по плечу?

— Странно... Мне такого не говорили. И почему я сам не помню?

— Потому что ты вбил себе в голову: «Трус, трус...» Все бы такие трусы были... Пошли.

И Чек повеселел. Пошел, размахивая скрученным в жгут комбинезоном. Но иногда все же хмурился и вздыхал.

У Башни их радостно встретил Филипп. А Петька-Кригер, стоя на камне под колоколом, покивал и одобрителем сказал «ко-о».

Филипп, оказывается, уже набрал веток и сухого репейника.

— Только спички я забыл, — он сокрушенно похлопал себя по бокам. Был Филипп, как и раньше, в своем «монетном» костюме (уже изрядно потрепанном), но босой, и штаны подвернуты выше колен — так оно все-таки привычнее. И конечно, неумытый. Глядя на него и улыбаясь, Цезарь сказал:

— А наши спички размокли.

— Чепуха! Давайте сюда!

Он присел, положил коробок и горку мокрых спичек на лопух, сдвинул над ними ладошки. От коробки пошел пар, спички высыхали на глазах.

— Вот это излученьице,— сказал Витька Цезарю.— Это тебе не индексы слизывать...

Втроем они запалили костерок.

— Хорошо...— солидно произнес Филипп.— А то мы с Петькой тут все без огня да без огня. А возвращаться домой неохота, сразу поймают: «Иди грядки полоть...»

— Значит, ты тут давно?

— Вторые сутки. Здешние... Скоро все наши придут. И будут меня ругать, что сбежал. Они на плоту, вниз, по речке, а я так, сразу...

Витька с завистью глядел на чумазого пацаненка, для которого прямой переход — «так».

— Значит, Крингер не зря орал? Все Пограничники собираются?

— Да... Юкки просил собрать. Что-то важное сказать хочет...

— Извини, но говорили, что Юкки опять ушел на Дорогу...

— А что такое Дорога?— серьезно возразил Филипп.— Сегодня человек там, завтра опять здесь... Ой, вон наши идут!

Из-за Башни появились Рэм, Лис, Матвей по прозвищу Ежики и незнакомый мальчишка — с прической щетинистой, как у Цезаря, только потемнее и покороче.

— Привет! Это Ярнк,— сообщил Ежики.— Видите, он тоже сумел через барьеры пробраться... Найдется для него медный петушок?

— Ярнк, привет,— небрежно сказал Филипп, делая вид, что ничуть не боится Лис.

— Иди сюда, обормот,— потребовала Лис.— Здравствуйте, мальчики... Иди сюда, чудовище! Мы его там ждем, ждем, чтобы вместе ехать, а он...

— Пора бы привыкнуть,— скандальным от испуга голосом заявил Филипп.

— Ребята, можно я ему всыплю?— жалобно спросила Лис.

— Можно,— сказал Рэм.

— Нельзя,— сказал Ежики.— Что вы все цепляетесь к маленькому.

— Маленький!.. Чучело немытое. И опять штаны разодрал! Не крутись, все равно вижу. Иди сюда...

— Шиш тебе.

— Иди, дурень, зашью.

— Дай честное слово, что больше ничего не сделаешь.

— Иди, говорю... Ну, даю, даю... Иди, а то хуже будет!

И Филипп, который в секунду мог умчаться в дальние миры (или, по крайней мере, к себе в Луговой), вздохнул и пошел. Лис присела на плоский камень, поддержала джинсы, уложила «чудовище» животом к себе на колени. Из-под воротника блузки достала иглу с намотанной ниткой. Пока она работала иглой, ребята сошлись у огня и толковали, что вдруг вздумалось Юкки собирать народ раньше назначенного срока.

— Юкки зря не скажет, он человек серьезный,— подал голос Филипп.

— В отличие от тебя... Лежи спокойно!

— А мне твердо лежать на твоих суставах...

— Господи, что за создание!

— Никакого господи не бывает... А-а!!

— Не дергайся, дурак!

— Честное слово давала!

— Это не я, это тебя Бог наказал... которого нет... Лежи! А то так и будешь ходить в драных штанах при всех... Вон смотри, князь едет.

— Подумаешь,— буркнул Филипп.— Князь вообще не носит штанов, и то... Ай!

Князь Юр-Танка подъехал на смирной своей кобылке, прыгнул с седла. Одет он был не как владыка княжества, а как обычный мальчишка из прибрежного города Юр-Танка-пала, в котором почти круглый год лето. На нем был хоро — широкий набедренный пояс, с которого сзади и спереди свешиваются короткими фартучками концы полосатого чупа — пропущенного между ногами куска ткани. Правда, в ткани блестела дорогая серебряная нить, а босые ноги от щиколоток до колен закрывали чеканные поножи. Да и на груди золотая цепочка с медальоном или образком...

— Юрик, привет!— Филипп двинулся от Лис на встречу князю.— Привез петушков? А то у нас новичок!

Юр-Танка взял его тихонько за плечи.

— Привез, Филипп, здравствуй... Здравствуйте, все.

Ему обрадовались так же искренне и нешумно, как держался он сам. Обступили. Рэм взял его руку в обе ладони.



— Здравствуй, князь. Почему тебя не было прошлый раз?

— Воевали,— сказал Юр-Танка невесело, но просто, как о надоевшей черной работе.

— Хал?— спросил Рэм.

— Хал... И его племянник Саддар, у него тяжелая конница...

— Когда только это безобразие у вас кончится,— сказала Лис.

Чуть заметно Юр-Танка улыбнулся:

— Кончилось уже... Они не рассчитали, влезли в долину между Желтыми холмами и Хребтом Змея. Думали, что мы далеко... А мы их взяли с двух сторон — ни уйти, ни развернуться для боя.

— И что?— подпрыгнул Филипп.

— Командиры говорят: «Пришла пора, искрошим их, князь, и будет мир...»

Тихо сделалось, только огонь потрескивал да переступала копытами лошадь. Юр-Танка глянул на одного, на другого, опустил глаза.

— На крови что за мир... Я поехал вот так, без доспехов, без меча. Один... Говорю: «Хал, зачем опять пришел? Ты был когда-то союзником отца...» А он злой, старый, глядит из-под шлема: «Почему приехал, как в гости? Я не убью — другие убить могут... Проводите его, пусть дает команду своим сотням, а мы сумеем умереть как надо...» Я говорю: «Хал, зачем! Ну, будут опять кровавые ручьи, вороны жирные будут, а для чего? Что мы делим-то между собой?» А он: «Как что делим? Дикую долину!» А в Дикой долине — только буераки да камни, даже пахать нельзя. Ни княжеству нашему, ни Хал-дагею она, если подумать по-хорошему, не нужна... Я говорю: «Она и одной-то жизни не стоит... Если возьмешь ее, спрячем мечи? Подумай...» Он отвечает: «Что думать, князь. До этой ли Дикой долины мне теперь? Воля твоя. Выпустишь — уйдем...»

— Выпустил?— нетерпеливо спросил новичок Ярик. На него посмотрели: не дело перебивать князя. Юр-Танка потерся ухом о голое облезлое плечо.

— Ага... Сотники и воеводы крик подняли. Нельзя, мол, случай терять. Выпустим, а потом он опять... Если, говорят, князь не желает, сами решим. Я говорю: «Посмете — уйду. Насовсем». Они: «Куда, князь?» — «Знаю,— говорю,— куда. Где не врут, не убивают». — «Как уйдешь!

Ты сын Юр-Око-Танки Славного, мы тебе на огне клялись!» — «Тогда исполняйте...» Ну, ушел Хал и Саддара увел... Через неделю из Хал-дагея гонцы: «Давай, князь, Дикую долину больше не делить, пусть коней пасут и охотятся все, кто пожелает. А посредине, где в прежние времена граница была, храм поставим в знак мира...» Сошлись люди, поставили церковь...

Филипп деликатно помолчал сколько надо, тронул князя за локоть:

— Юрик, можно я покатаюсь? Я недалеко...

— Покатайся, конечно.

Было еще светло от заката. Гнедая кобылка князя послушно стояла неподалеку. На круп наброшен был темный плащ с меховой опушкой, у седла — сумка, маленький лук и колчан. Филипп обрадованно помчался к лошади. Довольно умело влез в седло.

— Но-о...

— Сломает шею,— сказала Лис. Юр-Танка улыбнулся:

— Не бойся.

Все подсели ближе к огню — кто на камни, кто в траву. Ежики и Ярик подбросили веток. Рэм сказал:

— Князь, ты ведь христианин. А Хал — язычник. Как же одна церковь? Он не нарушит обещания?

Юр-Танка не удивился вопросу. Объяснил, глядя в огонь:

— Она общая. Церковь Матери Всех Живущих... Мать была у каждого, хоть он христианин, хоть язычник... Говорят, кто в эту церковь приходит, будто на какое-то время со своей матерью встречается. Если даже ее не помнит...

— Говорят... или правда?— очень осторожно спросила Лис.

Юр-Танка шевельнул губами:

— Правда...

Потом несколько минут никто ничего не говорил. Зачем лишний раз трогать грустное...

Подъехал к огню Филипп, разбил молчание:

— Юрик, ты как свой лук растягиваешь? У меня мускулов не меньше, а я больше чем наполовину не смог...

— Кто тебе разрешил!— вскинулась Лис.

— Я же вхолостую!

— Здесь не в мускулах дело,— улыбнулся Филиппу Юр-Танка.— Я потом покажу.

— Ладно... А давай меняться! Ты мне лук, а я тебе шарик стеклянный. В нем что хочешь, то и увидишь. Волшебная такая штука.

— У меня уже есть такой. Радомир подарил в прошлый раз.

— У-у. Ну, давай на что-нибудь другое.

— Давай на петуха,— очень серьезно предложил Юр-Танка.

— Ну... придумал тоже,— расстроился Филипп. Ребята запересмеивались.

— Я пошутил,— сказал Юр-Танка.— Оружие можно только на оружие менять. Такой закон...

— Не хочешь — не надо... А можно я тогда выстрелю? Один разок. Как получится. А?

— Выстрели. Только не в нашу сторону и тупой стрелой.

— С такой пробочкой на конце, я знаю.

— Все ты знаешь,— опять улыбнулся Юр-Танка. Все смотрели, как Филипп отъехал и пустил стрелу. Потер отбитое тетивой предплечье, толкнул пятками лошадь, поехал за стрелой. Скоро вернулся.

— Улетела куда-то. Темно уже, не видать.

— Ужасно бестолковый,— вздохнула Лис.— Верно, Юрик?

— Нет, Филипп хороший,— тихо возразил Юр-Танка.— Вот если бы у меня был такой брат...

Все снова примолкли. А Филипп сказал с седла:

— Я тебе шарик не за лук отдам, а за так. Он тебе все равно пригодится, когда ты Ежикин потеряешь.

— Спасибо... Брось сюда плащ, Филипп. Мы расстелем, лучше будет сидеть.

2

Пока шли разговоры, Витька то и дело поглядывал на Цезаря: совсем ли пришел он в себя? Какой-то уж очень молчаливый стал. Но нет, кажется, все в порядке. Высушил у огня и натянул комбинезон. Сходил к сухо-стою за сучьями, подобрал в костер. Присел рядом с Витькой. Вдруг спросил:

— Как ты думаешь, уланы специально следили за нами?

— Что?— Витька не понял сразу. Уланы, Реттер-

берг — все это было так далеко сейчас. — Нет, не думаю... Скорее просто патруль. Они между собой грызутся, вот и рыскают везде...

— Может быть, — неуверенно вздохнул Цезарь. — Но зачем же мы тогда бежали?

— Тот, которого ты помнишь по спецшколе... Он же узнал тебя. Мало ли что...

— Да, пожалуй... Но, скорее всего, я зря перепугался.

«Скорее всего, не зря», — подумал Витька. Но сказал:

— Я тоже.

Когда развернули княжеский плащ, оказалось, что он очень большой. Из тонкой, но ласково-пушистой ткани. Все расселись на нем, кроме Рэма, который сидел на камне и следил за костром. Узкое лицо его с большим пухлогубым ртом казалось оранжевым от огня. Рэм глянул на всех поверх пламени.

— Что примолкли?

А примолкли просто так. Бывают такие минуты у костра.

— Жалко, Филипп где-то шастает, — вздохнула Лис. — А то порадовал бы опять нас историями: где бывал, что видел... Не поймешь, когда он правду говорит, когда сочиняет...

— По-моему, Филипп всегда говорит правду, — возразил Юр-Танка.

— Если бы... Витя, почему ты не слетаешь с ним хоть разок, не проверишь?

— Страшно, — сказал Витька и почувствовал, как вздрогнул Цезарь (они сидели теперь спина к спине). — Себе дороже...

Все помолчали, понимая, что Витька вроде бы шутит, но в шутке прячется правда...

Опять подъехал из темноты Филипп.

— Юрик, а чего она не хочет быстрее скакать? Я говорю «но! но!», а она еле-еле...

— Потому что она умная, — объяснила Лис.

— Потому что она девчонка, — мстительно сказал Филипп. — Все девчонки вредные... А вон еще одна! Ты чего к петуху лезешь! Кто разрешил?!

Это было так неожиданно, что многие повскакали. И увидели при отблесках огня, что под колоколом сидит девочка и кормит Петьку.

Негодный Петька охотно клевал что-то у девочки с ладони и благодарно ворковал.

— Ты откуда взялась тут!— опять заорал Филипп. Скорей от удивления, чем от злости. И оттого, что никто не разделяет его досады. Девочка поднялась. Ростом с Филиппа, с темными кудряшками, большеглазая, серьезная. В темном платье. Сказала тихо и безбоязненно:

— Я жду Юкки. Он должен скоро прийти.

— Сестренка,— узнал Цезарь.— Вить, мы же ее видали...

Юр-Танка быстро подошел к девочке, сказал что-то на своем старинном наречии. Та ответила так же. И сама о чем-то спросила. И засмеялась негромко.

Князь и девочка подошли к остальным. Юр-Танка попросил:

— Филипп, слезь пока. Она хочет покататься.

Филипп набычился и прыгнул в траву. Юр-Танка мигом оказался в седле, протянул руки. Рэм быстро шагнул, посадил девочку. Юр-Танка объяснил, словно извиняясь:

— Мы поедем, поговорим кое о чем...

И они скрылись за кругом света.

— Подумаешь, секреты у них,— проворчал Филипп. Он показал кулак Петьке и сердито сел на край плаща. Остальные тоже расселись. На прежние места. Лишь Витька лег на спину, и Чек рядом с ним.

Ночь не принесла пролады. Теплый воздух с запахом нагретых трав по-прежнему лежал в этой плоской котловине среди невидимых холмов. Где-то печально ухала бессонная болотная птица. Петька под колоколом дремотно бормотал. Небо нависало такой густотой звезд, что страшновато делалось. Это было то же небо, что в храме Итта-дага. Но там его ограничивал круг храмовой башни, а здесь оно обнимало ребят со всех сторон.

— Не одно небо, а будто несколько,— сказал Витька.— Будто наслаиваются друг на друга... Вон в Медведице, в ковше, сколько лишних звезд намешано... То есть не лишних, а... в общем, других.

— А Яшку видно?— спросил Цезарь.— Что-то я не найду.

— Вон, правее «медвежьего хвоста», беленькая... Ежики быстро подполз к ним на коленках.

— А какой Яшка? Какая?

— Звездочка такая новая. У нас в «Сфере» ее Скицын предсказал. А ему про нее прадед говорил, академик.



Он еще полвека назад вычислил, что она должна появиться...

— Пра-адед,— разочарованно сказал Ежики.— Тогда не то.

— Что «не то»?

— Да так... Все равно не совпадает по времени. Полвека...— Видимо, Ежики не хотелось объяснять.

Рэм сказал от костра:

— Совпадает, не совпадает... Что мы вообще знаем про время? Мы просто боимся про это говорить.

— Боимся?— удивилась Лис. Ребята затихли. Филипп незаметно придвинулся к Лис.

— Ну... или стесняемся как-то,— неловко разъяснил Рэм.— А разве не так?.. Потому что непонятно многое. А чтобы понятно стало, надо друг друга выпрашивать, будто в душу залезать.

Витька неуверенно сказал:

— А что... Мы и так ничего не скрываем друг от друга.

— Не скрываем, а... просто не хотим. Боимся необъяснимого.

— Например?— недовольно спросил новичок Ярик.

— Хорошо... Скандал с индексами в Реттерберге когда был? Витька и Цезарь считают, что в прошлом году... Ежики когда к нам в Луговой пришел? Тоже в прошлом году. А у него на Полуострове в ту пору считалось, что индексная система в Федерации развалилась давным-давно. И что Корнелий Глас — это старый деятель командорской общины... А Цезарь говорит, что Корнелий создал свою группу в начале этого года.

— Да, зимой,— тихонько отозвался Цезарь.

— С командорами вообще какая-то чепуха,— подал голос Витька.— Слухи одни... Кто их видел? Я — только на фресках, в развалинах...

— Мы сейчас не о командорах, а о времени,— строго сказала Лис.— Рэм прав. Столько всего... Вот, например, Юки. У него совсем другое время... Он знаете сколько ходит по всяким дорогам? Еще моя мама встречала его, когда была девочкой. Но ведь он не карлик, не маленький старичок, просто мальчик.

— Это фокусы темпоральной петли,— скованно сказал Витька.— Наверно, это можно объяснить, если...

— Никакая тут не петля!— дерзко вмешался Филипп.— Он просто не хочет расти, пока не найдет, кого ищет... Я тоже не хочу.

— А кого он ищет?— спросил новичок Ярик.— Сестренку?

Филипп сердито фыркнул:

— Сестренку! Он ее уже тыщу раз терял и находил. И она его тоже. Просто у них одна Дорога и на ней приключения всякие, попутные... А ищет он такого... такое... Я вам не скажу.

— Потому что сам не знаешь,— поддела Лис. Филипп не обиделся. Повозился и устроился кудлатой головой у нее на коленях.

Ярик осторожно спросил у Лис:

— А может, твоя мама встречала другого Юкки?

— Может быть,— неожиданно согласилась Лис. И, ероша волосы Филиппу, добавила задумчиво:— Это ведь не меняет сути.

Все промолчали, хотя неясно было: почему не меняет?

— Все-таки нам повезло,— сказал Рэм.— Будто кто-то нарочно постарался, чтобы мы встретились. Чтобы из разного времени собрались у этой Башни.

— Это я нашел Башню,— сонно напомнил Филипп.

— Ты, ты...— сказала Лис.— Давай спи, а то скоро утро.

— Я не хочу спать... Юрик показал Башню мне, а я привел всех...

Рэм заметил, оглядываясь за спину:

— Что-то долго они катаются. Похитил князь невесту, как в сказке...

— А они по правде пожениятся, когда вырастут,— уверенно заявил Филипп. Лис опять взлохматила ему голову.

— Ох и фантазер же...

— Вот увидите!

— А откуда мы увидим? Что он, на свадьбу нас позовет?

— Может, кого и позовет. Кто не вредный...

— А кто вообще бывал в княжестве?— спросил Цезарь.— Мы так мало про него знаем...

— Я был один раз,— сообщил Филипп.

— Да,— подтвердила Лис.— Он соорудил себе из полотенец хоро-чуп вместо штанов и отправился. И при-тащил оттуда старинный глиняный кувшин. Бабушке, чтобы не ругала за полотенца.

Филипп не стал с ней спорить. Сказал спокойно:

— Я был с князем в Юр-Танка-пале. Юрик притво-

рился, что обыкновенный мальчишка, и мы гуляли... Там крепость такая большущая. И море, и пристань. И корабли с разноцветными парусами. А на улицах вместо милиции дядьки в шлемах и панцирях. Но ребят ниоткуда не гоняют...

— Ты везде успел... — усмехнулся Рэм. — А кроме Филиппа, никто не был. Напрашиваться неудобно, а князь не зовет... Может, стесняется, что у них средневековые...

Витька почему-то обиделся за Юр-Танку:

— В средневековые люди не глупее были.

— Я не говорю, что глупее. Просто техники никакой...

— Однако церковь на границе построили всего за месяц. Без всякой техники, — заметил Ярик.

Быстро светало. У Башни всегда светает быстро. Через пятнадцать минут из-за холмов выползет малиновое солнце и тут же разгорится белым светом. Но все по-прежнему сидели у костра: не хватило короткой ночи. Рэм подбросил веток.

— Рэм, а почему ты решил, что Юр-Танка христианин? — спросила Лис.

— У него же образок. Там Божья Мать и Младенец...

— Он в прошлый раз говорил, что это его мама, — как-то ревниво заметил Ежики.

— Он говорил: «Похожа на маму», — сказал Рэм. Филипп завозился и проговорил с непонятным упрямством:

— Он же не может же знать, похожа или нет. Она умерла, когда ему года не было. Разве он помнит?

— Портреты могли остаться, — терпеливо объяснил Рэм.

Филипп, видимо, от досады, что не все ему известно про князя (хотя и друг считается!), возразил капризным голосом:

— Старинные портреты не бывают похожие. А фотографий у них там нету.

— Извини, Филипп, но ты несносен, — сказал Цезарь.

— А ты уж очень сносен!.. «Извини, пожалуйста».

— Нет, ребята, я все-таки ему всыплю, — печально пообещала Лис, и Филипп кубарем откатился от нее. Лис велела: — Иди сюда!

— Вон Юкки идет, — быстро сообщил Филипп. — И какой-то дядька.

...Юкки вел за руку высокого мужчину. Было уже совсем светло, золотилась кромка холмов, и все хорошо разглядели незнакомца. Это был высокий, очень старый человек. Седой, с длинным лицом и залысинами. В сером отутюженном костюме, который казался совершенно неподходящим тут, среди кустарников и камней.

Все встали. Юкки подвел незнакомца, посмотрел на него, на ребят. Сказал:

— Вот... Пришли...

В это время быстро подъехал Юр-Танка с девочкой. Девочка прыгнула в траву, подбежала к Юкки. Втиснулась между ним и незнакомцем, взяла их за руки. Молчаливая, не улыбаясь. Незнакомец свободной рукой провел по ее кудряшкам. Посмотрел на Юр-Танку. Тот, держась за стремя, наклонил голову.

— Здравствуй, князь,— сказал незнакомец негромко.— Здравствуйте, все... Я хочу с вами поговорить. Можно?.. Вы меня не знаете, но я вас знаю...

Все чувствовали неловкость, которая бывает, когда взрослый человек просится в детскую игру. Рэм ответил наконец:

— Пожалуйста.

Лис встряхнула и стала сворачивать плащ Юр-Танки. Потом, ни слова не говоря, отдала князю сверток. И остальные молчали. Тогда Юкки звонко проговорил:

— Ребята! Это же обязательно... Это про нас про всех!

Витька глянул на Цезаря, встретился с ним глазами. Оба поняли: «Что-то будет...» Витька сказал решительно:

— Давайте пойдем в Башню. Здесь такой сейчас делается солнцепек...

Командоры

Расселись в пристройке на каменной П-образной скамье. Здесь стояла сумрачная прохлада. Между этой гранитной комнатой и главным помещением Башни не было стены. Все видели, как туда-сюда медленно ходит медный шар, опоясанный неразгаданной надписью. Он был зеленоватый-черный, только вверху у стержня медь светилась, начищенная штанами Филиппа. Там горела желтая искра, солнце уже пробивалось в узкие окна. Луч упал и на лицо незнакомца, высветил резкие вертикальные морщины, впадины коричневых щек, бледную голу-

бизну глаз. Человек этот не зажмурился, не отвернулся, только провел по лицу ладонью, словно стирал прилипшую паутину.

— Кто он такой?— громким шепотом спросил Ярик. На него посмотрели, и он смутился. А незнакомец наконец улыбнулся:

— Я скажу, скажу...— Он придвинул к себе с одной стороны Юкки, с другой его сестренку. Опустил очень худые руки между колен, смотрел перед собой. Но говорить не спешил.

Маятник отмерял тишину: семь секунд — шелчок, семь секунд — шелчок. И долго это было, но все молчали и почти не двигались, потому что понимали — пришло что-то очень важное. И вот, дождавшись очередного шелчка, незнакомец заговорил. Подышал на кисти рук (словно хотел согреть под коричнево-пятнистой кожей тонкие кости и жилы) и сказал:

— Меня зовут Павел Находкин... Павел Евгеньевич Находкин... Я был командиром звездного крейсера «Бумеранг», который впервые преодолел барьер скорости света... Впрочем, это неважно. Пожалуй, важнее другое: я похож на вас. Я ужасно стар, но внутри себя очень похож на вас, потому что крепче всего на свете помню, как был таким же, какие вы сейчас. Помню сильнее, чем время звездолетов... Хотя и это не так уж важно. Самое главное вот что: я один из последних настоящих Командоров... Вы слышали о Командорах?

— Еще бы...— негромко, но дерзко отозвался Ежики. И они с Яриком сели ближе друг к другу.

— Я имею в виду не лжекомандоров, от которых ты пострадал на Полуострове, Матиуш... Кантор и его помощники думали использовать ребят с редкими способностями для своей политики. Это были обманщики и преступники.

— Извините, а «Белые гуси»...— подал голос Цезарь.

— Ты говоришь о группе Корнелия Гласа и Рибалтера, Чезаре? Это героическое дело. Они заняты охраной детства. Они стараются защитить любого попавшего в беду ребенка, это, конечно, невозможно, но все равно они... в общем, молодцы они, что тут спорить. Но я о другом. Я говорю о командорстве в чистом виде. С давних пор были на свете люди, которые посвящали себя одной цели: сохранять для будущего мальчиков и девочек, которым природа подарила особые свойства. Тех, кто

как бы разламывал рамки привычной жизни и науки. Это были дети, которые надолго опередили свой век, и защитить их было нелегко. И не всегда удавалось. Ведь в тех, кто читает мысли других людей, зажигает взглядом огонь, чуёт рядом с собой другие миры или умеет за миг перенести себя на сотню верст, многие видели колдунов и врагов человечества... Да и потом, когда стыдно стало верить в колдунов и отыскивать где попало врагов, люди смотрели на непонятное с подозрением... Даже сейчас... Витя Мохов, не потому ли обсерватория «Сфера» до сих пор на секретном режиме?

— Наверно, потому, — сказал Витька с непонятно отчего возникшим злорадством. И опять страхом кольнуло воспоминание о «пчеле».

— А в самой «Сфере»... — слегка монотонно продолжал Павел Евгеньевич Находкин. — Когда Михаил Мохов опередил программу и поставил задачу, непонятную для других, перед ним оказалась прочная стенка. Все были против...

— Кроме Скицына... — буркнул Витька.

— Да, пожалуй... И Михаил Алексеевич ушел. Но, Витя, все-таки... все-таки уговори его вернуться. Едва ли он один добьется многого...

— Я говорил, он не хочет, — прошептал Витька. И опустил голову, потому что все посмотрели на него.

— Времена меняются, мальчик. Поговори еще, он, может быть, поверит тебе.

— Ага... — тихо выдохнул Витька. Он не обижался на этого человека и не стеснялся ребят, просто скребло в горле.

Находкин сказал, словно спохватившись:

— Я отвлекся... Я говорил, что люди часто не понимают. Мне самому, когда был мальчишкой, приходилось скрывать, что отчаянной силой желания могу перебросить себя в пространстве хоть на какие расстояния... Впрочем, и потом, когда я перебросил «Бумеранг» по линии полета, обгоняя свет, сказали, что нельзя. Что, мол, не пришел еще для таких дел черед и я опережаю время.

— А почему его нельзя опережать? — слегка скандально сказал Филипп. — Что такого...

— А я не знаю почему, — вдруг улыбнулся Находкин. Весь пошевелился, тряхнул плечами и стал немного моложе. — Но вообще-то со временем шутить опасно... Много-много лет назад в славном городе Реттерберге,

который тогда назывался Реттерхальм, один мальчишка перевернул без спроса особые песочные часы — хронометр Комингса. И нарушил нормальный бег времени. Из-за этого опоздал на обеденный перерыв городской трамвай, произошло его крушение, одного из местных ребят (его звали Галиен Тукк, Гальяка) сочли виновником этой беды, выслали из города, он попал на броненосец... Капитан броненосца, судя по всему, был одним из Командоров, цепь событий удалось кое в чем изменить, но остановить их было уже нельзя. И в результате Реттерхальм оказался в другом пространстве, превратившись в нынешний Реттерберг...

— Гальяка — это тот бронзовый мальчик над обрывом? — спросил Цезарь без обычного «извините».

— Да, в Верхнем парке Реттерберга, недалеко от эстрады с вертящейся площадкой, похожей на соличные часы... Впрочем, это и так часы. Только тень на них — вовсе не тень, а черта темпорального фиксатора на Генеральном меридиане... Два мальчика, развлекаясь, вертятся на этом круге, причем то в одну, то в другую сторону. Стоит ли удивляться после этого, что в совмещенных пространствах время пошло туда-сюда... Как говорили во времена моего детства — «враздрыг»...

Витька посмотрел на Цезаря, Цезарь на Витьку.

— Мы же не знали, — сказал Витька, тыкаясь лбом в колени.

— А я что! — почти весело отозвался Находкин. — О том я и говорю. И мальчик в Реттерхальме не знал, когда переворачивал хронометр. И наверно, многие мальчишки в разных краях и пространствах, ничего не зная, вертят шестерни в непонятных механизмах, забравшись в таинственный подвал, или хватаются за маятник загадочных часов... Или зеркальцем ловят луч звезды и бросают его на пересечение с Меридианом... Кстати, о звездах. Так ли уж странно, что в прошлом году мальчик Ежики швырнул в небо живой камушек-кристалл по имени Яшка и через сто лет Яшка этот столкнулся с летящей песчинкой и вспыхнул звездой, а прадед Михаила Скицына, которому сейчас девяносто пять, знал об этой звезде еще в детстве... Где-то очередной раз опоясала грани Кристалла временная петля... Помнится, я мальчишкой швырнул с речного обрыва монетку, а она была не монетка, а колоссальный энергонакопитель. И время сошло в кольцо. Правда, всего на сутки, но эти сутки

решили очень многое. В частности то, что я сейчас здесь, с вами... А в тот вечер, в лесу, по дороге в Черемховск, я первый раз встретил Юкки. И вот ее... — Находкин ласково качнул за плечо Юкину сестренку. Девочка осталась серьезной, а Юкки улыбнулся чуть-чуть. Ребята переглядывались: правда, значит, что говорила Лис...

Находкин костлявой своей, похожей на птичью лапу рукой провел по волосам Юкки. Сказал ребятам:

— Малыш не раз водил меня по разным граням. Сам-то я не научился до сих пор. В одном пространстве — хоть куда, а с грани на грань — только с проводником. Вот Юкки и был моим поводырем, хотя у него своя Дорога... Впрочем, сейчас Дороги, кажется, кончаются. И для меня, и для него...

Витька посмотрел испуганно. Юкки и девочка были, однако, спокойны.

— Я потому и собрал вас, — строже сказал Находкин. — Собственно говоря, попрощаться... Странно, да? Вы же меня не знаете... Но дело в том, что я-то знаю вас всех, я уже говорил. Вот так-то, друзья Пограничники... Я и другие Командоры (хотя я, по сути дела, уже последний из старой гвардии) старались держать вас... как бы сказать...

— Под колпаком? — ехидно спросил Филипп. Лис дотянулась до него.

— Павел Евгеньевич, не обижайтесь на дурака.

— Я ничуть... И Филипп не дурак... Нет, не «под колпаком», Филипп. К сожалению, это было невозможно. Просто в круге своего наблюдения. Мы помогали вам, чем могли, хотя это и не было заметно. Однако пора сказать честно: время нашего командорства кончилось. Как бы это объяснить понятнее?.. Мы — будто старые, достаточно мудрые и довольно сильные слоны. Но слоны не могут охранять жаворонков и стрижей. Вы — летаете где хотите. Из мира в мир, легко и свободно...

— Ох уж... — сказал Цезарь. — Простите, что перебил.

— Я понимаю тебя, Чезаре. И все-таки... Теперь за вами не уследишь. Вы на пороге новых времен, новой жизни, совершенно непохожей на нынешнюю. Пока взрослые исследуют межпространственные поля, спорят о Мёбиус-векторе и со страшными усилиями строят между гранями туннели, вы шутя обгоняете их, нащупав нервами или душой какой-то главный закон Кристалла. Как птицы без всякой техники и приборов нащупывают при даль-

них перелетах магнитное поле Земли... Скоро вас будет очень много. Вы учите переходу друг друга. Я говорю эти слова в изначальном смысле: друг учит друга (а в том, что вы стали друзьями, есть и моя заслуга). Вот и Ежики привел с собой Ярика. Сперва через локальные барьеры, потом научит и прямому переходу... Не бойся, Ежики, ты при этом переходе больше не увидишь встречного поезда, его убрали с пути... А Витя Мохов научил уже Цезаря...

— К сожалению, не научил!

— Да?.. Ты просто плохо знаешь себя, Чезаре... Впрочем, я не утверждаю, что наука будет даваться легко. Но все-таки найдутся способные ученики. И если каждый научит двух друзей, а каждый из тех — тоже двоих и так далее... Это пойдет с той же скоростью, с какой шло исчезновение индексов в Реттерберге...

— Я научу Лис и Рэма, — сказал Филипп. — И Юрика, если он еще не умеет. Только пускай Лис не придирается...

«Не все захотят, — подумал Витька. — И не все сумеют...»

— Не все захотят и не все сумеют, — словно откликнулся Находкин. — Но все равно это будет лавина...

— Но тогда, может быть, лучше не учить? — рассудительно отозвался Рэм.

— Это нельзя остановить. Время пришло... И посуди сам: разве ты откажешься от владения прямым переходом, если надо кому-то помочь? Ну, например, вытащить Филиппа из пространства номер сто сорок три, если он там заблудился или застрял?

— Бедное пространство, — сказала Лис. — Пусты козла в огород...

— Замечание, право же, очень здравое. К тому я и клоню... Юные первопроходцы кинутся по разным мирам с жадной открытий и приключений. И... вспомните перевернутые часы или брошенную монетку. Раньше думали, что для больших событий нужны большие усилия. А оказывается, достаточно бывает одного щелчка, чтобы по граням мироздания пошли трещины... Но я боюсь не за мироздание, ему к трещинам не привыкать. Я боюсь за вас. И за тех, кто пойдет за вами... Как вас уберечь?

— От чего? — непривычно смирно спросил Филипп.

— Разве я знаю от чего? Разве можно предвидеть степень риска?.. И не будет никого рядом, кто сказал бы: «Стоп! Оглянись и подумай...»

— Но... Павел Евгеньевич, мы и сами... не такие уж глупые,— осторожно проговорила Лис.— Правда, есть некоторые...

— Вот и остается надежда на вас, ребята,— устало сказал Находкин.— Да... И еще на то, что вы подрастаете, прежде чем настанет время Большого Прорыва. Дай Бог, чтобы успели... И тогда, хотите вы или нет, вам придется быть новыми Командорами...

Он замолчал надолго. Сидел, зябко потирая кисти рук.

«Щелк... щелк...» — ходил туда-сюда медный шар. Солнце быстро шло в небе над Башней, и косой луч из узкого окна заметно для глаз двигался в пустом помещении. Скользил по ребятам, высвечивая их по очереди, словно помогал Командору Находкину рассмотреть и запомнить каждого.

Рэм — узколицый, светловолосый, высокий и ломкий. Уже не мальчик, а скорее юноша. Он молчаливее и рассудительнее других. Может, просто потому, что старше? Достаточно ли прочности у него в душе?.. Лис. Она и в самые дальние пространства возьмет с собой иголку и нитку, чтобы зашивать штаны непутевому Филиппу... Такому ли уж непутевому? Вот он, забыв обиды, привалился к локтю Лис давно не чесанной головой, присмирел. Губами шевелит, будто повторяет про себя что-то важное, заклинание какое-то... Князь, верховный владыка Юр-Танка-пала и окрестных земель. Будто четвероклассник, придумавший себе немудреный средневековый наряд к летнему карнавалу. В прошлый раз, когда гоняли среди камней мяч, трахнулся ногой о валун и всхлипывал, как обычный мальчишка (а Филипп его тихонько утешал). А потом на полях княжества — броненосные конные сотни, старый Хал, Дикая долина, спор с воеводами. «Тогда — исполняйте!» И церковь Матери Всех Живущих...

Ежики и Ярик. Недавно судьба их крепко потрянула и раскидала по дальним краям. И теперь не нарадуются, что снова вместе. Все время рядом. И даже одеты одинаково — в серых курточках-капитанках с нашивками морского клуба. И салатные пятна старой бактерицидки одинаково наляпаны на пыльных, кофейного цвета ногах. Только волосы разные: у Ежики мягкие и летучие, у Ярика — щетинка. Им бы поменяться именами или прическами... И еще разница: Ежики знает переход и, кроме

того, может напряжением нервов поставить защитное силовое поле. А Ярик в таких делах пока новичок. Сидит, с интересом трогает на капитанке медного петушка, подаренного Юр-Танкой...

Потом луч подошел к Цезарю, и Витька встряхнулся. И понял, что не старый Командор, а он, Витька Мохов, смотрит по очереди на ребят и размышляет о них...

Павел Евгеньевич словно дожидался, когда луч упадет на Цезаря.

— Друзья мои, наверно, я говорил непонятно. Но многое непонятно и мне самому. Кроме одного — я свое дело сделал. А вам — продолжать... Вам, кстати, нужен будет командир... Не в общем смысле командир, вы все равные и друзья. Но нужен будет главный Камандор, когда придут... новые времена... Кто?

Рэм опустил глаза и незаметно, будто про себя, помотал головой...

Юр-Танка почему-то виновато улыбиулся. Филипп стрельнул глазами и что-то быстро зашептал на ухо Лис.

— Раз мы все здесь одинаковы, зачем главнйй? — насуплению сказал Ежики.

— Пока — ни за чем. Потом увидите... У меня есть давний знак командорства, очень простой. И очень старый. Видимо, еще от Командора Элиота Красса с броненосца... Я хочу отдать кому-то из вас.

Все молчали.

— Я думаю, пусть возьмет Цезарь, — тихо сказал Павел Евгеньевич.

— Почему?! — Цезарь вскинулся, как от укола. — С какой стати?.. Простите...

— Ты никогда никого не бросишь в беде.

— Во-первых, это неправда! — звонко сказал Цезарь. — То есть я не знаю. А во-вторых, почему вы думаете, что другие могут бросить?

— А я и не думаю. Наоборот... Но есть опыт, который позволяет мне решить... Это ведь не в обиду другим. Да никто и не возражает, по-моему. А?

Никто не возражал. С облегчением, с веселостью даже все повскакивали, встряхнулись, шумно заговорили, что так и надо.

— Бери, Чек, — сказал Витька, тоже чувствуя облегчение и радость. — Это справедливо.

— Это справедливо? — он чуть не плакал. — Вы просто не знаете...

— Цезарь, но если мы все так хотим,— негромко перебила его Лис. Тогда он притих, тоже встал.

— Я совершенно не представляю, чем это продиктовано.

— Временем,— вздохнул Командор.— И наверно, судьбой... Если время можно порой крутить туда-сюда, то судьбу не обкрутишь... Подойди ко мне, Чек.

Из нагрудного кармана пиджака Находкин достал что-то маленькое, висящее на черном шнурке. Блеснула медная искра. Все сдвинулись, подтолкнули вперед Цезаря. На шнурке качалась форменная пуговица. На ней был отчеканен ободок из витого тросика, якорь, за ним две скрещенные шпаги, а сверху — половинка встающего лучистого солнца.

— Разглядели?— сказал Находкин.— Вот и хорошо...— Он встал и аккуратно надел шнурок Цезарю на шею.— Носи и береги... Командор Лот.

— Но я... совершенно не представляю, что мне делать в этой роли.

Все засмеялись. Не обидно, а словно обрадовались чему-то. И Находкин улыбаясь объяснил:

— Никто, пожалуй, не представляет. Пока... Живи, расти, там поймешь... А я, ребята, пойду.

Смех утих.

— Пойду я,— опять сказал Находкин.— Князь Юр-Танка, возьми меня с собой... Правду ли говорят, что есть у вас церковь, где можно увидеть... свою маму?

— Да...— сказал Юр-Танка в навалившейся тишине.

— Возьми меня с собой, мальчик... Я ее видел в последний раз, когда мне было шесть лет...

Ни слова не сказав, ни на кого не посмотрев, Юр-Танка взял Находкина за худую руку. Юкки и девочка разом вскинули на Командора глаза.

— Их тоже возьмем, князь. Ладно? Ты же всегда хотел, чтобы у тебя был брат или сестра. Вот и будут, сразу двое... Юкки станет наконец трубачом, пора заканчивать и эту легенду как полагается...

— Хорошо,— еле слышно отозвался Юр-Танка.— Идем.

Все, даже неугомонный Филипп, сообразили, что не надо прощаться, не надо ничего говорить. Находкин вышел первым. В дверном проеме он (темный на фоне солнечного дня) поднял над плечом руку, махнул слегка, сильно согнулся и шагнул в сторону. За ним ушел Юр-



Il
dopo il
dopo il
dopo il

11

Il
dopo il
dopo il
dopo il

Танка — так же махнул ладонью. И за ними Юкки и девочка повторили этот жест.

И — пусто у входа.

А медный шар маятника ходил от стены к стене — вечный, непонятный. «Шелк... шелк... шелк...»

Маятник

1

Когда все вышли из Башни, поблизости никого уже не было. И вдали не было. Только шелестели стрекозы да над озером носились небольшие темные птицы, которых называют «озерные голуби». Было жарко, солнце сияло так, что в граните Башни искрились черные зеркала слюды.

У всех осталась печаль от странного расставания. Цезарь крутил на шнурке пуговицу. Что-то шептал и покачивал ершистым своим шаром. На солнце, однако, печали и тревоги тают быстрее, чем в тени. Особенно если нет для них понятных причин. И Филипп сказал то, что чувствовал каждый:

— Кушать-то все равно хочется...

Оказалось, что лишь Витька и Цезарь появились здесь без провизии. Ежики и Ярик сказали, что у них два каравая и большая банка мясных консервов. Лис и Рэм прихватили из дома огурцы и картошку. И котелок. Даже у Филиппа отыскались в кармане замусоленные леденцы и ни разу не надкушенное яблоко...

— Проведем здесь еще ночь — и тогда уж по домам, — предложил Рэм. — Не так уж часто собираемся... Идет?

Все зашумели, что «идет», пряча за гвалтом остатки печали...

Витька сделал свою долю работы: натаскал сушняка из ближних зарослей. Затем отошел, сел на солнышке у фундамента Башни. Спина и затылком привалился к бугристой граниту.

Рэм и Филипп чистили у погасшего костра картошку, Лис лопухом протирали котелок. Цезарь, видать, забыл на время свои сомнения и гонял с Ежиком и Яриком по траве пустую банку из-под говядины. Витька следил за ними ласково и успокоенно: «Совсем оклемался Це-

заренок. Хорошо...» Но Цезарь перехватил его взгляд и тут же подошел.

— Ты чего... такой?

— Я не «такой», — бодро сказал Витька. — Тоже банку погонял бы, да пятка болит.

— Почему? — тут же заволновался Цезарь.

— Отбил недавно. Разве я не говорил?

«Я ничего ему не говорил. Ни про «пчелу», ни... про дыру в стекле... Опять это лезет в голову...»

— Разве не можешь вылечить? — подозрительно спросил Цезарь.

— Лень. Сама пройдет.

Цезарь сел рядом на корточки.

— Раз ты такой задумчивый... можно я спрошу? По-моему, это очень важный вопрос. Я ночью думал, думал...

— О чем ты?

— Я думал: вот здесь, у Башни, и в Реттерберге, и где ты живешь, и где Ежики, и в Луговом — одно Солнце? Или разное? Ведь пространства-то разные...

— Я... даже не знаю, — растерялся Витька. — Не приходило как-то в голову... Наверно, это разные варианты одного Солнца. Мы ведь на одной горизонтали... Это только Филипп с Кригером шастают вверх-вниз.

— Я не совсем понимаю про горизонталь.

— Это «ерстка», — усмехнулся Витька. — Толком, по-моему, никто не понимает.

— С одной стороны, хорошо, если Солнце одно. Уютнее как-то... А с другой, лучше, если разные.

— Почему?

— Если одно когда-нибудь погаснет, люди смогут уйти к другому.

— Зачем ему гаснуть, — недовольно сказал Витька. — Выдумашь тоже.

— Когда-нибудь придется думать и об этом, — негромко и упрямо возразил Цезарь. — По-моему, это не так уж страшно. Не бояться же люди думать о смерти.

Витька угрюмо сказал:

— Я боюсь... То есть не люблю...

— Так это сейчас. А потом... Командор Находкин вот не боится.

— Откуда ты взял?

— Разве ты не понял? Зачем он ушел с князем...

— Он пошел, чтобы побывать в той церкви, в Дикой долине...— Ох, не нравился Витьке этот разговор.

— Ну да, сначала побывать. А потом...

— Потом — суп с котом, — совсем уже по-дурацки брякнул Витька. Цезарь придвинулся, заглянул ему в лицо:

— Не понимаю, почему ты сердисься.

— Да не на тебя я! На себя...— Надо было усадить Чека рядом и рассказать про все, что грызет душу. Но тут закрнчали Ежики и Ярик:

— Цезарь! Твоя очередь по воротам бить!

— Иди вляпай им пару банок, — сказал Витька.

— Что-то мне уже не хочется...

— Ну, зовут же люди.

Цезарь медленно поднялся. Встряхнулся, отбежал к игравшим.

Витька подумал о Находкине.

«Почему Командор считает, что мы полезем куда не надо? Почему он боится, что будет большой риск? Разве мы кидаемся куда-то очертя голову? Мы не так уж и рвемся в непонятные пространства, мы просто не знаем туда дорог. Наша дорога — всегда друг к другу. В этом закон прямого перехода... Вот только Филипп этот закон нарушает. Да и то... Он же чаще всего гоняется за петухом! Тоже за другом... А куда устремляется Кригер? Кто поймет петуха... Может, он тоже не просто так летает, а кого-то ищет?.. Или хочет отыскать дорогу обратно в «Сферу», да не может найти — что-то сдвинулось после того эксперимента...»

Витька посмотрел на петуха. Тот бродил неподалеку, рылся в траве, поглядывал из-под гребня на Витьку. Словно понимал его мысли.

— Ко-о...— тихонько сказал ему Витька. Кригер замер, поднял голову, прислушался. Но не к Витьке, а к чему-то далекому...

«Почему Командор думает, что ребята станут все переворачивать вверх дном? Конечно, иногда бывало, что перевортывали часы или зря теребили Мериднан, но это же случайно, это где угодно и с кем угодно может быть. А нарочно мы никогда... Мы просто собираемся вместе, потому что друг с другом нам хорошо. У нас будто общий дом... с желтым окошком... Мы никогда не станем ломать свой дом. А вот если полезут взрослые, начнется кавардак: примутся все подряд изучать, торговать нач-

нут, делить что-нибудь... а может, и воевать. Вот тогда в самом деле трещины пойдут по всему Кристаллу. Что тут поделаешь? Между странами взрослые пограничники охраняют границы, их целая армия, а что можно сделать здесь? Что можем мы? Если даже нас будет много... Кто знает? Даже Цезарю это невдомек, хотя он и Командор... Юр-Танка, пожалуй, знает, он молодец. Может, так и надо — построить храмы на всех рубежах? Кто вспомнит о матери, наверное, уже не захочет воевать...»

«Это те, кому повезло с матерями...»

«А ну, перестань!» — одернул он себя.

«А я что? Просто подумалось... Конечно, она любит меня. И я ее... А если один раз пожаловался отцу, так это просто вырвалось. Кому пожаловаться, если не отцу... А можно ведь построить на границе и храм Отца... А согласятся ли люди? Многие считают, что отцы хуже относятся к детям, чем матери. Бросают детей... А матери разве не бросают? Отцы, говорят, чаще... Кто считал? А надо ли считать, если у тебя у самого... А он не виноват! Его просто выжили из «Сферы»! Не из-за меня же ушел! И все равно он обо мне заботится!.. Не ври, он и о себе-то позаботиться толком не может...»

Витька отчетливо увидел отца — как недавно, при последней встрече. Будто отец сидит на фоне темной шторы, покачивает головой, а из отверстия в шторе то и дело выскакивает колющий лучик... «А собственно, откуда отверстие в новой шторе?.. На том же уровне, что в стекле!»

Витька бухнулся в траву животом, охватил затылок. «Только спокойно, без нервов! Не дергайся... Если вспомнить как следует, то... дырка в стекле чуть выше... Отец сказал: «Снизу палили...» Нет, не снизу! Скорее всего, с дома напротив, с чердака! И не на прошлой неделе, а совсем недавно, когда штора уже была! Отец кричал: «Я ее только сегодня повесил, временно, не закрепил еще...»

Это случилось вчера. Но тогда... Тогда, значит, и защитное поле было снято вчера! Отец снимает его, чтобы экономить энергию во время эксперимента... Выходит, импульс он посылал лишь незадолго до прихода Витьки... А сказал «на той неделе», чтобы зря его не тревожить...

Как все цепляется одно за другое! Или не цепляется? Нет, цепляется! Снятое поле, импульс, выстрел с чердака...

Выходит, они знали, следили, гады!.. Слава Хранителям, не попали сквозь штору... Пуля шарахнула, оборвала опыт. Импульс не дошел, иначе отец оказался бы в «Сфере». Небось, прямо в центральной лаборатории, как с потолка! Вот был бы переполох-то! «Витька, беги, твой папа откуда-то свалился!..» А Витьки нет, Витька в это время уже слинял из дома, скользит на кожаном задку по пятьдесят девятому желобу РМП...

По пятьдесят девятому? Откуда там «пчела»? Несется навстречу со скоростью пули... Пуля — в энергосборник, эксперимент — стоп!.. А недотянутый опыт с импульсом дает зеркальный эффект. Это что? Нос Миши Скицына — слева направо... И только? Нет, это вообще, левое — на правое, стрелки часов — в обратную сторону, все задом наперед. Может, и мысли наоборот... Это у меня мысли наоборот... Нет, подожди... Значит, и нечетное меняется на четное! Пятьдесят девять на шестьдесят! Или на пятьдесят восемь, все равно... «Пчела» на четном радиусе...

«Спасибо, папочка, за подарок. Еще бы чуть-чуть, и...»

«Перестань, дурак! — мысленно гаркнул Витька. Словно дал себе оплеуху.— Он же не знал! Он ничего не знал... Он бы сам этого не пережил...»

«А и без того мог не пережить. Пуля-то прошла совсем рядом, он сидел у пульта спиной к окну...»

«Кто стрелял? Охрана правопорядка? Узнали, что был связан с подпольем? Нет, они постарались бы арестовать. Может, те, с кем он отказался работать? Из Института службы безопасности?.. Но ведь могут и опять!

Он сядет за пульт, снова отключит поле, их индикаторы-шпионы тут же отметят это... А он, чего доброго, и штору-то забудет повесить...»

«Почему я не подумал про это вчера?.. Потому что поверил: пуля — дело давнее, случайное...»

«А сейчас? Что делать сейчас?»

Витька уже стоял. Весь, как в холодной воде,— в тоскливом предчувствии беды. Подбежал Кригер, встал напротив. И вдруг взъерошился, взлетел до Витькиного лица и заорал коротко и хрипло.

Впервые Витька видел, чтобы петух кричал в прыжке, в полете.

Сбегались Пограничники.

— Ребята.... Цезарь,— сказал Витька.— Мне надо в

Реттерберг, честное слово. Мне кажется, что-то случилось с отцом. Я не знаю, но мне кажется... Если все хорошо, я тут же вернусь. Если нет... Рэм, тогда проводите Цезаря сами, обычным путем... Чек, не обижайся...

Он вскочил на выступ фундамента, шагнул... Мелькнул перед ребятами черный силуэт, хлестнуло ветром.

Филипп резко нагнулся, ухватил за лапы Петьку, тот замахал крыльями.

— Витька! — заорал в пространство Филипп. — Я с тобой, подожди! Я буду связным!

— Не смей! — кинулась к нему Лис. Не успела. Все пригнулись от нового удара ветра.словно это взлетевший Кригер смешал и поднял вихрем воздух разных пространств.

2

Только две-три секунды Витька приходил в себя. Он даже не упал — стоял, привалившись спиной к стволу старого тополя. У дома напротив — отцовского дома — приткнулся красный низкий автомобиль Рибалтера. Из дверей выносили отца — Рибалтер, Корнелий и незнакомый мужчина в вишневой сутане священника. Витька толкнулся лопатками от ствола и побежал.

Ноги и руки отца висели, как перебитые, но лицо было живое. Он сказал Витьке с нелепо-бодрой улыбкой:

— Да чепуха, бред. Это не пуля, а паралитическая ампула. Живым нужен им Мохов. Тепленького хотели взять, сволочи.

— Кто? — всхлипнул Витька.

— Наверно, те, из Лебена. Решили, что я хороший специалист по стабилизации индексов, кретины...— Речь отца была отрывистой и нервной.— Прوماхнулись, господа. Пардон, не в то место попали. Конечности — брык, а голова варит...

— Все в машину,— быстро сказал Корнелий. Из воздуха шумно спланировал на Кригере Филипп.— Это кто еще?

Витька не удивился и не разозлился — не до того.

— Со мной,— сказал он.

— В машину!

Отец лежал теперь на заднем сиденье. Мужчина в сутане задрал вишневый подол, вынул из кармана брюк вороненый «дум-дум», сел у отца в ногах.

— Да не будут они гнаться среди белого дня,— небрежительно сказал отец.— Понимают, что себе дороже... Хорошо, ребята, что я успел нажать сигнал и вы примчались. Спасибо...

— Помолчи, Алексеич,— попросил Корнелий.— Мальчики, в машину... А этого зверя зачем?

— Надо! — крикнул Филипп.

— Скорей!

Витька и Филипп скорчились между сиденьями, Филипп обнял и прижал притихшего Петьку. Только сейчас Витька спросил:

— Чего тебя принесло?

— На всякий случай.

«Ладно. Может, и правильно...»

Худой, лысый, с повисшими усами Рибалтер втиснулся за руль. Рядом — Корнелий.

— В «Колесо»? — спросил Рибалтер.

— Куда же еще... — бросил Корнелий.

— Совсем вы рассекретите таверну, ребята,— сказал священник.

Машина рванулась. Витька ударился затылком о неживые ноги отца.

— Рассекретим — не рассекретим, а что сейчас делать-то?! — крикнул Корнелий.

— А если сразу на состав? Сын-то здесь... — Священник нагнулся над Витькой.— Ты Виктор Мохов, мальчик?

— Да!

— Отца надо увозить! Туда, к вам! Здесь больше нельзя!

— Я знаю! Но ведь надо сперва к врачу!

— Можно подождать. Это же парализатор! Через несколько дней и так пройдет!

— А если сердце! У него сердце плохое!

— У меня в кармане стимулятор! — громко, даже весело сказал отец.

Машину било на старой дороге. Витька, вздрагивая от толчков, спросил:

— Который час?

— Полдень!

— В двенадцать пятнадцать по Окружной пойдет состав! Можно успеть!

И подумал с горьким удовольствием: «Вот так, папочка. Не хотел, а теперь...» Но тут же резануло его раскаянием и страхом:

— Папа, ты как? Ты живой?

— Да живой я, живой, малыш.

Витька лбом вдавился в колени. И стучало его, и тряслось на ухабах. А в Кригере что-то булькало и ухало, как в резиновой канистре...

Вырвались на кольцевое шоссе. Здесь ровно! И скорость! Потом — налево, в путаницу Южной Пищевой слободы, в заросшие полынью переулки. И наконец — дорога вдоль полотна. Справа — болотистые луга, слева — насыпь...

— Все, все! Вот здесь!

Минут пять у Башни все молчали. словно прислушивались к тому неизвестному, что происходило в Реттерберге.

Неизвестность — она давит, как беда. И сильнее всех она давила Цезаря: ведь не Филипп, а он должен был кинуться вслед за Витькой. И потому, что Витькин первый друг, и потому, что Командор.

«Но разве я просился в Командоры?»

«Просился или нет, сейчас это не имеет значения».

Все понимали его, и все, видимо, жалели. Что поделаешь, раз не дано человеку. Цезарь отошел, сел в тени на выступ фундамента. Лишь бы никто не подходил, не вздумал утешать. И сидел так — виноватый без вины, без обиды обиженный. Потом услышал:

— Если все в порядке, они вот-вот вернутся. — Это Рэм.

— А если что не так, вернется хотя бы Филипп, — не очень уверенно сказал Ежики.

— Ага, жди, — горько возразила Лис. — Он там обязательно влипнет в историю...

Цезарь увидел сквозь неплотно сдвинутые пальцы, как Ежики встал.

— Тогда пойду я... Попробую уловить их ориентир...

— Сиди! — вскинулась Лис. — Не хватало еще, чтобы и ты исчез... Тогда последняя ниточка порвется.

— Надо ждать, — решил Рэм. — Может быть, ничего и не случилось.

«Может быть, не случилось, — будто ударило Цезаря. — А может быть... что?!»

И собственный стыд и обида сразу затерялись позади страха за Витьку. За Филиппа...

И страх стал ощутимым, как болезненный нарастающий звук.

Словно беда приближалась с воем вошедшего в пике самолета.

Она стремительно поглощала последние мгновения, в которые можно еще что-то сделать! Кинуться! Спасти!

...Цезарь и потом не мог понять, что его толкнуло. Он бросился в Башню! Шар только что подошел к гранитному краю. Шелкнуло. Шар медленно стал отходить. Цезарь схватил медную ленту, а ногами зацепился за каменный поребрик. Остановить! Задержать. Сбить хоть на миг эту неумолимую равномерность!

Многопудовый маятник смахнул мальчишку с места, словно кузнечика. Цезаря потащило по гравию...

Подходящая платформа нашлась в середине состава, между глухими товарными вагонами. Почти пустая. Только у бортов лежали несколько тугих и пыльных мешков. Кажется, с цементом. Дощатый пол местами был покрыт спекшейся цементной коркой.

Рибалтер постелил свой пиджак. Отца положили на него спиной, а головой и плечами — на мешок. Витька сел рядом на корточках. Филипп устроился поодаль на мешке, с Петькой на руках.

— Возвращаясь к Башне,— сказал Витька.— Чего тебе еще здесь... Ребята волнуются.

Филипп рассудительно возразил:

— Вот убеждусь... то есть убедюсь, что все в порядке до конца, тогда вернусь.

Рибалтер, Корнелий и человек в сутане прыгнули через борт вниз, потому что состав дернулся. Стояли под насыпью и смотрели, как едет платформа. Лысый, унылый Рибалтер нерешительно помахал рукой.

Витька поглядел на отца. Его омертвевшие руки и ноги вздрагивали в такт колесам. Но лицо было живое, он даже улыбался опять.

— Ничего, малыш. Выскребемся...

До сегодняшнего дня он никогда не говорил «малыш». Витька прикусил губу и стал смотреть через борт.

Окраина Реттерберга быстро убежала назад, потянулись привычные заболоченные луга. Так и будет до того места, где поезд чиркнет по краю соседнего пространства, скрежетнет ржавым тормозом, остановится на пару минут. И тогда...

«Ох, а как я стащу его вниз?» — подумал Витька об отце. Там, в Реттерберге, это никому почему-то не

пришло в голову. Все, наверно, считали, что. Витька уезжает в такой благословенный край, где не может быть никаких трудностей и проблем. Даже минутных.

«Ладно хоть, что Филипп не смотался», — подумал Витька и взглянул на него. Тот глади присмирившему Петьке гребень, тихонько теребил бородку... И вдруг Петька рванулся, прыгнул на трясущийся пол! Подскочил и заорал! Так же коротко и яростно, как недавно у Башни. Филипп кинулся к нему, Витька вскочил на ноги.

И сразу увидел улана.

Они мчались параллельно поезду на своих черных дисках — одноколесных мотоциклах без рулей. Пять человек. Справа и слева догоняли платформу. Размытые в воздухе от скорости диски едва касались травы. Два улана были метрах в пятидесяти, два других ближе. А один летел по насыпи рядом с платформой, Витька видел его голову в круглом шлеме и черные кожаные плечи. Вот он выгнулся, положил свои лапы на дощатый борт за спиной у Филиппа. Хочет прыгнуть на платформу?

— Филя! — заорал Витька. Филипп рывком оглянулся и (маленький, а молодчина!) босой пяткой вдарил по пальцам улана. Тот оскалился, отпустился на миг и вцепился в борт снова. И тут с грозным кликом ему в лицо ударился Кригер! Этаким ком взъерошенных от ярости перьев и когтей! Ударился, отскочил, упал на пол. Улан исчез. Прыгнув к борту, Витька увидел, что улан, как большая черная кукла, катится отдельно от диска по насыпи.

В это время ударили выстрелы. С двух сторон. Пули расщепили борта и ушли в стенку переднего вагона... Витька не испугался сперва, удивился только: «Они что, с ума сошли? Здесь же люди!» Пуля вспорола мешок, пыль попала в горло.

— Ложитесь, идиоты! — заорал отец. — Быстро!

Витька толкнул Филиппа, тот послушно упал, ухватив и прижав Петьку. Сам Витька брякнулся на коленки, глянул через правый борт. Два улана мчались метрах в двадцати и картинно целились из длинных пистолетов — держали их двумя руками.

Тут Витька наконец со всей ясностью понял, что их хотят убить. Отца, Филиппа, его самого — Витьку Мохова. Эта догадка потрянула его и страхом, и отвращением. Отвращения было больше. Такого сильного, что электрическим зудом обожгло кожу.

— Ладно, — всхлипнув, сказал Витька. И даже не дер-

нулся, когда свистнуло над головой. Только с радостью подумал, что отца и Филиппа защищают мешки.

— Ложись! — опять заорал отец.

— Сейчас...

Рядом, у колена, дребезжал обломок толстой крепежной проволоки. Витька с неожиданной для себя отчаянной силой согнул железный прут в виде буквы Р с длинным узким кольцом. Получилось вроде пистолета: рукоять и ствол-стержень. Тут же Витька всеми клеточками тела вобрал в себя из воздуха электричество и сжал энергию в тугой огненный шар. Посадил его на кулак, сжимающий рукоятку «пистолета».

...Ни разу в жизни он раньше не делал такого. Там, в парке, когда их с Цезарем чуть не сцапали, шарик рванулся все-таки сам. А Витька эти шарики жалел. Он даже думал иногда, не живые ли они.

Но сейчас выхода не было.

Витька навел стержень на мчащуюся черную фигурку и толчком нервов метнул шарик вперед. Чтобы он взорвался перед лицом улана!

И белая звезда с треском вспыхнула! И наездник слетел с диска, встал на голову и потом еще долго кувыркался в траве.

— Вот так!

Мстительное веселье подстегнуло Витьку. Он прыгнул к другому борту. Не слушая криков отца и Филиппа, вскочил на мешок. Зажег новый шарик. Рядом опять свистнуло, но теперь Витька был в яростной уверенности, что ни одна пуля его не зацепит. Он послал шарик в улана, и еще один враг закувыркался вдоль насыпи, как набитый ватой манекен.

— Не смей! — кричал отец. — Нагнись! Витенька!

А Витька — опять у другого борта — целился еще в одного улана.

— Укусила пчелка собачку, — сказал он сквозь зубы. — За больное место... за спину... Ах, какая злая скотина... Вот какая вышла подначка...

Трах! Вот так...

Оставался всего один враг. Витька опять кинулся направо. Улан мчался уже метрах в семи — сбоку от платформы. Но тут отец хрипло, с паникой в голосе заорал опять:

— Ложись! Убьют же! — И покрыл Витьку таким жутким ругательством, что он брякнулся на тряский пол, будто

получил доской под коленки. И взмок от обиды, от стыда за отца. Мельком увидел перепуганное лицо Филиппа, трепещущие крылья Кригера... Ладно, все потом... Глянул через борт. Улан мчался совсем рядом. Витька кожей, и нервами, и всей душой напрягся, вбирая в себя электрическое поле. Не вышло. То ли кончился запас сил, то ли дикий крик отца подрубил его волю.

А улан летел с той же скоростью, что поезд, и потому казался неподвижным. Он сидел прямо, скрестив руки на груди, и смотрел на Витьку. Лицо его было деревянно-твердое, с насмешливо-жестким ртом...

— Кр-ра!! — как-то по-вороньи вдруг завопил Кригер и, вырвавшись от Филиппа, сел на борт рядом с Витькиной головой. Перья топорщились от летящего навстречу поезду воздуха.

— Кр-ра-а!!

И Витька увидел. И запоздало, беспомощно ужаснулся: в спрятанном под локоть кулаке улана был сжат маленький тупой револьвер. Глазок вспыхнул желтым огоньком.

В этот миг, равный самой малой фотovyдержке, Витька ясно и тоскливо понял — пуля ему в лицо...

...Цезаря подхватили, поставили. Гравий разорвал ему на животе и на коленях комбинезон. Цезарь стоял, потеряннo глядя перед собой.

— Ты что? Зачем? — сказал Рэм и сердито, и жалобно.

— Не знаю... — Цезарь облизал расцарапанную губу. Шар, который чуть не раздавил его на обратном пути, невозмутимо ходил над круглой площадкой. С ровными шелчками.

— Сумасшедший... — Лис потрогала лохмотья комбинезона. — Теперь и не зашить. И кожу содрал... Снимай, надо тебя мазать и бинтовать.

— Обойдусь... — Цезарь смотрел куда-то мимо ребят.

Ярик сказал с нерешительным упреком:

— Этот... который Командор... Он же говорил, что ничего нельзя трогать, если это связано со временем. А ты...

— Я знаю... Кажется, я хотел задержать...

Видимо, он все-таки задержал время. На микроскопический миг. Время полета пули. Платформа успела проскочить спасительные для Витьки сантиметры, и пуля не ударила ему в лицо. Но она ударила в Кригера.

Кригер взъерошенным рыжим комом с криком отлетел на середину платформы...

Витька не думая, инстинктивно, размахнулся и пустил в улана свой «пистолет». Он целил в голову, но попал в грудь, у горла. Едва ли удар был сильным, но улан, видимо, от неожиданности потерял равновесие. Слетел с диска и так же, как его сотоварищи, с десятков метров кувыркался среди травы. словно таким образом старался не отстать от поезда.

Витька обернулся к Филиппу и Кригеру. Филипп сидел над петухом на корточках. Потом поднял неживого Петьку, сел на мешок. Положил петуха себе на колени. Петькины лапы были скрючены, голова с подернутыми пленкой глазами качалась и вздрагивала у грязных досок пола.

Петькина кровь бежала Филиппу на колено и стекала по ноге.

Витька, пошатываясь, подошел, поднял тяжелую голову Кригера, спрятал ее под крыло. Взял петуха у Филиппа, положил на мешок. Филипп не сопротивлялся. Только спросил:

— Это что? Все?..

— Да...

Глаза у Филиппа были сухие. Он спросил опять:

— А в тебя не попало?

— Нет...

Филипп снял свою разноцветную рубашку, подолом смазал с ноги кровь. Стал заворачивать в рубашку Кригера. Витька помог ему. И услышал:

— Виктор...

Хлесткая, как пощечина, обида на отца все еще звенела в Витьке. Но он обернулся сразу.

— Все. Я сшиб последнего...— и поперхнулся. По отцовскому лицу текли слезы. Он всхлипывал и судорожно переглатывал. Витька, обожженный новым мгновенным страхом, кинулся к нему, упал рядом.

— Папа! Что с тобой? Ранило, да?!

Отец между всхлипами вытолкнул слова.

— Стимулятор. В кармане. Дай...

Витька засунул трясущиеся пальцы в нагрудный карман отцовской рубашки. Выдернул крошечную кассету рубиновых ампул.

— Одну. В зубы...

Витька рванул фольгу, сунул прозрачную пилюлю

отцу между зубами. Тот сжал челюсти. Зажмурился. Лицо быстро порозовело. Он открыл глаза. Витька с облегчением хотел подняться.

— Не вставай! Дурак!

— Папа, да все уже! Никто не гонится. И я их всех...

— Молчи! Ковбой зас...— Отец опять всхлипнул.

— Папа, ну что с тобой? Сердце, да?

— Заткнись!.. Сердце...— Отец опять прикрыл глаза, помолчал так несколько секунд и тихо сказал, не поднимая век: — Если ты когда-нибудь вырастешь, и у тебя, у бестолочи, будет сын, и он станет плясать под пулями, а ты не сможешь двинуться при этом... тогда узнаешь... сердце...

Щеки у отца были запавшие, с седой щетинкой, на коже — цементная пыль. И на желтой грязной рубашке пыль. А сквозь рубашку проступали ребра отцовского тела, худого и беспомощного. Витька задохнулся от жалости к отцу, просто подавился этой жалостью. Лбом упал ему на плечо.

— Папа... Ну все же... Ну нельзя было иначе, они же гнались. Один уже на платформу лез. Хорошо, что Филипп...

Он поднял лицо, посмотрел на Филиппа. Тот, с размазанной по ногам кровью, сидел, съездившись, на мешке, гладил пестрый сверткок.

Поезд стал тормозить.

Как они стаскивали с платформы отца, Витька потом долго вспоминал с дрожью. Надо было спешить, поезд стоял всего две-три минуты. А сил-то...

Сперва они с Филиппом за ноги и за плечи подтащили Михаила Алексеевича к правому борту. Надо было сходить с поезда только на правый скос насыпи. Сойдешь налево — и останешься в Западной Федерации. И придется ждать нового поезда, чтобы через него преодолеть барьер и оказаться в окрестностях «Сферы». Только так, иного пути нет...

Потом отца по мешкам придвинули на самую кромку полуметрового борта. До грани равновесия — так, что одним боком он повис над насыпью.

— Вы, ребята, не церемоньтесь, вы это...— говорил он. Только словами и мог помочь.— Это самое... Вниз меня, как куль... Я все равно ничего не чувствую. Бросайте...

Бросить они, конечно, не решились. Прыгнули на полотно, за рубашку и брюки потянули Михаила Алексеевича на себя. Он рухнул на них, подмял, втроем покатались под откос. Витька вскочил, стал переворачивать, укладывать отца среди лопухов.

— Пап... ты как?

— Как огурчик... — У него был расцарапан подбородок. — А ты?... А вы? Где этот-то? Пират кудлатый...

Филипп снова забрался на платформу и прыгнул с нее, прижимая запеленутого Петьку.

Поезд лязгнул, пошел.

Филипп в трех шагах от Витьки и отца сел на корточки, развернул рубашку, смотрел на Петьку. Тихонько приподнял и опустил крыло. Отец скосил глаза.

— Да-а... теперь только на суп годится, бедолага...

Филипп стрельнул гневным взглядом. Витька весь напрыгся. Отец жалобно заулыбался:

— Вы, ребята, это... простите. Я, конечно, старый циник. Только... главное-то, что с вами все в порядке... А что дальше?

Витька поднялся.

— Тут в ста метрах контрольная будка с телефоном. Позвоню в «Сферу», пригонят вертолет.

— Сколько хлопот из-за старого паралитика Мохова... Да, не так я хотел вернуться...

Витька поморщился. Но не от слов отца, а потому, что снова сильно заболела пятка, отбитая о «пчелу».

— Филипп, я пошел. Ты подежурь...

Тот молча кивнул.

...Аппарат в будке молчал, будто каменный. «Порядочки...» — сказал Витька и, хромя, побрел назад, чтобы сообщить: придется теперь ковылять ему до «Сферы» пешком, а это километра три. Или два километра до шоссе, где автобусы, машины, телефоны и всякая цивилизация.

Филипп выслушал Витьку безучастно. Сидел, гладил Петьку. Отец сказал:

— Иди, за меня не волнуйся. Мне даже хорошо. Когда тело неживое, душа отдыхает. Не часто бывает такое...

Шутил еще. У Витьки опять зацарапало в горле.

— Пойду.

— Иди... Постой. Сядь рядом на минутку... Слушай, ты там не поднимай шума. Скажи Скицynu или кому

еще потихонечку. Мне, сам понимаешь, ни к чему торжественная встреча...

— Ладно...— Витька хотел встать. И увидел, как вдоль насыпи идет к ним, хромая, улан в порванной кожаной куртке и с разбитым лицом.

Медные петушки

Это был тот самый улан, последний. Витька узнал его.

«Как он смог пробиться? По инерции, что ли? У самого барьера полетел с диска...»

Но эта мысль была не главной, мелькнувшей. Главная — о пистолете.

Маленький револьвер улан, видимо, потерял и теперь держал в опущенной руке тяжелый казенный «дум-дум».

Он подошел, широко расставил ноги в похожих на черные бутылки крагах. Был он без шлема, пыльно-светлые волосы прилипли к разбитому лбу. Глядя на отца, улан спросил хрипло и официально:

— Господин Михаил Мохов?

— Допустим,— очень спокойно сказал отец.

— Старший сержант спецбатальона корпуса черных улан Дуго Лобман... Никому не двигаться с места...

— Я, как видите, и не могу... А детям почему нельзя?

— Вы, господин Мохов, арестованы по обвинению в неloyальности и действиях, направленных на подрыв государственной системы Вест-Федерации. Он...— сержант качнул стволом в сторону Витьки,— за террористический акт в отношении сотрудников безопасности. Он...— это про Филиппа,— с профилактической целью.

— И кто же дал санкцию на арест? — с холодноватым интересом спросил отец.

— Командир спецбатальона.

— Но ведь уланы лишены права спецнадзора и судебной власти.

— Спецбатальон не лишен... Не двигаться. Я стреляю мгновенно.

Когда он говорил, губы шевелились, а побитое лицо оставалось деревянным.

— Старший сержант Лобман,— сказал отец.— Лучшее, что вы можете сделать,— это обратиться к врачу...

А стрелять не надо, это весьма чревато для вас. Вы находитесь не в Западной Федерации, а на территории совершенно иного государства, где стрельба не поощряется.

У Дуго Лобмана слегка шевельнулась рассеченная бровь.

— Иное государство в часе езды от Реттерберга? Кому вы это говорите, господин Мохов!

— Скоро вы убедитесь в этом.

— В чем бы я ни убедился, господин Мохов, это не пойдет вам на пользу. Если через полчаса здесь не появится уланское подкрепление с транспортом, я буду вынужден застрелить вас во исполнение инструкции, данной мне командованием.

— Вы ответите по всей строгости законов здешней страны.

Дуго Лобман сказал без интонаций:

— Если бы я даже поверил вам и опасался возмездия, это не помешало бы мне выполнить мой долг. Я улан.

— А когда вы стреляли в мальчика на платформе, тоже выполняли свой долг?

— Да.

«Бред какой-то! — отрывисто думал Витька. — На своей земле, в двух шагах от «Сферы»... Кто мог ожидать? И ведь выстрелит, гад...»

Он сидел рядом с отцом. А Филипп — спокойно поглядывающий исподлобья — в трех шагах. Ему, Филиппу, легче было бы вскочить и броситься в межпространство. А оттуда — в «Сферу». А найдет он «Сферу»? Найдет, если объяснить... А как объяснишь? Улан не даст... Да и не успеет Филипп: надо секунды две, чтобы уйти, сержант успеет выпустить пол-обоймы... А сам Витька и шевельнуться не сможет — сразу получит пулю. Да и как оставишь отца...

Вот идиотство-то! Не страшно даже, а чертовски обидно... Одна надежда — случается, что по здешним рельсам ходит дрезина путевой службы... Или нет, не надо дрезины. Этот тип сразу выстрелит в отца... А что делать? Кинуться, вцепиться улану в руку? Срежет пуль в броске...

Никакого пополнения старший сержант Дуго Лобман не дожидется. Полчаса пройдет. И тогда... Он же дуб, слушать ничего не хочет, скотина!

— Сержант, отпустите хотя бы детей, — сказал отец.

— Это исключено.

— Но вы же должны понимать, что...

— Советую вам помолчать и...

Мелькнула серо-зеленая тень. Пистолет грохнул, пуля взвизгнула в метре от Витьки. Дуго Лобман изогнулся в прыжке за отлетевшим в сторону «дум-думом»...

— Потом... извини,— сказал Цезарь, когда Лис опять начала говорить, что надо снять комбинезон и осмотреть царапины.

Он отошел от примолкших ребят и сел на прежнее место, на выступ фундамента. Тоскливая уверенность, что Витьке сейчас очень плохо, буквально сверлила душу. Как сфокусированный пучок боли, луч такой, звенящий отчаянной тревогой, сигналом о спасении! Цезарь уткнул в ладони лицо и увидел этот луч — рубиновый дрожащий шнур, прошивающий темноту. Устремленный из бесконечности прямо к нему, к Цезарю...

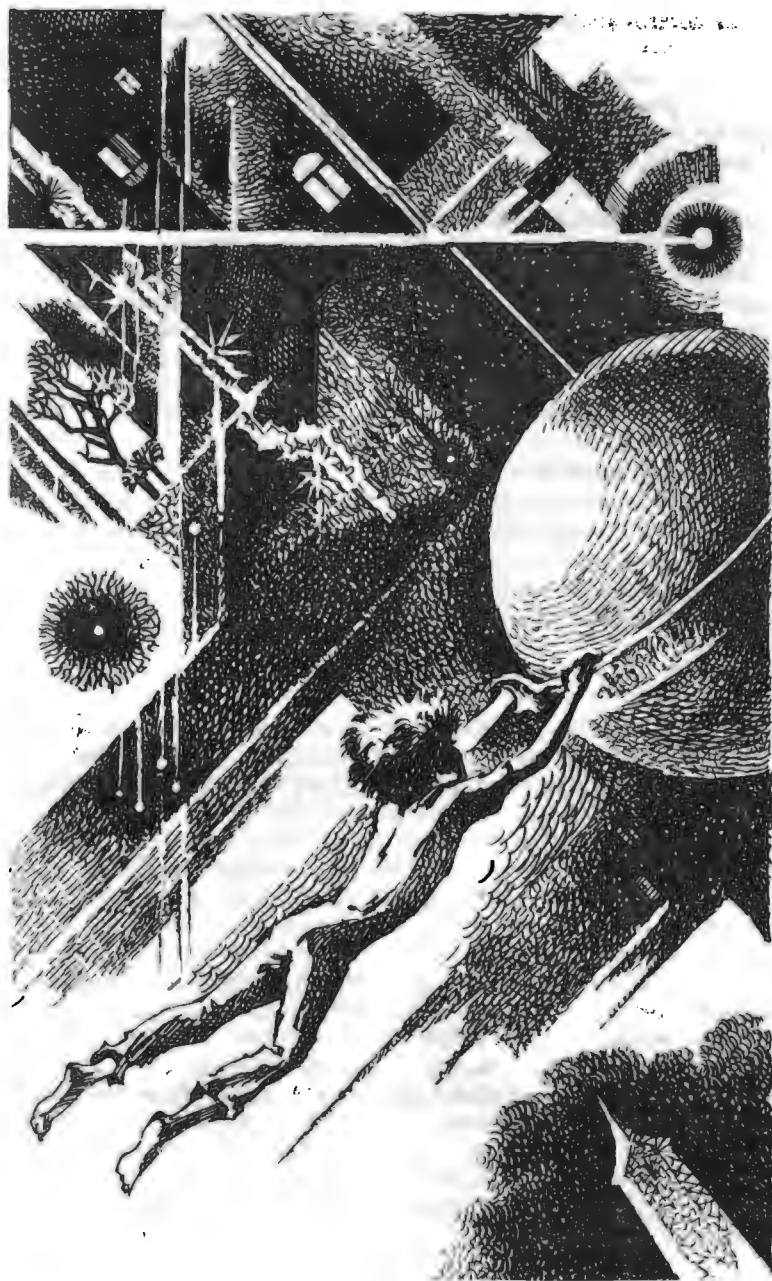
И тогда он вскочил. Прыгнул на выступ. Крикнул. И шагнул, не открывая глаз, вдоль этого красного шнура... «А-а-а-а!» Все внутри скрутило до рвоты ужасом падения, страшного полета в никуда. Но круглой тенью возник рядом летящий в пустоте маятник, и Цезарь, спасаясь от гибели, вцепился в медную ленту. Как совсем недавно...

Маятник не поволок его по гравию. Тяжелый, как планета, шар плавно понес мальчишку в межпространственной пустоте. И... вынес его из безнадежного липкого ужаса. Как из черной духоты на свежий воздух.

По-прежнему было страшно, только с этим страхом Цезарь мог уже совладать. Мимо мчались не то искры, не то звезды, красный светящийся шнур дрожал, убегая вперед. И надо было лететь вдоль этого тревожного луча, чтобы успеть, чтобы спасти!

Успет ли? Маятник одно свое качание проходит за семь секунд. Они ужасно долгие, эти секунды полета, но хватит ли их, чтобы долететь до Витьки?.. Вот замедляется движение шара. Вот уже совсем нет скорости. Щелчок... Цезарь запутался в траве и выпустил медную ленту. Открыл глаза.

Трава, в которой он лежал, была серо-голубая. Из нее торчали плоские метровые кактусы, похожие на бу-меранги с шипами. На горизонте стояли черные горы, над



ними, как белый взрыв, полыхало громадное солнце. Было очень трудно дышать.

Не успел!..

Но теперь он знал, что делать.

Зажмурился, сосчитал до семи, снова увидел пролетающий шар и опять ухватился за спасительную ленту-скобу.

И новые нескончаемые секунды летел за маятником, рассекавшим вакуум. А когда брякнулся в траву, то была это луговая кашка и подорожники. И лопухи.

Цезарь вскочил. Он был уверен, что увидит Витьку. Но увидел девочку.

Голова кружилась, в глазах все расплывалось, но все-таки ясно было, что это девочка, хотя в брюках и майке. Длинная и веснушчатая. Она подхватила Цезаря, потому что его вдруг повело в сторону. Испугалась:

— Что с тобой? Ты откуда?

Цезарь выпрямился:

— А где Витька?

Она не удивилась. Но сказала почти с отчаянием:

— Я не знаю... Я сама его... жду... Я...

— Ему плохо!

— Я чувствую. Но я не пойму...

— А почему меня принесло к тебе?!

— Я не знаю,— опять сказала девочка. Слезы у нее были уже близко. Она подняла руки к щекам, и Цезарь увидел сжатое в пальцах свое зеркальце. Фонарик.

Ясно! Это луч — Витькин крик, Витькин сигнал бедствия, Витькин страх — отражался в зеркальце и потом уже летел через грани к нему, к Цезарю!

— Я знаю, ты Люся,— быстро сказал он.— Где Витька может быть? Я думал — он здесь... Или у нас, в Реттерберге?

— Да нет же! Близко! Я всегда чувствую, если близко... Может, на насыпи? Он всегда возвращается от вас по насыпи!

— Можешь сообщить кому-нибудь? Только быстро!

— Да... А ты? Ты же еле стоишь! Надо...

— Ничего не надо! Скорее!.. А это дай мне, чтобы не сбивало! — Он выхватил у Люси зеркальце, шагнул назад и спиной бросился в черный провал.

...Маятник опять принес его под мохнатое белое солнце, в серо-голубую траву. На этот раз Цезарь передохнул, прислушался к себе. В голове стоял звон, а когда

закроешь глаза — в них зеленые пятна-бабочки. Но вдруг эти пятна вытянулись в линии, линии замкнулись в концентрические круги. А в кругах, как в центре кольцевого прицепа, зажглась рубиновая точка. Опять потянулась к Цезарю нитью. И вдоль нити маятник понес его снова. На это раз — точно к Витьке.

...Он упал шагах в десяти от насыпи. Хорошо упал — в куст упругого дикого укропа. И сквозь помятые стебли сразу увидел черного улана с пистолетом в согнутой руке. А потом уже Витьку, его отца и Филиппа.

Если бы он помедлил миг, если бы задумался — как лучше поступить? — неуверенность и боязнь облепили бы его, как паутина. И, спасаясь от этой паутины, Цезарь снова рванулся назад — в падение, в полет, под чужое солнце. (И мельком поразился тому, что прямой переход, которого он так отчаянно боялся, теперь все равно что качели в парке.) На знакомой уже планете с голубоватой травой он вырвал с корнем шипастый кактус-бумеранг, взял за корневище в правую руку. За маятник придется хвататься левой. И главное — рассчитать, чтобы прыгнуть сейчас точно рядом с уланом. Справа, где оружие... Не надо рассуждать и колебаться. Похожее один раз уже было. В Верхнем парке, в прошлом году, когда инспектор Мук из тюремной школы и Корнелий Глас дрались из-за пистолета... Ну!

...Земля ударила по ногам. Кактус-бумеранг врезался в кожаный рукав улана, выстрелом рвануло уши. И покатались по траве — двое, трое, четверо. Дотянуться до вороненого «дум-дума» — до спасения, до победы!

Дуго Лобман уже почти схватил рукоять, но Витька ударил пистолет ногой. Филипп зубами вцепился улану в палец. Сержант взвыл, отшвырнул кудлатого щенка. Другого отбил локтем, вскочил... Но мальчишка с головой, похожей на громадный одуванчик, стоял в трех шагах и держал пистолет двумя руками на уровне живота.

Тот самый пацан со Второй Садовой, из-за которого прошлым летом такой сыр-бор!

— А! Цезарь Лот!

— А! Сержант...

Дуго Лобман шагнул к мальчишке, но дважды ахнул «дум-дум», и дважды пули рванули траву у тупых уланских башмаков. И в том же ритме, как бы на счет «три», ствол вскинулся выше, в грудь, и Дуго понял, что третий выстрел прозвучит без малейшей задержки. Он заорал и вскинул руки...

Цезарь не нажал спуск. Мотнул головой, словно отогнал муху. Потом сказал громко, но сипло:

— Пять шагов назад! Быстрее, пожалуйста. Или...

Дуго спиной вперед старательно шагнул пять раз. Цезарь смотрел на него поверх ствола.

— Что теперь с ним делать, Михаил Алексеевич?

— Пусть подымается на насыпь и идет к чертовой матери. Только чтоб не оглядывался. Будет нужно, его догонят и возьмут...— Мохов сказал это по-русски, и Цезарь понял только «к чертовой матери». Вопросительно двинул плечом.

Витька встал с ним рядом. Приказал сержанту:

— Подымитесь на рельсы и ступайте прочь. Не оглядывайтесь и не вздумайте возвращаться.

— Вы усугубляете вину,— мрачно сообщил Дуго Лобман и медленно опустил руки.

— Пошел вон,— сказал отец.— Чезаре, стреляй, если не пойдет.

Дуго Лобман взглянул на Цезаря и полез наверх, к полотну. Там он оглянулся, несмотря на запрет, и пошел по шпалам. В ту сторону, где, по его мнению, был Реттерберг. Все смотрели вслед. Филипп отплевывался и вытирал губы — видимо, уланский палец был противный...

— Ну и ну...— произнес Михаил Алексеевич Мохов. Цезарь уронил пистолет и сел в траву. Увидел мертвого Кригера, глянул на Филиппа, ничего не сказал. Придвинулся, стал гладить упругие медные перья. Филипп тихонько заплакал.

Так они сидели довольно долго.

Витька наконец спросил у Цезаря:

— Сумел, значит?

Цезарь кивнул. Растерянно повел пальцами по груди, словно что-то искал. И нащупал на шнурке пуговицу, уцелевшую во всех передрягах.

— Молодец ты, Цезаренок,— сказал Витька без боязни обидеть Чека, потому что теперь они и в самом деле были равные. Или, по крайней мере, Чек не был младшим, подопечным. И он не обратил даже внимания на «Цезаренка». Он словно прислушался к чему-то и вспомнил:

— Кто-то должен отправиться к Башне. Там сходят с ума от беспокойства.

Это был Цезарь, как он есть. Витька-то и думать забыл о Пограничниках, которые ждут.

— Я не смогу... без Петьки...— всхлипывая, сказал Филипп.

— Но... ты же раньше летал и один.

— А сейчас не смогу...

Витька, разумеется, не мог оставить отца.

— А я...— Цезарь поморщился, зажмурился.— Боюсь, что один, без вас, я сразу не найду дорогу...

Далеко-далеко возник и стал нарастать шум винта. Вдоль насыпи шел маленький бело-синий вертолет. Он сел в двадцати шагах, и Витька увидел, как первой выпрыгнула Люся. Потом Скицын, молодой толстый доктор Хлопьев и пилот Владик.

Появлению Люси Витька ничуть не удивился. Словно так и должно было случиться. И он сильно обрадовался ей. Растаяла наконец, пропала заноза, которая позади всех мыслей, страхов и тревог все равно, оказывается, сидела в душе — та память о неудачном разговоре в храме Итта-дага. Теперь все стало проще, легче. И Витька даже не огорчился оттого, что Люся лишь мельком взглянула на него и бросилась к Филиппу:

— Ой, смотрите, здесь мальчик весь в крови!

— Это не моя, от петуха,— неласково сказал Филипп. Оставьте, мол, меня, в покое. Люся обернулась к Цезарю:

— Дядя Женя, а вот еще один, весь ободранный!

Доктор Хлопьев, однако, сохранил спокойствие:

— Ободранный, но на ногах... А с тобой что, Алексич?

— Паралитическая ампула. Одно хорошо, низко попали, сволочи, я как раз встал, спиной к окну. А то бы сейчас дрыхнул непрошибаемо... Да ты, Женя, не суетись, дня через три само пройдет. А противоядия все равно нет.

— Это т а м нет. А у нас будешь вечером танцевать лезгинку, знаю я эти ампулы... Дай-ка, дорогой, я вкачу тебе первую дозу эликсира... А ты, молодой человек, скидывай свой десантный наряд и приготовься орать. Антисептик — зелье кусачее.

— Не надо, мы сами,— сказал Витька.

— А, это Виктор Михайлович со своей электротерапией! Ну, валяйте...

Витька помог Цезарю снять комбинезон. Мелкие царапины Цезарь ловко убирал ладонью сам, а широкие багровые ссадины «заделывал» горящим шариком Витька. Шарик этот зажегся у него на мизинце послушно и сразу...

Скицын поднял из травы пахнувший теплым железом и порохом «дум-дум». Вопросительно посмотрел на Витьку. Витька молча махнул через плечо — в ту сторону, где далеко-далеко маячила на насыпи черная фигурка уходящего улана. Скицын присвистнул. Люся переводила с него на Витьку круглые, перепуганные глаза.

— Ох, как мне это не нравится, — сказал Скицын.

— А кому нравится, — сказал Витька.

Скицын подошел к Филиппу, наклонился над Кригером.

— Отлетелся бедняга, откричал свое... Как же это, а, ребята?

— Потом, — отозвался Витька.

Вертолет был маленький, всех забрать не мог. Внесли отца, сел доктор Хлопьев. Пилот Владик сказал, что за ребятами и Скицыным вернется через полчаса.

Улетели...

Филипп тихо попросил:

— Давайте похороним Петьку...

— А там, у себя, не хочешь? — нерешительно спросил Витька.

Филипп помотал головой.

— Мне его не унести... мертвого...

— Пусть лежит в земле, на которой вывелся на свет, — сказал Скицын. Вынул из кармана широкий складной нож, вырезал квадрат дерна, стал рыть яму. Мальчишки и Люся помогали кто чем мог — палками, найденным в траве рельсовым костылем, крышкой от затвора «дум-дум». Земля была мягкая, копали без труда.

Витька коротко рассказал Скицыну, что было.

Скицын отряхнул о брюки ладонь, провел ею по волосам Цезаря, в которых застряли земляные крошки.

— Значит, вот как оно, Командор... Сразу получил крещение...

— Да у него и раньше хватало крещений, — хмуро напомнил Витька.

Цезарь все еще был без комбинезона — маленький, щуплый, молчаливый. Он старательно вгрызался в землю. Под майкой суетливо дергались колющие лопатки, а у

грудь качалась медная пуговица. После слов Скицына Цезарь вдруг отбросил затворную крышку, съежился в лебеду, спрятал лицо и затрясся от плача...

— Ну, ты чего... Чек... — потерянно сказал Витька.

— Чего!.. Чего!.. — Цезаря сотрясали рыдания. — А чтобы... быть Командором... значит, надо стрелять в людей, да?!

— Чек... ты же не стрелял... Ты не в него!

— Да!.. А если бы он не поднял руки! Я бы третью пулю... в него... Потому что не было выхода!..

— Чек... Но выхода же правда не было, — беспомощно проговорил Витька. И подумал, что он тоже стрелял в улан. Молниями. Правда, он не хотел убивать. Он рассчитывал, что они просто полетят с дисков от взрыва перед лицом. Но ведь могли сломать шен... И может быть, сломали... А что было делать?

— Чек... Они же первые полезли...

— Ну и пусть! Я все равно не хочу никакого командорства! Я же не просил!..

Скицын в сердцах воткнул нож в землю.

— Дурак я, Цезарь, я не то сказал... про командорское крещение... Ну, а если бы тебя не сделали Командором, разве ты не кинулся бы на помощь к Витьке, к Филиппу? Посуди сам...

Цезарь стал вздрагивать реже. Сердито вытер грязной ладонью лицо. Всклипнул еще, пробормотал:

— Я как-то не подумал об этом... извините...

Не место, не время было для смеха, но Витька еле-еле задал улыбку...

...Филипп стал опять заворачивать Петьку.

— Так в рубашке и положишь? — спросила Люся. Он нахмуренно кивнул.

— Тогда хоть петушка отцепи, — сказал Витька. Но Филипп молча покачал головой. И опустил завернутого Петьку в яму.

Тогда и Витька отцепил своего петушка, положил значок на рубашку. И Цезарь — с перемазанным лицом, насупленный, стыдящийся недавних слез — подобрал комбинезон, снял с него петушка, положил рядом с Витькиным.

Скицын свинтил с безрукавки синий квадратик с белой буквой «С» — значок «Сферы». У Люси никакого значка не было. Она подумала и сняла с мочки уха клипсу — божью коровку...

Яму засыпали, сверху на плоский холмик положили квадрат дерна. Постояли с минуту над последним приютом Кригера... Улетел он, рыжий бродяга, за такие грани, откуда его никто не вернет. Сколько ни кричи на весь межпространственный вакуум: «Петька, где ты?!» — не откликнется...

— Нам надо возвращаться к Башне, — шепотом напомнил Цезарь. — Мне и Филиппу...

— А Филипп... Ты сможешь?

— Да... если с Чеком...

— Конечно. Мы же вместе, — сказал Цезарь.

Скицын быстро посмотрел на Витьку, словно опять сказал: «Ох, не нравится мне это...»

— Да у Башни-то совершенно безопасно, — обнадежил его Витька.

— Нигде не бывает совершенно безопасно, даже в нашей благословенной «Сфере»... Кстати, с чего ты взял, что на пятьдесят девятом была «пчела»? Сам перепутал и крик поднял...

— Не перепутал я... — Витька слабо улыбнулся. — Слушай, а нос у тебя вчера не сворачивало на другую сторону?

— Витторио, ты нахал...

— Да я серьезно... Потому что все связано.

— Что связано?

— Все, что было, — невесело усмехнулся Витька. — Ерстка...

Вдали застрекотал вертолет.

эпилог

Человек на рельсах

Дома Витька отыскал три запасных медных петушка — для Цезаря, для Филиппа и для себя. Но скоро значки понадобились еще. Потому что Люся привела к Пограничникам трех ребятшек — Илью, Ножику и его сестренку Тышку. Из той компании, которую вывез в прошлом году из «Проколотого колеса» Витька. Теперь они учились в Артышском интернате.

Петушки — дело нехитрое. Юр-Танка привез их целую горсть, когда в очередной раз встретились у Башни.

Привез он и грустную весть: Командор Находкин умер и его похоронили рядом с церковью Матери Всех Живущих.

Юкки с сестренкой не появлялись, у них было много дел — Юкки стал командиром мальчишечьего отряда трубачей, и они несли вахту на стенах Юр-Танка-пала, потому что племянник Хала, темный князь Саддар, опять собирал по дальним урочьям конные сотни... А сестренка Юкки учила местных малышей играм и песням, о которых до той поры не ведал никто от Крайнего моря до Дикой долины.

Зато другие Пограничники теперь сходились у Башни более часто, чем прежде. В «Сфере», где Витька жил с отцом, в Реттерберге и даже княжестве Юр-Танка стояла глубокая осень, а здесь по-прежнему цвели травы и летали в жарком воздухе стрекозы. Собираться стало теперь проще потому, что Цезарь всех научил переходу в такте Большого Маятника. Не сразу, но научил. Даже яртышских ребят и Люсю. У нее, кстати, первый переход получился даже лучше, чем у Лис, которая застряла сначала на каком-то корявом и горячем астероиде...

Витька сперва был доволен, что все так хорошо складывается. Но результат оказался совершенно неожиданный: Люська по уши влюбилась в Цезаря. А Цезарь... он, бедняга, видимо, тоже. И радовался, и маялся. И сказал наконец Витьке чуть не со слезами:

— Это ставит меня в крайне двусмысленное положение...

— Да чего уж там... — вздохнул Витька.

Дело в том, что он все больше невольно заглядывался на Лис. И чувствовал себя поэтому виноватым перед Рэмом. И был счастлив, когда Лис ему по секрету сообщила, что Рэм «окончательно спятил из-за этой девятиклассницы Вальки, самой большой воображалы в Луговом...».

Конечно, все эти душевные терзания считались тайными, но на самом деле...

— Так у нас все свихнутся от этой дурацкой влюбленности, — озабоченно сказал Ежики Ярику и Филиппу.

— Ну уж фиг, — отозвался Филипп. — Я, по крайней мере, из ума не выжил...

Он подросток, посерьезнел, Филипп Кукушкин. Стал молчаливее. Он очень тосковал по Петьке. Казалось бы, чем больше проходит времени, тем глуше печаль. Но у

Филиппа было не так. Чуть закроет глаза — и кажется, что опять гладит он Петькины перья и теребит налитой гребень. «Ко-о...»

— Дядя Дима, — насупленно сказал он однажды, когда засиделись за своей многомерной и хитроумной игрой, — а можно по Петьке устроить службу? Ну, как это называется у вас, поминанье, что ли.

Отец Дмитрий смеяться не стал, но сказал строго:

— Он, конечно, петух был знаменитый, да посуди сам, как же это сделать? Панихиды служат только по людям, ибо сказано, что лишь человек имеет бессмертную душу и надобно молиться, чтобы она обрела царство небесное...

— Но можно ведь просто так, — пробормотал Филипп. — Не надо ему царства...

Про бессмертие человеческих душ он никогда не задумывался, но что касается Петьки... Ушел же Кригер от гибели при эксперименте в «Сфере». Может, и сейчас... Ну, если не сам Петька, то, возможно, его тень где-нибудь летает в дальних пространствах. Иногда, во время своих путешествий по ступеням стеклянной лестницы, Филипп даже вздрагивал от ожидания: вот-вот шумно спланирует Петька из пустоты, заворкует радостно. Не случилось пока такого и, наверно, не случится. Но вдруг...

— Жалко вам, что ли, — уже с нехорошим щекотаньем в горле прошептал Филипп.

— Да не жалко, Филюшка, а не по обычаю это. Не по закону... Да и к чему тебе? Ты же самый что ни на есть неверующий!

— А я разве для себя? Я для него. Это... ну, как прощание. А то закопали — и будто не было... Ну, можно свечку зажечь?

— А почему же в церкви-то обязательно?

— А где? На улице? Задует же...

Филипп лег щекой на плюшевую скатерть и стал смотреть в черное окно. Ноябрь был, поздний вечер.

— Грехи наши... — сказал отец Дмитрий. — Пошли...

Они долго шагали по пустой и темной улице Лугового. Подморозило, летели в лицо невидимые редкие снежинки.

Отец Дмитрий отпер тяжелую дверь. Потом отодвинул вторую, стеклянную.

— Свет зажигать не будем, а то увидят с улицы...

Они остановились у стены. Желтоватое пятно от фонарика прошло по портрету печальной такой, большеглазой тетеньки с мальчиком на руках. Как на образке, что носит Юр-Танка. Картина эта, украшенная чеканным металлом, висела в обрамлении белокаменной старинной резьбы. Круг света пошел по резьбе вниз — по сплетениям цветов и листьев. В полуметре от пола тянулся широкий карниз. Квадратная полуколонна с резьбой опиралась на него, и здесь, между каменных веток, завитков и соцветий, был вплетен в орнамент задорный, с растопыренными крыльями и раскрытым клювом петушок.

— Вот тут и поставь... Держи... — Отец Дмитрий протянул свечку. Тонкую, будто карандаш. Чиркнул зажигалкой. Филипп осторожно зажег фитилек, потом капнул воском на карниз, прилепил свечку. Огонек трепетал и подмигивал, петушок будто шевелился. Он был не похож на Петьку... но все-таки чуть-чуть похож...

Филипп рукавом куртки вытер лицо, стал смотреть и молчать.

Свечка горела быстро, и когда убавилась до половины, отец Дмитрий сказал:

— Пойдем...

— А гасить не надо?

— Догорит и сама погаснет.

Они вышли на крыльцо. Стало еще холоднее, появились звезды.

— Ну, что? Проводить до дому? — спросил отец Дмитрий.

— Не... До свидания. Спасибо... — выдохнул Филипп. И с крыльца шагнул в межпространственный провал.

Когда ему бывало грустно, он летел не на стеклянную лестницу, а в какие-нибудь глухие и печальные места. Среди них было и такое: болотистая равнина под осенним серым небом, а на ней бесконечная, очень прямая насыпь с рельсами. По этой насыпи шел заросший человек в истрепанной кожаной одежде мотоциклиста. Шел и шел, днями и ночами. Не ведая конца.

Однажды Филипп рассказал о нем отцу Дмитрию. С каким-то смущением, с виноватостью даже.

— Все идет, идет. Не может ни сесть, ни упасть...

Отец Дмитрий ответил без привычной мягкости:

— Сам себе выбрал такое... Он стрелял в детей. Возможно ли более черное дело?

— Он говорит, что не виноват, потому что выполнял приказ,— сумрачно объяснил Филипп на следующий день.

— Никаким приказом нельзя оправдать этот грех...

— Он говорит, что все понял и больше никогда не будет,— сказал Филипп еще через неделю.— Он просит, чтобы ему простили грех.

— Грех может быть отпущен, если человек раскаялся.

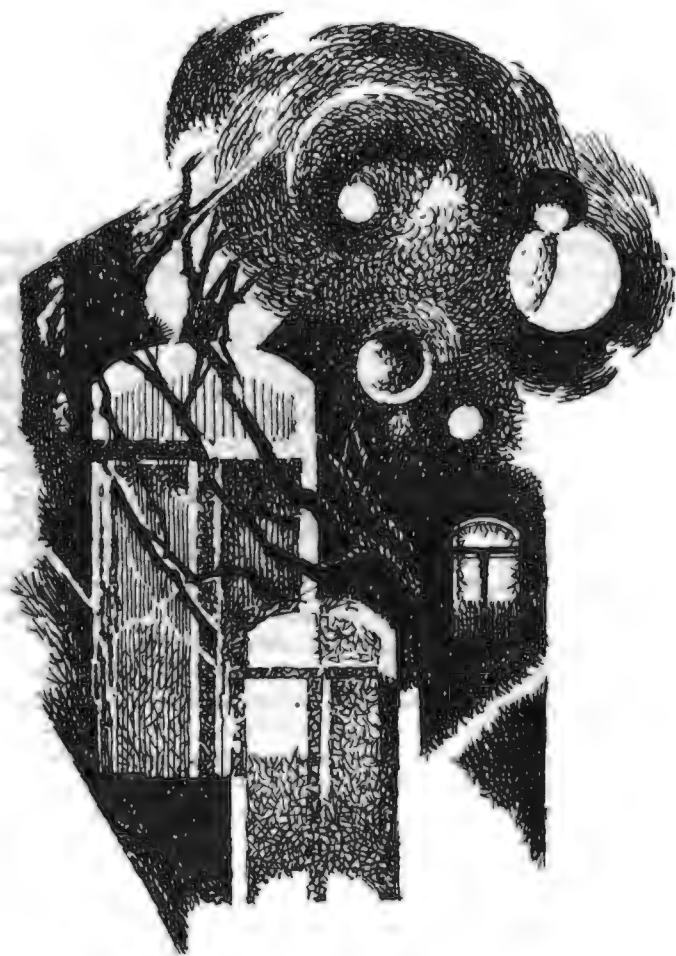
— Но он же говорит... Он...

Дмитрий Игоревич резко выпрямился:

— Он лжет! Он просто хочет избавиться от тяжкого пути. При чем здесь отпущение грехов? Если человек раскаялся всей душой и ужаснулся своим делам, путь кончится и сам отпустит его...

...А пока через грани Кристалла, через многие пространства, все еще идет человек в черной коже. Тот, кто стрелял в детей и кто, если прикажут, будет стрелять снова.

И при мысли об этом Цезарь Лот иногда обрывает смех или разговор, хмурится и крутит на шиурке тяжелую медную пуговицу.



БЕЛЫЙ ШАРИК
МАТРОСА
ВИЛЬСОНА



Пролог

В ГЛУБИНЕ ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА

Белый шарик не знал, когда и как он появился на свет. Ему казалось, что он существует всегда... Впрочем, нет. Понятие «всегда» ему тоже было незнакомо, потому что он еще не ведал, что такое Время. Он висел в пустоте, и единственным его чувством, единственным проблеском сознания было: «Я есть».

Но пришел час, и ощущение чего-то постороннего коснулось его щекочуше и беспокойно (позднее Шарик узнал, что это был импульс Большого Белого шара). В ответ Белый шарик непроизвольно ошетинился лучами мгновенных импульсов. Так насекомое, очнувшееся в темной коробочке, усами и лапками шупает картонные стенки. Шарик ощупал импульсами ближнюю часть пространственно-временного континуума. Даже этот маленький кусочек мира показался ему пугающе громадным. Но страх беспредельности растаял, когда Белый шарик понял, что одиночество ему не грозит.

Шаров было множество. Разной величины и разного цвета. (Цвет — это частота и длина импульсов особого рода, таких медленных, что они не годятся для общения и активных воздействий на мир, а служат чаще всего только оболочкой.)

Но великую россыпь дальних шаров Белый шарик воспринимал отрешенно и вначале ни с кем из них

не общался. А его соседями и наставниками оказались четверо. Вернее, пятеро, но Желтые близнецы жили так тесно друг с другом, что Шарик всегда воспринимал их как нечто единое. А кроме Близнецов были: Большой Белый шар, Красный шар и Темно-красный шарик. Если соединить их прямыми линиями, то образовывалась трехгранная пирамида — и каждый шар на своей вершине (а Желтые близнецы, естественно, вместе). Белый же шарик висел в центре этой пирамиды, на перекрестке импульсов нарастающей информации, от которой порой кружилась голова...

Стоп! Никакой головы, разумеется, у Белого шарика не было. Но, рассказывая о нем людям, невозможно обойтись без человеческих понятий. Иначе получится не повесть, а толстенный сборник формул, графиков, стереосхем и ключевых уравнений с весьма спорными обоснованиями многомерности кристаллических граней. Два простых слова: «Шарик встревожился» — превратились бы в несколько страниц с анализом аритмии внутреннего гравитационного поля и антипозиций внеконтурного излучения. Во всем этом сразу не разобрались бы ни самоотверженные энтузиасты из группы «Кристалл-2» в обсерватории «Сфера», ни даже четвероклассник Филипп Кукушкин из поселка Лугового. Что уж говорить про читателей!

Вот и придется нам в дальнейшем пользоваться фразами: «Шарик подумал», «Шарик сказал», «Желтые близнецы укоризненно заметили», «Шарику стало грустно», — хотя здесь много натяжек. Они исчезнут со временем, когда к Белому шарiku придет понимание многих человеческих чувств и представлений. Но случится такое нескоро. А пока...

Пока Белый шарик с трудом, не сразу постигал законы и понятия мира, в котором он существовал и который назывался «Великий Кристалл» (опять же в переводе на человеческое разумение). Трудно было понять, например, единство движения и неподвижности. Не было никакого сомнения, что он, Белый шарик, не просто висит в пустоте, а быстро движется относительно силовых линий данного пространства и относительно других шаров. И в то же время пирамида, образованная его соседями шарами, оставалась незыблемой, и он всегда находился точно в ее центре... Ну, ладно, в этом он в конце концов

разобрался. Гораздо сложнее было осознать вот что: оказывается, в пространственно-временной протяженности существовала такая часть Времени, когда его, Белого шарика, не было! Как это так? Все, что есть вокруг, было, другие шары были, а его не было?

— Мы тоже были не всегда,— снисходительно разъяснял Большой Белый Шар.— У всякого явления в Великом Кристалле есть свое начало.

О том, что у всякого явления бывает и конец, Белому шарiku пока не говорили, чтобы не огорчать раньше срока.

— А как это все вокруг и вы тоже... как это могло быть, если я вас не ощущал? — удивлялся Белый шарик.

— Тоже мне, пуп Кристалла... — ворчал Темно-красный шарик. Он был хотя и маленький, но с могучей массой, потому что был старше всех не только в этой пирамиде, но и вообще в обозримых пределах. Он редко что-нибудь объяснял и обычно лишь излучал недовольство и осуждение.

Красный шар весело восклицал:

— Ай да малыш! В таком возрасте уже начинает копать проблемы бытия! — И достаточно понятно объяснял, что существование Кристалла не зависит от восприятия того или иного отдельного шара. Шары могут быть или не быть, а Великий Кристалл был, есть и будет всегда.

Желтые близнецы добавляли:

— Ты узнаешь об этом после. Все должно постигаться в свое время.

«В свое время»... А что это вообще такое — Время? И почему оно бывает свое и не свое, если Великий Кристалл — общий? И в своем ли времени находится он, Белый шарик? Если да, то почему момент, когда он должен родиться, еще не наступил?

Эту странность выдал ему Большой Белый шар. Он рассказал, что миг рождения Шарика лежит на темпоральном векторе где-то впереди, примерно в двух микродолях общего временного оборота данной кристаллической грани.

— Как же так? Я еще не родился и уже есть? — Шарик даже обиделся.— Что вы мне мозги-то пудрите? — (Вольный перевод на человеческий язык.)

Но Большой Белый шар терпеливо разъяснил:

— Ты родился совершенно неожиданно. Твое появление на том участке могло нарушить плановость развития грани. И пришлось тебя оттянуть по временному вектору назад. Иначе не исключено, что могло возникнуть черное покрывало и ты исчез бы без следа.

Черного покрывала опасались все, хотя и неясно было, что это такое.

— Нам тебя стало жаль,— сообщили Желтые Близнецы со смесью ласковости и назидательности.— Ты был тогда очень славный...— В подтексте этих слов легко читалось, что теперь Белый шарик уже не такой славный, как в младенчестве, ибо задает слишком много вопросов.

Но Шарик продолжал задавать вопросы. И однажды спросил:

— Значит, когда-нибудь я сам смогу увидеть, как я появился на свет? Мы ведь все катимся по вектору Времени, да? И через две микродоли я подъеду к точке своего рождения?

Шары замолчали и, кажется, быстрее обычного завертелись вокруг оси. Наконец Большой Белый шар сухо произнес:

— Совсем не обязательно, что ты зафиксируешь в сознании эту точку. Скорее всего, проскользнешь и не заметишь.

— А вдруг замечу? И сделаю что-нибудь такое... Сам себе помешаю родиться! А? Тогда, значит, я не буду на свете? А тогда почему я сейчас есть?

— Значит, не помешал и родился... На нашу голову,— ворчал Темно-красный шарик.

— Объясните же ему,— стонали Желтые близнецы,— что он задает некорректные вопросы. Это просто неприлично!

— А что такое некорректный вопрос?

— А это то, за что можно угодить под черненькое покрывальце,— хохотнул Красный шар. А Большой Белый шар объяснил:

— Некорректная постановка проблемы ведет к дестабилизации данной грани. И в какой-то степени тормозит построение Общей Гармонии во всем Великом Кристалле.

— А зачем она... эта Гармония?

— Она принесет нам ощущение полного счастья и вечной радости. Это высшая цель.

— А... зачем?

— Зачем цель? Без нее наше бытие потеряло бы смысл.

— А скоро это... Общая Гармония?

— Нескоро. Но мы должны стараться приблизить ее...

Белому шарiku объяснили, что и он должен стараться. Сначала — в меру своих маленьких сил. А когда пройдет через Возрастание, будет работать больше и серьезнее.

Работать — означало улавливать и посылать другим шарам импульсы разного напряжения и частоты. Импульсы эти причудливо сплетались и пересекались, образовывали живую струнную сеть, дрожание которой определяло жизнь данной кристаллической грани. Если удачный импульс приближал это дрожание, эту музыку, к Всеобщей Изначально Заданной Частоте Великого Кристалла, возникал долгожданный Резонанс. То есть настоящего Резонанса еще не было, был намек на него. Но даже это вызывало у шаров моменты ликования. Однажды познал такое ликование и Белый шарик. Это когда он по сигналу Красного шара ловко подкинул в пространство два светлых импульса из системы дальних Голубых шаров, переплел индекс Темно-красного шарика со своим и точно всадил всю эту комбинацию в темную, «незвучащую» ячейку вибрирующей сети силовых линий. От зазвеневшей ячейки пошел сигнал к еле заметному от пирамиды Синему шару № 2. Тот давно ждал импульса смешанной частоты и теперь расцвел, выпустил целый сноп лучей магнитного контакта, и вся округа несколько мгновений упивалась состоянием Радостного Общения. Грань еще на какой-то шаг приблизилась к Общей Гармонии, а Белый шарик в этот миг буквально растворялся в счастливом тепле, умирении и любви других шаров. И в то же время — в ощущении собственной значимости, пользы и важности... Ах, если бы это продолжалось подольше!

— Только, пожалуйста, не зазнавайся, — посоветовали Желтые близнецы. — Одна удача еще ни о чем не говорит.

— Да, — поддержал их Большой Белый шар. — Все сошло удачно, ты молодец. Но если бы ты чуть-чуть ошибся и не попал совмещенными импульсами в ячейку...

— То что? — довольно развязно спросил Белый шарик. Близнецы возмущенно закудахтали, но Большой Белый шар был терпелив:

— ...Тогда могло возникнуть явление антирезонанса. Именно оно и притягивает черные покрывала. Кристалл не прощает, друг мой, дерзостей и неоправданного риска...

Ох уж эти нравоучения!.. И Белый шарик вернулся к будничной жизни.

Эта жизнь была тоже ничего, искущая. Во-первых, надо было точно уловить момент (и в этом ощущался азарт), чтобы перехватить и переслать дальше под заданным углом любой из неожиданных импульсов. Во-вторых, приходилось внимательно слушать, не слабеют ли сигналы в ближайших ячейках Сети, и в случае чего вплетать туда собственные импульсы нужной частоты. Оставалось время и для свободной связи с шарами. Не только для бесед с постоянными соседями и наставниками, но и для переключки с другими. Пошлешь наугад индекс-вопрос «ты кто?» — и вдруг ощущаешь щекотанье ответного луча: «Я Розовый шар на втором коротком ребре Большого параллелепипеда номер три. А ты?»

Такие «разговорные» импульсы никак не влияли на состояние Сети, но большие шары все равно предупреждали:

— Не болтай слишком часто, не трать зря энергию.

— А почему нельзя тратить?

— Задержится Возрастание.

— Ну и что?

— Ну и будешь младенцем до старости!

— А это плохо?

— Это нарушит Гармонию грани...

— О-о-о... — Белый шарик морщился, как от зубной боли (если представить, что у Шарика были зубы и они могли болеть). Только и слышишь: «Гармония, Гармония...»

— Не смей испускать черные импульсы! — взвизгивали Желтые близнецы. — В конце концов, это просто невыносимо!

Ну, а какие еще импульсы испускать, если все надоело и ни с кем не находишь постоянного резонанса?

...Однажды донесся импульс, от которого Белый шарик буквально затрепетал. Импульс этот был без адреса, шел в пространство широким веером. И, судя по всему, не в одно пространство, а по многим граням Кристалла. О, Великая Всеобщая Сеть, кто мог излучать такое?

До сих пор Белый шарик только слышал, что есть другие грани. Это были иные миры, импульсы оттуда почти не доходили. А если и доносились, то ни о каком резонансе не могло быть и речи — слабенькие они. А этот импульс, пробивая многомерные зеркала совмещенных пространств, хотел, кажется, заполнить собой весь Кристалл... И странно, что никто из шаров не обратил внимания на такой широко разлетевшийся крик.

Да, именно крик. Это был, безусловно, черный импульс — сигнал тревоги, печали и одиночества. Словно какой-то шарик родился в полной пустоте и решил, что ничего — совсем ничего, никого и нигде! — на свете нет.

А может, и правда так? Может, несчастный этот шарик излучает лишь такую частоту, что его никто не замечает?

— Вы что! Разве не слышите?

— Белый шарик, ты о чем, малыш?

«О чем!» Он — о дрожи своего тревожного резонанса. О желании скорее успокоить того, кто мечется и страдает в черной пустоте! О странном чувстве, которому нет объяснения (лишь много позже Белый шарик узнает, что оно называется «жалость»).

— Ты кто?

Не было ответа. А тоскливая дрожь не проходила, и Белый шарик боялся все больше. Он боялся не выговора от больших шаров, не антирезонанса, не черного покрывала. Вообще, это был страх не за себя. Впервые шарик страдал оттого, что плохо не ему, а кому-то другому. Незнакомому, неизвестно где живущему.

— Ты кто?!

Не было ответа. И Белый шарик первый раз в жизни совершил немисливо дерзкий поступок. Рванув колоссальный запас энергии, он швырнул импульс-анализатор двусторонней связи в бесконечность. Навылет через грани! С отчаянной силой, но почти без надежды, что получат ответ...

Тугая струя импульса пробила ломкие структуры ближних граней и пошла навстречу вееру чужого сигнала. И Шарик сам — всем своим сознанием — заскользнул вперед по этой струе!

...Сперва ему показалось, что черный импульс идет от незнакомого шарика. Тоже белого, но... совершенно другого. Немисливо другого! Неравенство масс было та-

ким, что Белый шарик замер в горестном недоумении... Но почти сразу он понял: различие настолько громадно, что его просто не следует принимать во внимание. Известно ведь, что свойства бесконечно большого и бесконечно малого часто совпадают. Это во-первых.

А во-вторых, излучал вовсе не тот незнакомый шарик, а кто-то другой, находящийся с ним рядом. Сам же маленький шарик был не живой, просто оболочка. И Белый шарик невидимым лучом вошел в эту оболочку, заполнил сознанием привычную, уютную форму.

А тот, от кого шел в совмещенные пространства сигнал тоски и одиночества, словно окутал шарик печальной теплотой, молчаливой просьбой о сочувствии.

И Белый шарик спросил третий раз:

— Ты кто?



Часть 1 СТАСИК

Прогульщик Скицын

1

Трахнуло, как из пистолета!..

Ну кто мог подумать, что обыкновенный капсюль от охотничьего патрона, замазанный хлебным мякишем и надетый на перо легонькой деревянной ручки, грохнет с такой силой! Обычно они стреляли не громче бумажных пистонов, а если ручка падала на пол не совсем прямо, то вообще получалось пшиканье. А этот вон как!

Стасик даже зажмурился.

А когда он разожмурился, увидел, что маленький Генка Янченко прыгает на одной ноге, а другую трет сзади ладошкой. Стасик сразу сообразил, что искра от капсюля подло клюнула Генчика в незащитное место между чулком и кромкой твердых коленкоровых штанов. Ой-ей... Генчик-Янчик был среди третьеклассников самый смирный и безобидный. Стасик тоже не из бойких, и он вовсе не хотел делать Генчику никакого вреда. Просто думал пошутить, когда бахнул капсюлем у него за спиной!

Стасик все это и собрался объяснить. И конечно, они с Генчиком тут же помирились бы и даже посмеялись — вместе со всеми, кто сбежался на выстрел (а народу в школьном коридоре было полно, потому что де-

журные в классы еще не пускали). Но рядом оказалась длинная, как пятиклассница, Сонька Лапина — она всегда воюет за справедливость, где надо и где не надо.

— Чё на маленького! — заорала она своим басом и замахнулась на Стасика здоровенным портфелем. Стасик, разумеется, успел присесть, и портфелем вляпало не ему, а второгоднику Бусыгину. По уху! Но Бусыга на Лапу не кинулся. Он вмиг смекнул, что тут главный виновник. И дал ему такого упругого пенделя, что Стасик, не успевши разогнуться, пролетел сквозь толпу...

И головой врезался в бок Берты Львовны, грозной учительницы четвертого «А».

Берта была как башня с линкора, она даже не шелохнулась. Но из-под мышки у неё вылетели указка и классный журнал. Стасик ойкнул и хотел их поднять, но Берта ухватила его за ворот.

— Это еще что? Ослеп?

— А чего! Если толкаются... — заныл Стасик.

— Кто толкается? Где?

— Врет он все! Он сам пистоном стреляется, маленьких пугает! — возгласила Сонька. Она была такая бесстрашная, что не боялась оказаться ябедой.

— Кто стреляется? Ты стреляешься? — И повлекла Берта Львовна третьеклассника Скицына в учительскую.

— Нина Григорьевна, получайте вашего партизана! Пальбу в коридоре устроил и мне прямо в печенку... Ох, не могу...

Нина Григорьевна обычно была вовсе даже не строгая. А главное — своя, привычная. В другой раз она быстренько отругала бы Стасика и — «марш в класс». Но сейчас она то ли по правде вообразила, что Стасик Скицын из чего-то выпалил Берте Львовне в печенку, а может, просто с утра поругалась с мужем или узнала про всякие дела своего сына-семиклассника Вовки, который учился в соседней семилетке... В общем, взвилась она и запричитала:

— Да это что же такое! Второй день учатся, и уже проходу нет! Дальше-то что будет?! Совсем из школы бежать?.. Нет уж, голубчик, убирайся из школы сам и без мамы не появляйся! — И в открытую дверь: — Тетя Лиза, проводите этого стрелка за порог, и чтобы его близко не было, пока мать не приведет!..

Техничка тетя Лиза, крепкая и решительная, пере-

хватила Стаськин воротник и вмиг выставила несчастного Скицына за двери родной начальной школы номер три. И затрясла у него за спиной колокольчиком. Словно не просто созывала всех со двора и улицы в классы, а злорадствовала: «Люди-то учиться идут, а ты, Скицын, хулиган и прогульщик!»

Стасик ошарашенно остановился на тротуаре. Просто непостижимо, как за две минуты может столько всего свалиться на человека. Будто вихрь какой-то или лавина! Нежданно-негаданно...

Всякое за два учебных года случалось со Стасиком Скицыным, но чтобы вот так, с треском из школы и «без мамы не появляйся»... За что? Будто он противотанковую мину взорвал! Все стреляют — и пистонами, и хлопушками, и пульками из резинок, надетых на пальцы, и не только в коридоре, но даже на уроках. А виноватым оказался бедный Скицын, который тише и примернее многих.

Стасик перешел булыжную мостовую и побрел вдоль деревянной решетки Андреевского сада. Прочь от своей школы — такой привычной, уютной, с красным кирпичным низом и деревянным вторым этажом, где блестят большие, чисто промытые стекла, и со свежим ярким кумачом на воротах: «Добро пожаловать!» Ага, «добро пожаловать... с мамой»...

Мама, конечно, все поняла бы. Ну, ругнула бы Стаську для порядка, вздохнула и пошла бы в школу. Да только сейчас пойти она не может. И расстраивать в эти дни ее никак нельзя. Дней через десять, а то и через неделю предстоит маме отправляться на «Калужку» — в белый одноэтажный дом на Калужской улице, где с давних пор появляются на свет почти все дети города Турени... И Стасик появился там же — девять с половиной лет назад... Ох, лучше бы уж не появляться...

Да, но что же в самом деле теперь предпринять? Безысходность какая-то. Зареветь бы, да все равно бесполезно.

Но конечно, полной безысходности не было. Позади унылых и беспомощных мыслей шевелилась уже спасительная догадка. Вечером надо все рассказать Юлию Генриховичу. Пусть он завтра в свой обеденный перерыв зайдет вместо мамы в школу. Стасик чувствовал, что в этой беде отчим будет на его стороне. В свои давние

детские времена Юлий Генрихович тоже выкидывал в гимназии разные фокусы и до сих пор любил об этом рассказывать.

Лишь бы он пришел домой трезвый... Впрочем, до зарплаты далеко, и к тому же он, как и Стасик, старается теперь не расстраивать маму.

Откуда капсюль, отчим даже и не спросит. Недавно Юлий Генрихович целую горсточку подарил Стасику за то, что он помогал развешивать дробь для охотничьих зарядов. Могло ведь случиться, что не все капсюли Стасик разгрохал в тот же день и один из них затерялся в карманах.

В них, таких глубоких, что хочешь может затеряться!

И несмотря на все несчастья, Стасик опять ощутил удовольствие — оттого, что на нем такой замечательный костюм...

Эти костюмы летом появились в магазинах в большом количестве. Покупай кто хочет! Страна заботилась о том, чтобы счастливые дети стали еще счастливее. Костюмы были дешевые, из материи, похожей на серую рогожку, но очень солидного, именно «костюмного» покроя: китель и брюки навыпуск. Мама купила обновку для Стасика в середине августа.

Через много лет Станислав Скицын нашел в маминых бумагах старую фотокарточку, где он в этом наряде. И подразился широченным штанам и балахонистому кителю, из которого торчала стриженная под коротенький «полубокс» голова с ушами, похожими на приставленные к щекам ладошки... Но в те августовские дни Стасик был счастлив. Правда, первого сентября он испытал некоторое разочарование, потому что половина мальчишек в третьем «А» и третьем «Б» явилась в школу в таких же кителях и брюках. Зато другие, кто по-прежнему ходил в коротких штанах или бесформенных полинялых шароварах, именуемых «шкерами», глядели с завистью. Завидовать следовало хотя бы из-за карманов. Только на брюках — два боковых, один сзади и один у пояса: для часов, если они вдруг когда-нибудь появятся.

Пока же в «часовом» кармане у Стасика был спрятан желтый бумажный рубль с портретом шахтера-стахановца, а в боковых — всякое полезное имущество: две стиральные резинки, увеличительное стекло, кусок мела (можно рисовать на заборах чертиков и скелетов), старинный пятак, щелкунчик из киноплёнки, пятьдесят

копеек мелочи... И только капсюль — по правде говоря! — там никогда не лежал. И теперь мелькнула мысль: может, и беда у него, у Стаськи, — в наказание за обман?

«А чего я такого сделал-то?! — мысленно завопил себе в ответ Стасик. — Украл, что ли?»

«А что ли, нет?!»

«А что ли, да?!»

У отчима Юлия Генриховича была большая берестяная коробка — скрипучая и затертая от старости. Называлась она «куженька». В куженьке хранились охотничьи припасы: патронташ со снаряженными патронами, две пачки пороха — дымный и бездымный, тяжелый мешочек с дробью, круглая «секачка», чтобы вырубать из старых валенок пыжи (Стасик иногда вырубал), латунные и картонные гильзы и много других интересных вещей. В том числе и коробочки с капсюлями: похожими на патрончики «жевел» и простыми — это медные чашечки с зеркальцами из фольги...

У куженьки была плотная крышка, но замка не было. Отчим знал, что Стасик никогда ничего не возьмет без спросу. И баловаться не будет. Правда, иногда, оставшись один, Стасик выволакивал куженьку из-под кровати и рассматривал все это грозное имущество, но очень осторожно. Про всякие несчастья от небрежного обращения с боеприпасами он был наслышан от Юлия Генриховича и его приятелей. Стоит, например, поставить заряженный патрон на дробинку, которая нечаянно оказалась на столе, — и привет! «Разом нет полголовы», — говорил отчим, а мама охала. Короче говоря, требовались в этих делах осторожность и точность. Семь раз проверь и отмерь... Для точности, для отмеривания зарядов служили аптечные весы с крошечными блестящими гирьками.

Из-за этих весов, можно сказать, все и случилось. А точнее — из-за бильярда.

Стасику нравились игры с шариками. Всякие. И он думал: вот бы устроить какую-нибудь игру дома! Конечно, лучше всего пинг-понг — настольный теннис, как в лагере. Но даже если сумеешь склотить громадный стол, как его засунешь в комнату? Совсем не трудно соорудить кегли, но для игры нужен ровный длинный пол, а коридор в доме тесный, да и соседки заругаются... Оставался бильярд. Маленький, как в больнице, куда летом судьба загнала Стасика...

Стасик попросил у соседского дяди Юры кусок ровной фанеры, поработал ножовкой. Получился метровый прямоугольник. В сарае Стасик раздолбал пустой курятник и взял рейки для бортиков. Сукна, конечно, не нашлось, но мама отдала бумажную занавеску, которой раньше задерживали кухонную полку. Стасик обтянул фанеру и бортики.

Здорово получилось! Особенно если не обращать внимания, что материя — пыльно-розовая с серыми цветочками и в одном углу прожженная.

Кий помог вытесать из рейки дядя Юра. Своим рубанком обстрогал и шкуркой зачистил. И Стасик не раз примеривался, как будет гонять шары... Только где их взять?

Больше всего годились бы, конечно, стальные шары от больших кольцевых подшипников — как в настоящем настольном бильярде. Да разве их раздобудешь? Один-два еще туда-сюда, а надо-то шестнадцать! И тогда Стасик решил — глина!

Юлий Генрихович, правда, говорил, что глиняные шары будут неровные, непрочные, быстро рассыплутся. Но тут отчим был явно не прав. Неровные? Ха-ха! Он не знал, какие аккуратные шарики умеет Стасик скатывать из глины! Непрочные? Можно обжечь для крепкости. Труднее всего другое: как их сделать совершенно одинаковыми по весу и размеру?

Стасик решил и эту задачу. Надо скатать сперва один шарик для образца. А потом его, как гирьку, — на чашу весов, а на другую — порции глины. И шарики из этих порций получатся один к одному, до миллиграмма. Ведь весы-то аптечные.

Эта идея пришла сегодня утром. А когда мама с подругой тетей Женей ушли в больницу, которая называется «консультация», Стасик выволок на свет куженьку. Надо было посмотреть: поместится ли шарик размером с грецкий орех в чашечке весов. «Поместится», — решил Стасик. Довольный, спрятал весы, стал двигать куженьку под кровать и там в полумраке заметил крошечное, тускло засветившееся зеркальце. Ого!.. Он выколул находку из щели между половицами. И сразу же замазал капсюль мякишем, надел на перо, сунул ручку в пенал...

Если бы Стасик увидел капсюль внутри куженьки, ему бы и в голову не пришло присвоить его. Но сей-

час-то капсюль был явно потерянный. Значит, ничей... И к тому же такой пустяк!

Ох, кабы знать тогда, чем все это кончится... В бильярде можно рассчитать заранее, в какой угол шарик покатится. А в жизни поди угадай, куда пихнет тебя случай...

Теперь надежда только на отчима. Но он придет с работы не раньше семи. И Стасику до этого срока появляться дома не резон. Мама должна думать, что он отсидел, как полагается, все уроки. А пока придется гулять. И лучше подальше от школы и знакомых улиц. А то ведь, по закону невезенья, обязательно напорешься на кого-нибудь, кто тебя знает.

Он вздохнул глубоко и горько. Свернул за угол и зашагал по улице Семашко, в конце которой синела заречная даль.

2

Август чуть ли не весь был серый и слякотный, но в последние дни его опять появилось солнце. И сентябрь тысяча девятьсот сорок седьмого года начался в городе Турени безоблачно, безветренно, с каким-то особенным, пушистым теплом. Листья не шевелились, почти неподвижно висели в воздухе летучие, с растопыренными волосками семена. Искрились чуть заметные паутинки. На улице Семашко совсем не встречались прохожие. И тихо было, только шаркали по доскам Стаськины подметки да где-то на дворах заорал петух, но застеснялся и не кончил крик.

Это солнечное умиротворение постепенно успокоило Стасика, обволокло его. Где-то в глубине еще скреблись беспокойство и обида, но сильнее их была уже уверенность, что все кончится благополучно. Впрочем, и уверенность эта была не главной. Она тоже растворялась в ленивой Стаськиной беззаботности.

Так и брел он квартал за кварталом к высокому берегу.

У реки Стасик бывал очень редко. Гулять в одиночку так далеко от дома он еще не решался. А если с кем-то в компании, случай выпадал не чаще раза в год. Как-то давно ходил с мамой и соседками полоскать половики с лодочных мостков. А еще раньше, позапрошлым ле-

том, он и мама на пристани встречали пароход, на котором вернулся из командировки Юлий Генрихович. Было очень интересно, только стояли сумерки, а в них не разглядеть все как следует. Стасик запомнил огни на пароходе и фонари на берегу, шум паровой машины, гудки, запах соленой рыбы, которым несло от сложенных в пирамиды бочек. И худую серую кошку: она сидела на ящике под желтой лампочкой и равнодушно умывалась. И мигали на решетчатых столбах и вышках колючие красные сигналы... От этого вечера у Стасика осталось ощущение, что он побывал где-то в далеком приморском городе, откуда начинаются кругосветные плавания.

А прошлой весной устроили для второклассников прогулку на берег и называли ее «экскурсия». Все стояли над рекой и смотрели с высоты на залитые половодьем заречные улицы, на татарскую деревню Нижние Юрты с церковью под названием мечеть, на рощицы и синий лес на краю земли. И практикантка из пединститута громко рассказывала, что такое горизонт. Но все, кроме бестолкового Мишки Семипалова, и так знали о горизонте, поэтому не слушали, отбегали, и Ннна Григорьевна очень боялась, что кто-нибудь свалится вниз. Обрывищи-то о-го-го какие!

Сейчас обрывы показались еще выше. Может быть, потому, что река в конце лета обмелела и выглядела совсем не широкой, маленькой по сравнению с нависшими над ней громадами земли. Река отступила от крутизны, вдоль воды тянулась широкая песчаная полоса. На ней валялись оторванные от плотов бревна, какие-то ящики, автомобильные шины и всякий мусор. У другого, низкого берега сплошь стояли плоты, к ним прижимались разноцветные катера. На краешках плотов сидели мальчишки с удочками. А дальше был простор, простор под бледно-синим небом — до того самого далекого горизонта, о котором рассказывала студентка... Солнце светило в спину и не мешало смотреть. И Стасик все больше отдавался власти громадного, но ласкового пространства. И такими пустяками были теперь его недавние неприятности по сравнению с этой бесконечной землей и чистым небосводом — тоже бесконечным и спокойным. Стасик даже снисходительно пожалел одноклассников, которые сидят в душном от свежей масляной краски классе...

Потом он стал думать, куда пойти, и решил, что направо. Двинулся по краю берега.

Тропинка привела к серому забору. За ним стоял покосившийся, но красивый деревянный дом с круглой башней под куполом из чешуйчатого железа. Наверно, до революции построили его для какого-нибудь богача. На башне торчал штырь с железным флажком. Во флажке светились пробитые насквозь цифры: 1892. Стасик сообразил, что это год постройки.

...А еще это был год рождения Юлья Генриховича.

Соседки говорили маме: «С ума сошла, он же тебя на пятнадцать лет старше! А выглядит вообще будто кощей!» Но мама не послушалась. И наверно, хорошо. Иначе кто бы завтра заступился за Стасика?... Хотя мама тогда и сама могла бы. Ведь если бы ей не встретился Юлий Генрихович, не пришлось бы теперь собираться на «Калужку»... Соседки и про это вздыхали: «Ох и глупая ты, Галина, ох и отчаянная! Зачем тебе это на старости лет?» Дуры, честное слово! Разве мама старая? И она отвечала: «Катеньку хочу...» Потому что была у нее раньше дочка, а у Стасика сестра Катя. В сорок втором ушла на курсы сандружинниц, а оттуда на фронт. И через три месяца — похоронка. Стасик тогда как раз дизентерией болел, думали, что кончится. Мама потом говорила: «Из-за него и выжила, надо было спасать, на ноги ставить. А то бы, наверно, не перенесла...»

Катю Стасик хорошо помнит. А отца не помнит. Совсем еще крошечный был Стаська, когда отца призвали на финскую войну. Там и убили, даже с немцами не успел повоевать. Вот такая она, жизнь: то на одной войне гибнут люди, то на другой. То совсем без войны, отчим рассказывал...

Стасик мотнул головой. Грустные мысли годятся для пасмурных дней, а сейчас надо радоваться воле вольной...

Забор подходил к самому обрыву. Но все же между ним и кромкой берега оставалась травяная полоса — шириной в один шаг. А на ней ниточка-тропинка. И Стасик пошел, чиркая правым плечом по доскам, а левым ощущая жутковатую пустоту. Но глинистый обрыв сменился зеленым откосом, тропинка вильнула по нему вниз и запрыгала по всяким буграм, выступам, склонам и промоинам. Средн бурьяна, жесткого белоцвета и древовидных, выше Стасика, репейников. Сухие стебли и колючки злорадно цеплялись за шероховатый китель, дергали кир-



зовую полевую сумку на брезентовом ремне, чуть не оторвали от этого ремня сатиновый мешочек с чернильницей-непроливайшкой. Ежики-репьи щелкали по ушам и застревали в коротеньком Стаськином «полубоксе». Ну и пусть! Приключения так приключения. Вперед!

Но скоро он понял, что костюму от таких приключений несдобровать. Левая штанина внизу разорвалась по шву, одна пуговица с кителя потерялась. Стасик выбрался на солнечную проплешину откоса. Обобрал с себя колючие шарики. Из кителя сделал скатку — вроде шинельной, солдатской. Надел ее через плечо крест-накрест с ремнем сумки. Получилось по-походному, по-военному. Штаны подогнул выше колен, а чулки скатал пониже, так что под коленками получились отвороты, похожие на коричневые бублики. Перешнуровал потуже ботинки. И решил, что теперь он похож на разведчика-путешественника с картинки в книжке писателя Киплинга.

...Эту толстенную книгу без корочек он прочитал, когда лежал в больнице. Там ее все по очереди читали, она переходила «от поколения к поколению». В давние времена принесли ее кому-то с передачей, там она и осталась, потому что из «заразной» больницы возвращать ничего не разрешается.

В кинге было много всего: и разные сказки, и приключения в джунглях, и рассказы про моряков. И длинный роман под названием «Ким». Про похождения беспризорного мальчишки и про его учителя-индуса, который всю жизнь искал священную реку. Стасик не все в этой истории понял, но было интересно. И больше всего запомнились мысли Кима. Как он пытался решить загадку: «Кто же я такой?» И его мысленный крик — будто сразу и вопрос, и жалоба, и ответ, и радость: «Я Ким, Ким, Ким!..»

На Стасика тоже иногда наваливались мысли: кто он и зачем? «Я Стасик, Стасик... Ну и что? А почему я именно Стасик? А что дальше?..» Про это он думал не раз, когда не спалось на больничной койке, а в небе — то бледные июльские звезды, то желтый ноготок полумесяца... И додумался тогда Стасик, что все-таки есть у человека бессмертная душа. Никакого там ада, рая и прочих чудес, про которые рассказывала соседская бабушка Алена, мама дяди Юры, конечно, быть не может, сказки это. А душа есть, потому что без нее было бы совсем глупо.

А случилось и так, что Стасик лежал на кровати и в то же время будто улетал к тем звездам, что в окне, и мчался среди них свободно и бездумно...

Но и мысли о бессмертной душе, которая когда-нибудь полетит в звездную бесконечность, не решали загадок. А зачем она, душа? А как это — вечность и бесконечность? Совсем-совсем без конца? Или где-то конец все-таки есть? А тогда — что за ним?..

Однако сейчас на лужайке речного откоса мысли эти лишь едва-едва мелькнули у Стасика. Просто книжка вспомнилась и Ким... Стасик поправил под ремешком ковбойку, по-следопытски глянул вперед.

Шагов через двести тропинка привела к развалившейся лестнице. Наверно, когда-то лестница спускалась к лодочной переправе. Но теперь переправа была совсем в другом месте, а от лестничных пролетов остались лишь отдельные участки с прогнившими ступенями. Остальное, скорее всего, во время войны растащили на дрова. Стасик поглядел сперва вперед, потом вверх. Пробираться сквозь заросли, по правде говоря, уже надоело, под рубашкой полно мусора, а коленки горят и чешутся. А кроме того, надо ведь посмотреть, что там наверху за улицы.

То по хлипким ступеням, то прямо по откосу выбрался Стасик на высокую кромку берега. Оглядел, как покоритель Казбека, реку и землю до горизонта, поправил амуницию и двинулся в незнакомые края.

Улица Ермаковская, улица Тобольская, переулок Водников... Никогда Стасик здесь не бывал. Он жил в привокзальном районе, всегда словно припорошенном угольной пылью. Дома там — кирпичные или деревянные — были все похожи друг на друга: двухэтажные, с квадратными окнами, без всяких украшений. Кое-где между ними стояли длинные бараки. И единственным красивым зданием был похожий на терем клуб железнодорожников, да и то он стоял ближе к центру, в Андреевском саду.

А здесь — все по-другому. Деревья казались гуще и листья их чище. В канавах пестрели мелкие ромашки, а у заборов желтая россыпь лютиков, сурепки и поздних одуванчиков. Лопухи по-хозяйски росли сквозь щели деревянных тротуаров. И все дышало стариной. На кирпичном двухэтажном доме, на боковой стене, Стасик увидел совсем необыкновенное: большой корабль с надутыми парусами и длинными флагами! Видимо, барельеф этот был вылеплен из алебастра или гипса. Старый,

потрескавшийся, местами обвалившийся... Но все равно прекрасный корабль! Он летел над верхушками пожелтевших кленов и гроздьями рябин. Над ним виднелись на кирпичках полустершиеся черные буквы: «Бр. Гурины. Торговля рыбой». Стасик мысленно отмер эту буржуйскую надпись, а кораблем любовался долго.

И с этого момента он всюду стал замечать признаки особой, «корабельной» жизни. У ворот лежали перевернутые лодки. На заборе желтело фанерное объявление: «Пристани Турень требуются грузчики, вахтеры и разнорабочие» — и внизу значок — якорь в кружочке. Над кривым деревянным домом с башенкой — флюгер-пароходик. Маленький сквер огорожен литой решеткой с узором из штурвалов и канатов... И название самой улицы — Пароходная!

И Стасику очень захотелось туда, где два года назад он видел пароходные огни и ощущал портовые запахи.

Но улица вдруг уперлась в теплую от солнца стену кирпичного склада. Пришлось обходить его по тропинке. А тропинка привела Стасика в кривой переулоч.

Размышления в переулке Банный лог

1

Переулоч извилисто убегал вниз, но не с ровным наклоном, а с горки на горку. Тротуары — не деревянные, а из каменных плит, которые лежали косо, редко, топорщились и соединялись кривыми тропками. Дома тоже стояли неровно: то вдоль, то поперек, то дерзко выставляли на дорогу покосившийся угол или крыльцо. Были здесь всякие дома: и большие — с резьбой, застекленными балкончиками и надстройками, и утонувшие в лопухах и бурьяне хибарки. А над путаницей склонившихся туда-сюда заборов — чаша рябин и вековые тополя.

Безлюдный этот, причудливый переулоч поманил Стасика ласково и неудержимо. И Стасик пошел вниз по плитам с приятным и странным ощущением: будто он делал открытие и в то же время словно место это ему смутно знакомо.

Конечно, у такого переулка и название должно быть подходящее. Скажем, Речной, потому что за домами чувствуется, просто-напросто дышит простор недалекой реки. Или Лодочный спуск: вон две лодки лежат у ворот, а еще одна торчит острым носом над забором. Или Рыбачий. Большая сеть сохнет на кольях в палисаднике перед желтой мазанкой (неужели в реке ловят сетями? Или привезли с озера?).

Наконец Стасик увидел на воротах ржавый круглый щиток с фонариком, номером и облупившимися буквами:



Он остановился, замигал. От удивления и досады. Название и правда необычное. Но и... как говорят, ни к селу ни к городу. Лог — это, как известно, овраг, он с ответвлениями тянется через Турень во многих местах. А здесь... Может, потому что переулок постепенно опускается к реке и незаметно раздвигает толщи обрыва? Ладно. А почему «Баный»? Где-то здесь баня? Но известно, что в Турени всего четыре бани: Ишимская (за водокачкой), Заречная (у черта на куличках, Стасик там никогда и не был), Железнодорожная (привычная, уютная, куда он ходит с Юлием Генриховичем) и Стахановская (самая большая, в центре, на улице Стахановцев).

Чтобы прогнать досаду, Стасик решил, что когда-то и здесь была баня, но не простая. Наверно, с большой трубой, похожая на пароход. В ней мылись кочегары с пароходов, которые приплывали к пристани Турень от самого Ледовитого океана...

В банях, кстати, всегда есть что-то такое корабельное, морское. Шипенье кранов, шум воды, гулкие голоса; голые спины блестят в пару — совсем как в паровой кочегарке, когда барахлят старые котлы (Стасик видел это в кино «Морская дорога»). А Стахановская

баня, та вообще напоминает океанское судно: похожие на иллюминаторы окна в несколько рядов, а над входом — кубический застекленный выступ, будто капитанский мостик.

Однажды шли вдвоем по улице Стахановцев, и Стасик сказал:

— Если бы не круглая, то совсем как корабль.

Дело в том, что трехэтажная кирпичная баня была как цирк без купола или большущий нефтяной бак.

Юлий Генрихович поддакнул и вдобавок объяснил, что были на свете и круглые корабли: два старинных броненосца, которые прозвали «поповками». Потому что их строил адмирал Попов.

— А может, и баню эту адмирал строил? — сказал Стасик. Просто так, для шутки.

Но Юлий Генрихович вздохнул и возразил, что баню строил известный архитектор, у него много интересных зданий в других городах, а одно даже в Москве...

— А вот за это сооружение беднягу посадили и чуть не шлепнули, — сказал он.

Мама нервно оглянулась, а Стасик сумрачно спросил:

— Почему? — Что такое «посадить» и «шлепнуть», он знал.

Юлий Генрихович объяснил, что баня построена кольцом (снаружи этого не видно) и архитектора обвинили, что сделал он это с вредительским умыслом. Если, мол, враги народа, диверсанты и троцкисты, взорвут внутри такого кольца бомбу, она в замкнутом пространстве ахнет с повышенной разрушительной силой, погубит здание и массу советских людей...

— Откуда ты это знаешь? — опасливо и с досадой сказала мама.

— Потому что я с ним вместе сидел в пересылке...

Мама опять посмотрела вокруг: нет ли поблизости прохожих? Того, что все это слышит Стасик, она не боялась, привыкла доверять ему. В те годы, когда они жили вдвоем, с кем ей было еще разговаривать откровенно? Вот и беседовали обо всем на свете, и мама приучила сына с посторонними о лишнем не болтать, а о таких делах вообще молчать намертво.

Юлий Генрихович ему тоже стал доверять, когда понял, что Стасик Скицын человек надежный. Пускай не очень храбрый (а иногда и слабоватый на слезы), но если уж скажет — можно верить. И если обещал

держать язык за зубами — не сболтнет ни приятелям, ни соседу и даже себе вслух не скажет.

2

Юлий Генрихович появился в жизни Стасика странно и тревожно. Много позже Стасик узнал, что в начале сорок пятого года в библиотеку Клуба железнодорожников, где мама тогда работала, пришел мужчина. Остался с мамой наедине, сказал, кто он и откуда, и предупредил, что через несколько дней к ней попросится на жительство квартирант. Ему подскажут этот адрес. «Так надо. Вам понятно?»

Мама пролепетала, что понятно. Комната у них со Стасиком была разгорожена фанерной стенкой. Проходную часть мама и раньше иногда сдавала приезжим людям: то эвакуированному профессору, то офицеру пехотного училища, то медсестре из госпиталя. Так что само по себе дело было не новое. Но мужчина объяснил, что время от времени будет встречаться с мамой. И она будет рассказывать ему, как живет и о чем говорит квартирант, какие у него знакомые и от кого он получает письма. Тут мама попробовала сказать, что она не знает, как это, и она не умеет, и вообще... А мужчина улыбнулся: «Вы ведь советский человек, верно? Вдова командира. И сын у вас растет, будущий пионер. Вы ведь любите вашего сына?»

Мама очень любила сына, будущего пионера...

Скоро появился жилец. В старом, ломком от мороза кожаном пальто, в облысевшей ондатровой ушанке, с фанерным чемоданом. Высокий, лицо впалое, а одна щека так втянута внутрь, что совсем получилась яма. На толстой переносице — красноватый рубец. Глаза у незнакомца были бледные, и смотрел он, как дворовая собака Чапа, когда ее пускают в дом погреться.

Говорил он тихо и вежливо. Рассказал, что работал на севере, в поселке у Обской губы, а сейчас перевели сюда. Жить стал незаметно. Утром уходил в контору мебельной фабрики, где служил плановиком. Приходил поздно, ложился на железную кровать и читал под лампочкой всегда одну и ту же толстую книгу «Война и мир». Иногда приносил маме консервы из своего пайка. Мама отказывалась, но он оставлял банки на столе. Мама звала его пить чай. Он пил, говорил

мало, впадина темнела на его щеке. Стасика он научил делать из бумаги надувных чертиков. Сказал: «Мы таких еще в гимназии мастерили»...

В начале марта с квартирантом случилась беда. Он шел с последнего сеанса из кино «Комсомолец», и на Земляном мосту его сбил грузовик. Не остановился. Ударом бросило Юлия Генриховича в лог, он лежал там без сознания до утра, потом прохожие заметили, подобрали, отправили в больницу. Там Юлий Генрихович пробыл до середины апреля — с сотрясением мозга, переломом руки и воспалением легких. Мама стала ходить в больницу. Сперва не часто, а потом почти каждый вечер. Стасика оставляла с соседкой тетей Женей. Когда возвращалась, объясняла насупленно и как-то виновато:

— Он ухода требует. Слабый совсем, сам ничего не может. А у него ведь никого здесь нет... кроме нас.

В Москве у Юлия Генриховича был брат, но приехать он не мог, прислал только письмо и перевод.

Вернулся Юлий Генрихович еще более худой, зеленовато-бледный, но странно повеселевший. Чаше заходил пить чай. Стасику сделал трехмачтовый кораблик, чтобы пускать в лужах.

Неизвестно, приходил ли еще к маме мужчина «оттуда». Если и было такое, то про разговоры с квартирантом все равно мама ему не рассказывала. Иначе и она, и Юлий Генрихович попали бы туда, «куда Макар телят не гонял».

Оказалось, что на севере Юлий Генрихович не просто работал, а сидел в лагере. За что? «Милый мой, кабы хоть кто-то знал там, за что...» Первый раз его забрали в тридцать седьмом. Он жил тогда в Москве вместе с сестрой, потому что жена умерла, а детей не было. У сестры иногда собиралась компания знакомых музыкантов. Говорили о спектаклях, о концертах и книгах... Фамилия у Юлия Генриховича была «странная-иностранная» — Тон. И однажды он, подвыпив, заметил в разговоре, что такую же фамилию носил архитектор, построивший в Москве храм Христа Спасителя. «Вот из этого окна он был виден...»

«Гордитесь, значит, знаменитым однофамильцем?» — небрежно улыбувшись, заметил один знакомый. При странном молчании остальных. А Юлий Генрихович возьми да и брякни:

«Чего ж теперь-то гордиться? Кабы храм стоял по-прежнему, а то ведь пустое место...»

Все вежливо поговорили еще минут десять и быстро разошлись.

Сестра была старше («и умнее!» — говорил Юлий Генрихович). Она требовала, чтобы брат уехал немедленно — куда глаза глядят. А он только рукой махнул и спать завалился. Пришли за ним утром, отвезли в тесную одиночку.

«Ох, Стасик, не дай тебе Бог услышать, как за спиной задвигается тюремный засов...» — сказал однажды Юлий Генрихович в горьком подпитии...

Следователь говорил арестованному, что тот вел антисоветскую пропаганду, при всех сожалел о распаднике поповского мракобесия, который взорвали, чтобы на месте его построить Дворец Советов. И что планы этого строительства он, подследственный Тон, называл пустым местом и заявлял также, что не желает видеть в своем окне фигуру Вождя, которая должна увенчать Дворец. А поскольку до таких контрреволюционных мыслей одному дойти невозможно, то подследственный должен искренне признаться, в какой белогвардейской организации состоит.

Юлий Генрихович держался. Начитавшись в юности Джека Лондона, он потом немало побродил по земле, был охотником и спортсменом, ходил с караванами в Туркестане, рыбачил на Каспии, работал на Шпицбергене. В общем, был «жилистый и принципиальный», и следователи с ним «возились без успеха». А потом очень повезло. Сестра каким-то чудом выхлопотала разрешение на передачу, отнесла брату чистое белье, а от него получила сверток с грязным. «Головотяпы надзиратели в спешке недосмотрели, — криво усмехнулся Юлий Генрихович. — Работы у них было невпроворот...» На рубашке сестра обнаружила кровавые пятна и прямо с этим бельем, сквозь все заслоны, пробилась к какому-то крупному начальству и подняла там большой крик. «Отчаянная была женщина, бесстрашная...»

Как ни странно, а такой безумный шаг помог. Может, потому, что в этот момент наступило временное послабление в борьбе с «врагами и заговорщиками». Юлия Генриховича выпустили. И второй раз взяли только в сороковом году.

«Жили мы с сестрой на даче, идем как-то из леса,

и смотрю я — сидят у калитки двое. Сразу видно кто... Честное слово, хотел бежать, чтобы стреляли вслед и сразу конец... Ноги не послушались...»

На этот раз почему-то отвезли в подмосковный городок и допрашивали там. «Видимо, в столице уже места не хватало». Приговорили к высшей мере, и с месяц Юлий Генрихович сидел в просторной чистой одиночке, каждый день ожидая команды «на выход». И опять странно вильнула судьба: отправили не в «подвал», а в сибирский лагерь... А в январе сорок пятого его выпустили. Сказали, что может ехать куда хочет, но в Москву пропуска не дали. Да и что было делать в Москве? Сестра умерла, с братом у них было «не очень...». Вот и застрял он в Турени — все-таки не совсем глушь, областной центр.

Отпустить отпустили, но, видно, верили не совсем, раз держали под наблюдением... Впрочем, после Девятого мая про Юлия Генриховича «там», кажется, вовсе забыли. То ли в общей радости, то ли просто поняли наконец, что никакой он не шпион и не враг. В те счастливые дни все люди ходили будто пьяные от счастья и, наверно, стали больше верить друг другу (так, по крайней мере, казалось Стасику). Юлий Генрихович съездил наконец в Москву — на могилу сестры и за имуществом. Привез кузеньку, тульскую двустволку в потертом чехле, еще один фанерный чемодан и — маме московские духи, а Стасику плоскую старинную книгу с золотом на корке и множеством картинок: «Ночь перед Рождеством». Слова в книжке были с ятями и твердыми знаками, но буквы крупные, и Стасик разобрался быстро. Уже в ту пору он был заправский читатель.

Все чаще мама с Юлием Генриховичем ходила в кино и цирк. Обедали теперь все вместе. И наконец случилось то, к чему и шло: Юлий Генрихович переселился в их комнатку, а Стасика перевели в проходную. Ну что же, Стасик не возражал. Но все-таки друзьями они с отчимом не сделались.

Что ни говори, а Юлий Генрихович был странный человек. Например, мог целый день расхаживать по комнате в кальсонах и грязных носках, но когда в таком виде садился за стол, требовал чистое полотенце или платок, чтобы заткнуть за ворот — салфетка. При этом пробор на его голове был как по линейке и редкие пегие волосы прилизаны специальной щеточкой.

Он морщился, когда Стасик или мама говорили «патэфон», «мушкетёры», «берет». Оказывается, следовало произносить: «патэфон», «мушкетэры», «берэт», потому что эти слова из французского языка.

— Как это звучит у Пушкина! «Кто там в малиновом берёте с послем испанским говорит...»

Стасик пожимал плечами. «Евгения Онегина» он еще не читал, а если бы сказал в классе: «Ребя, в кинушке трофейные «Гри мушкетэра» идут», какая после этого была бы у него жизнь?

Патэфон патэфоном, а когда отчим ссорился с мамой, он такие русские слова кричал, что хоть голову под подушку прячь. Потому что прежней тихой вежливости у Юлия Генриховича не осталось. Иногда он был просто псих. Ни с того ни с сего взовется, завизжит, на маму начинает замахиваться. Стасик тогда орал «не смейте», а мама потом плакала.

«На кой черт поженились?» — думал в такие дни Стасик.

Но бывало, что подолгу отчим ходил добродушный, чуть насмешливый и ласковый. Охотно болтал со Стасиком о его ребячьих делах и порой вспоминал про свои гимназические проказы и вообще про детство. Оказывается, в те годы у него с братом была даже своя парусная лодка. Потому что жило семейство Тонов совсем не бедно: отец — потомок шотландского капитана, служившего Екатерине Второй, — был управляющим на заводе французской газовой компании. Лето семья проводила в собственном доме на Истре, и жизнь там была самая веселая.

Но отчим любил вспоминать не только о веселых вещах. Иногда он с каким-то странным удовольствием рассказывал, как наступил босой ногой на граммофонную иголку и знакомый хирург долго копался у него в разрезанной пятке и наконец вытянул коварную иглу сильным магнитом. Или как отец впервые в жизни его аккуратно и по всем правилам высек. За то, что обнаружил в ранце у сына-третьеклассника толстую книжку «Декамерон».

— А что это за книжка? — неловко хмыкая, спрашивал Стасик.

— Рано тебе еще знать, — поспешно говорила мама.

— Совершенно верно. У нас дома так же считали. И когда папаша увидел книгу, послал кухарку Фросю

к дворнику Степану: у того всегда был запас прутьев, он из них метлы вязал. А мне велел идти в детскую и приготовитьсь...

— Можно же было убежать,— хмуро говорил Стасик.

— Куда?.. И к тому же не так мы были воспитаны,— объяснял Юлий Генрихович с каким-то странным самодовольством.— Ослушаться отца — такое и в голову не приходило. Ну и... прописал он мне творчество эпохи Возрождения. Верещал я так, что брат Шурка в соседней комнате напустил в штаны... Никогда в жизни мне потом так жутко не было, даже в следственной камере, когда раздевали и привязывали к чугунной печке...

— Не надо, Юлик,— говорила мама.

— А зачем... к печке-то? — против воли спрашивал Стасик.

— Зачем? Работали люди. Один дровишки подбрасывает, а другой показания записывает... Видишь ли, когда просто бьют, молчишь или орешь и ругаешься... А когда раскаленный металл...

Стасик вспоминал коричневые рубцы на теле отчима, которые видел в бане...

Конечно, про жизнь Юлия Генриховича Стасик узнал не сразу, а постепенно, в течение двух лет. Из разных, порой насмешливых, а порой тяжелых рассказов, случайных фраз, нечаянно подслушанных разговоров. Узнал и то, что раскаленного чугуна отчим не выдержал, признался: да, был завербован, да, передавал вражеским агентам сведения про советских граждан из юридической конторы, где работал последний год (все-таки два курса юридического факультета успел закончить до революции). А фамилии агентов такие: Белкин, Дефорж, Гринев, Швабрин, Ларин...

Стасик, знавший уже «Капитанскую дочку» и «Дубровского», фыркнул.

— Да, смешно,— покивал Юлий Генрихович.— Но эти старательные парни записали всерьез...

Однако обращение к пушкинским героям все же помогло. Через несколько лет какой-то «энкаведешной» комиссии, видимо, надо было обвинить в чем-нибудь своих излишне бестолковых следователей или просто поиграть в справедливость. И осужденному Ю. Г. Тону опять несказанно повезло, одному из многих тысяч:

наткнулись на его дело. И председатель комиссии снисходительно сказал: «Но ведь за товарищем Тонем не было бы никакой вины, если бы он так легкомысленно не оговорил себя...».

После этого «товарищ Тон» и оказался в Турени...

Жизнь шла по-всякому. То вполне сносно, то с обидами и скандалами (и тогда соседки жалели маму). Но весной сорок седьмого года, когда отчим узнал, что у них с мамой «кто-то будет», он стал спокойнее, даже опять иногда ласковый делался. К лету выхлопотал для Стасика у себя на работе путевку в пионерский лагерь...

Все это Стасику вспомнилось, пока он топал по плитам Банного лога. Вниз, вниз. Переулок еще раз вильнул и привел к деревянной лесенке. Легко застукали по ступенькам твердые подошвы. Ну совсем как шарик на лестнице в лагере...

«Ты кто?»

1

Лагерь принадлежал профсоюзу работников деревообрабатывающей промышленности, поэтому называли его просто и даже непочтительно — «Опилки» (хотя по правилам полагалось: «Имени двадцатилетия Советских профсоюзов»). Ну что поделаешь: ни лагеря, ни люди себе прозвищ не выбирают. Вот и к Стасику в «Опилках» в первый же день прилипла новая кличка.

Когда все собрались на большой поляне и вожатые стали выкликать ребят по своим отрядам, оказалось, что Стасика в списке нет. Он, конечно, расстроился. Что же теперь, домой? Толстая, похожая на повариху вожатая Дуся поглядела на печального белобрысого октябренка и вспомнила:

— В дополнительном списке вроде бы Стасик есть. Но не Скицын, а с какой-то иностранной фамилией. Не то Мортон, не то Вильсон...

— Наверно, Тон! — Стасик подпрыгнул от радости, и все рассмеялись. — Это потому, что Юлий Генрихович путевку достал!

Все, конечно, разъяснилось. И Стасик думал, что про этот случай тут же забыли. Но на линейке ему сказали:

— Эй ты, Вильсон! Куда лезешь, по росту вставай...

Так и пошло — Вильсон да Вильсон. Стасик вздохнул и смирился. В свои девять лет он уже знал: есть вещи, с которыми не поспоришь.

На другой день был сбор их младшего третьего отряда, и Дуся всех спрашивала, кто кем хочет быть. Некоторые стеснялись и ничего не говорили, а кое-кто отвечал храбро, хотя после каждого ответа все почему-то смеялись. Когда пришел черед Стасика, он засмутился, но молчать не стал. Сказал тихо:

— Матросом...

Опять, конечно, все ха-ха-ха. А Дуся спросила:

— Почему именно матросом? Может, уж лучше капитаном?

Пришлось объяснить ей, непонятливой:

— Как же сразу капитаном? Сперва все равно надо матросом.

Рядом крутился Бледный Чича, парень из второго отряда, лет двенадцати. Тускло-белый, как пыльная макарона, с бледными глазками. Он высунулся из-за голов и сказал клоунским голосом:

— Храбрый матрос Вильсон с дырявого корыта.

И все опять захохотали.

Что этому Чиче надо было от Стасика? Привязался с первого дня: то даст щелчок, то в столовой табуретку из-под Стасика выдернет. И хихикает, хлопает белесыми ресницами...

Мальчики из третьего и второго отряда спали в одной палате, и утром Чича сказал:

— Эй, Вильсон, давай-ка заправь мне коечку как следует. У нас такой закон: младшие старших всегда уважают.

Стасик и свою-то еще не знал, как заправлять. Зато знал другое (вернее, чувствовал): если кому поддашься, потом хуже будет, сядут на шею. Он ответил негромко, но твердо:

— Не нанимался.

— Ух ты, крыса корабельная. Ребя, слышали? Первый раз приехал, а уже... Ну, шас я тебе...

Но тут пришла Дуся:

— Что за кавардак? Ну-ка быстро чтобы порядок был!

Чича ухмыльнулся и посмотрел на Стасика «ласково».

Стасик собирался в лагерь с радостью. Потому что хоть и каникулы, а все равно скучно. Во-первых, с утра до обеда торчишь в очереди в хлебном «распределителе». Потом надо еще несколько раз топать на водокачку с бидоном: маме тяжести таскать нельзя, отчим в конторе, а обед без воды не сварить... А выйдешь погулять на улицу — что там делать? Ну, побегаешь в догонялки, поиграешь в пряталки с соседскими Юркой Карасевым, Лидкой-Занудой и Владиком Кислицким да с несколькими дошколятами. Или пойдешь в Андреевский сад, там пацаны из окрестных кварталов разбиваются на две команды и устраивают игру в сыщиков-разбойников или мяч гоняют на лужайке. Но еще ведь не каждый раз возьмут в команду, если у тебя ни большого роста, ни большого умения... И главное — каждый день одно и то же.

А лагерь — это всё новое, все в первый раз!

Мама тоже радовалась за Стасика, а насчет воды и очереди за хлебом договорилась с тетей Женей, соседкой. В общем, все так хорошо складывалось. И вдруг — этот Чича!

В тот вечер, после первого сбора, Чича с дружками устроил такую подлость! В матрасе у Стасика сделали ямку и положили под простыню пузырь с водой, из тонкой резины. Такие продаются в аптеках и называются неприличным словом; большие мальчишки иногда их покупают, гогочут и надувают, будто воздушные шары.

Стасик после отбоя помыл ноги в деревянной колоде за домом, пришел в палату и поскорее бухнулся в постель, чтобы не видеть Бледного Чичу и его приятелей. И конечно, тут же вскочил! А они хохочут, прыгают, верещат: «Матрос Вильсон в Сиксотное море поплыл! Забыл, где сортир!..»

Стасик не сдержался, заплакал.

Вошла Дуся, без слов разобралась, что к чему, Стаськину мокрую простыню сняла с матраса, огрела ею по спине Чичу. Постель принесли другую. Чича ненатурально ныл:

— А я-то чё? Сперва докажите!

К начальнику Чичу, конечно, не повели. Если каж-

дого за всякие проделки водить к начальнику лагеря, очередь получится больше, чем в хлебный магазин... А днем на заборе появилась надпись: «Вильсон — сиксот».

Они, дураки, думали, что «сиксот» — это который напускает в постель. А на самом деле такое ругательство пишется через «е» — «сексот». Значит — «секретный сотрудник». Тот, кто в лагере доносит на своих начальству. Не в пионерском лагере, конечно. Стасик знал про такое от Юлия Генриховича.

Стасик никогда не жаловался, хотя порой от Бледного Чичи, от его дружков Тольки Дубина, Генки Мячика и длинного придурка по кличке Хрын житья не было. Бить почти не били, а доводили. Исподтишка. Чича был в лагере старожил, ему поддакивали, шуткам его весело смеялись. Ну а Скицын — кто он такой? Тихая амеба, глаза на мокром месте...

Стасик приспособился жить, как безопаснее. Днем — в гуще своего отряда, поближе к вожатым. На глаза им не лез, но и далеко не отходил. Или наоборот, возьмет в лагерной библиотеке книжку и спрячется подальше в кусты, где никто не видит... А потом нашел он совсем замечательное убежище.

Лагерь находился на краю деревни Кошкино, в двух длинных дощатых домах. А еще он занимал на лето деревенскую школу — маленькую, вроде той, в которой учился Стасик. На нижнем этаже там обитал первый отряд, а на верхнем была пионерская комната и жили вожатые. Там же на широкой площадке у лестницы стоял стол для пинг-понга. Большие ребята из первого отряда младших в «наш дом» пускали неохотно. А уж к пинг-понгу вообще сунуться не давали. И только на Стасика не обращали внимания. Сидит в углу смирный сверчок с книжкой, не мешает. Иногда за мячиком сбегает, если тот ускакал далеко.

Игра здесь шла часами, и Стасик тоже сидел подолгу. То в книжку заглянет, то смотрит, как прыгает через сетку туда-сюда веселый белый шарик. Чтобы самому поиграть, Стасик не мечтал. Но приятно было иногда просто подержать в руках твердый целлулоидный шарик. Такой гладкий, легонький и даже будто живой. Словно из него вот-вот пушистый цыпленок проклюнется.

А Чича один раз сунулся, так сразу по ступенькам

застучал — от пенделя, который дал ему командир Костя Каширов.

...Но однажды Чича довел Стасика так, что никаких сил не стало. Подучил он Хрына, когда Стасик дежурил в столовой, натянуть в дверях бечевку. Вот Вильсон и грохнулся со стопкой алюминиевых мисок. Шум, лязг, локти и колени в синяках. А тут ему кто-то еще остатки компота вылил за майку. Дежурная вожатая наорала на Хрына, а Чича опять ни при чем. Ухмыляется, белыми ресницами хлопает... У Стасика даже злости не осталось, только появилась такая тоска, что хоть пешком домой топай за полсотни километров... И впервые он до горьких слез, отчаянно затосковал по дому. По маме и даже по Юлию Генриховичу. И по своей улице, и по Андреевскому саду с пыльной травой, жесткой желтой акацией и футбольным гвалтом. Там, бывает, и стукнут сгоряча, но специально никто не издевается.

После отбоя Стасик тихо-тихо плакал в подушку. На следующий день свет ему не светился, хотя слез уже не было. А после ужина, в «свободный час» перед сном, Стасик опять сидел в уголке недалеко от стола с пинг-понгом.

В два широких окна светило вечернее солнце, и шарик — живой, прыгучий — казался золотистым. Но теперь ничто не радовало Стасика. На коленях он держал «Сказки» Андерсена, однако в книжку не смотрел. Он мечтал о другой сказке: произнести бы волшебное заклинание и оказаться дома...

Шарик вдруг отлетел в сторону и запрыгал вниз по ступенькам. Стасик — следом. Это у него само собой всегда получалось — стрелой за шариком, если тот ускакал. Хоть ты грустишь, хоть читаешь, хоть задумался — все равно!

Шарик с последней ступеньки прыгнул к стене, отскочил и закатился под лестницу. Стасик полез, конечно, следом. Под лестницей — какие-то корзины, ящики и мешки. И темно...

— Эй, Вильсон! Чего застрял?! — кричали сверху.

— Сейчас... Он куда-то... завалился... — отвечал Стасик, но негромко и силло, потому что здесь, в пыли и сумраке, на него стала наваливаться новая тоска. Отчаянная печаль одиночества. Он машинально шарил в темноте, а слезы теперь без удержки бежали на голые руки.



Костя Каширов громко сказал наверху:

— Да ну его, он там копается. Давайте запасной...—
И опять часто застучало по столу.

Стасик же все ползал по пыли, царапаясь о корзины, а душа его изнемогала от горечи. Не нужен был ему этот проклятый лагерь. Не нужны ни сытные обеды с компотом, ни прогулки в настоящий лес, которого он раньше никогда не видел, ни купанье в пруду, где он почти научился плавать... Ничего не надо! Не может он один!

Стасик нащупал наконец шарик, но из-под лестницы не вылез, а съежился здесь между ящиком и корзиной, прислонился к скользкой бутылки. Взял шарик в ладони — легонький, гладкий, теплый. Опять подумалось: будто живой. И оттого, что не было рядом никого-никого, только этот вот шарик, Стасик погладил его и сказал, как пригревшемуся котенку:

— Маленький ты... хороший...

И снова поднялась в нем такая печаль, что, казалось, весь мир заполнила. Понеслась до неба — до луны, до звезд, до солнца, которое тускнело, как закопченная керосиновая лампа. И даже странно, что нигде ничего не откликнулось, не застонало в ответ... А шарик затеплел в ладони еще сильнее и будто шевельнулся. И спросил неслышным, но отчетливым голосом:

— Ты кто?

2

— Ты кто?

Стасик почти не удивился. Слишком плохо ему было, не до удивления. Но все же он растерялся немного. Сказал шепотом:

— Я... Стасик...

— Стасик — это кто? — Нет, не голос это был, а будто чья-то чужая мысль проникала в Стасика, щекотала в голове.— Стасик — это шарик?

— Сам ты шарик,— уже не сказал, а скорее подумал Стасик. Не обидно, а ласково, как неразумному малышу.

— Конечно,— отозвался тот.— Я шарик. А ты?

— Я... мальчик. Разве не видишь?

— Что значит — «не видишь»?

Ох, да у него же и глаз-то нет. И темнота здесь...

И вообще — что же такое делается? Правда, что ли, шарик живой? Или в мозгах у Стасика что-то расклеилось? «Ну и пусть,— сумрачно подумал он.— Хуже не будет, потому что некуда хуже-то... А может, это я просто сам с собой разговариваю?..»

— Что значит — «не видишь»? Не ощущаешь импульс?

— А что такое импульс?

— Ты послал импульс. Очень плохой, с отрицательным потенциалом. И был резонанс, но без радости...

— Чего? — прошептал Стасик.

— Я подумал, что ты можешь погаснуть.

— Могу... — Стасик всхлипнул.

— Не надо. У нас резонанс. Тебе плохо — и мне плохо. Но с двух точек мы можем изменить частоту и трансформировать спектр. Или, в крайнем случае, нейтрализовать негативный фон...

— Не понимаю тебя,— вздохнул Стасик.— Ты будто с Луны свалился.

— Луна — это что?

— Ну что... планета... То есть шар такой, вокруг Земли летает... А Земля вокруг Солнца... Да я просто так сказал!

— Подожди. Я прошупаю твои локальные импульсы... Понял! Земля — голубой шарик. Луна — серый шарик. Оба — неконтактного типа... Нет, я не с Луны. Я вообще с другой грани Кристалла. Было трудно пробить межпространственный вакуум...

— Ты можешь по-человечески разговаривать? — жалобно спросил Стасик.

— Что такое «по-человечески»?

— Ну... от слова «человек». Не знаешь, что ли?

— Мальчик — это человек?

— Да... Только который еще не взрослый.

— Не достигший Возрастания? Тогда понятно... — Стасик ощутил в шарике вполне мальчишечий живой вздох.— Ясно, почему у нас резонанс... Тебе очень плохо?

— Еще бы...

— Ты выбит из привычной системы координат и лишен возможности принимать позитивные импульсы. Я правильно сделал вывод?

— Не знаю... Чича все время привязывается, гад такой...

— Подожди... Гад — это существо, обитающее во влажных областях голубого шара.

— Да здесь он обитает, в лагере! Каждый день лезут, житья нет... Он да еще несколько... Хрын этот, полудурок...

— Тоже гады?

— Еще бы!

— «Лезут» — это что? Действуют негативными импульсами?

Стасик опять вздохнул, вытер о голое плечо мокрую щеку.

— А ты не можешь воздействовать ответно?

— Ага, попробуй! Если один...

Шарик опять будто шевельнулся в ладони.

— Один и один — это не один. Ты и я... Можно рассчитать систему нейтрализации вредного воздействия гадов. Если они активно нарушают гармонию локальной структуры, можно расщепить их до уровня первичного вещества.

— Как это?

— Развеять в самую мелкую пыль!

— Ты разве можешь? — чуть усмехнулся Стасик.

Шарик ощутимо затяжелел.

— Еще не знаю, пока мой контакт на информационном уровне. Но можно попробовать.

Тогда Стасик испугался:

— Не надо... в пыль-то. Вот если бы напинать их...

— «Напинать» — это комплекс нейтрализующих мер ограниченного воздействия?

— Ага... — на всякий случай сказал Стасик. И подумал: «Это я сам с собой? Или правда — с ним?»

Шарик опять стал легким, но зато пульсировал в ладони, словно сердечко билось. Или это колотилась жилка под кожей? Чудо такое... «Один и один — не один. Ты и я...»

Шарик отозвался неслышно:

— Ты и я... Тебе лучше? Черное излучение прекратилось.

Стасик благодарно взял шарик в обе ладони. Как птенца... Далеко и хрипло затрубил горнист Володька Жухин. Отбой...

— Шарик, ты потом еще со мной поговоришь?

— Да.

Стасик сунул его под майку.

В палате он так и залез под одеяло — в пыльной

майке. Укрылся с головой, перепрятал шарик под подушку. И там опять обнял его пальцами.

— Ты меня слышишь?

— Да. Воспринимаю.

— Шарик... Ты кто? Ты по правде... такой?

— Я... такой.

— Ты откуда появился?

— Я не появлялся. Я т а м. И я здесь. Сразу... Стасик! Я пока сам не могу понять.

— Что понять?

— Много. Про тебя и про себя.

— Про меня... я могу объяснить.

— Лучше я сам прошушаю твое информативное поле.

А ты — мое.

— Я не умею...

— Тогда отключайся. У тебя циклический потенциал на исходе. Накопишь энергию — снова будет контакт...

Стасик хотел спросить о чем-то еще, но поплыл, поплыл в ласковой синей тьме среди неярких огоньков. Огоньки эти вдруг превратились в маленькие желтые окна. Словно засветился в сумраке уютный вечерний город... А потом всю ночь Стасику снились хорошие сны, но он их не запомнил...

Утром Стасик проснулся с ясным и радостным осознанием, что у него есть чудо, сказка, друг. Сунул руку под подушку.

— Шарик...

— Стасик...

И в этот миг Стасика накрыл тугой удар. Чужой подушкой.

— Вильсон! Чё возишься, опять поплыл в Сиксотное море? А ну, вставай! Матросы на зарядку не опаздывают, они герои!

И снова — трах подушкой! Так, что он слетел с кровати, а шарик запрыгал по половицам.

Стасик метнулся за шариком. Но тот был прыгучий, легкий, его пнули, поддали, он заскакал от койки к койке.

— Ура! Мышка, пасуй мне! Хрын, сюда, дурак!..

— Не надо! Отдайте! Ну, пожалуйста! Это мой!

— Не ври, Матрос!.. Ребя, это он вчера в первом отряде стырил! Они ругались: Вильсон пошел искать и не принес!..

- У, жулик! Прибрал — и под подушку!
- Ребята! Ну отдайте, он мой! Я его нашел!..
- А ты поймай! Попрыгай!

— Воришка зайка серенький за мячиком скакал!..

Как им доказать? Как их убедить — гогочущих, орущих, ненавистных? Чем хуже Матросу Вильсону, тем лучше им — веселящейся, вопящей толпе... Вертлявый Степка Мальчиков скачет по койке, как бешеный клоун, поднял над головой шарик:

— Эй, Матрос — накурился папирос! Поймай!

Стасик бросился к нему. А наперерез — глупый Хрын. Стасик пнул его так удачно, что он согнулся и засипел. А Степка кинул шарик другим!

— Отдайте!

— Что тут такое? А ну, смир-р-риа!

— Валерий Николаич, это Вильсон! То есть Скицын! Мячик у первоотрядников украл, а сейчас психует!

Валерий Николаевич — курчавый, цыганистый студент Валера, вожатый первого отряда — старался быть очень строгим. Иначе с этой «кучей опилков» не совладать.

— Кто украл? Ты, Скицын?

— Они врут! Я нашел!.. Он теперь мой, потому что... — «Господи, ну как объяснить? Как упротить?» — Не надо отбирать! Я за него все на свете отдам... Только пусть он будет мой!

Валера сунул шарик в карман. При общем нехорошем молчании. Стасик ухватился за его рукав:

— Валерий Николаич, отдайте! Я...

— А ну, отцепись! Смирно!

Стасик сказал с бессильным отчаянием:

— Какне вы все... прямо как фашисты.

Вожатый — бац его по щеке!

— Сопляк! Ты их видел, фашистов?!

— Видел... вы...

Снова — бац!

— Сволочи... — шепотом сказал Стасик. Было уже все равно.

— Во дает Вильсон, — заухмылялся Хрын.

Валерий Николаевич аж зашипел:

— В щелятник паршивца! Ш-шура...

«Щелятник» — это кладовка за столовой. Туда сажали тех, кто натворил что-нибудь ужасное: например, курил и колхозный сарай с сеном поджег, как двое из первого отряда...

— Посиди, пока начальник не приедет! А там разберемся... Не идет? Тащите!

Ох, как бился, как извивался Стасик. Никогда с ним такого раньше не было. Криком и слезами хлестали из него горе, тоска и ярость. Мама, мамочка, ну что же это со мной делают!

Его втокнули в изрезанную яркими щелями темноту, в запах гнилых рогож и сырых опилок. Сзади за дверь тяжело брякнула железная щеколда.

«Ох, Стасик, не дай тебе Бог услышать, как за спиной задвигается тюремный засов». И вот случилось. Услышал. Железный лязг разом отрубил все — как топором. Тихо стало, слезы кончились. Солнечные щели резали глаза. И не только глаза, а всего Стасика. Будто бритвами. Он зажмурился, закружилась голова. Стасик быстро лег на какие-то тряпки. От них воняло. Стасика затошнило, он перекатился на занозистые половицы. Лег ничком, уткнулся лицом в ладони. Он понимал, что дальше в жизни его ждет только плохое.

Шарик потерян навсегда.

За то, что обозвал Валерия, прощения не будет.

Лишь бы с мамой ничего не сделали. Могут ведь сказать: «Это вы научили сына обзывать советских вожатых фашистами?»

А с ним самим что сделают? Мальчишки про начальника лагеря говорят: «Малость контуженный». Ои, когда злится, начинает дергать веком и заикаться. А потом давит из себя шипящий шепот: выносит приговор...

Если исключат и домой отправят, это не наказание, а счастье. Но счастья, конечно, не дожждаться. Будет, наверно, самое жуткое — «стенка».

Есть такое специальное место на краю территории, за умывальниками, — разрушенный кирпичный сарай (раньше там колхозный локомотив стоял). У его стены начальник выстраивает шеренгой самых злостных нарушителей режима. И стоят они там по стойке смирно иногда час, иногда два, а иногда и половину дня. И если бы просто так и ставили, а то ведь без всего, даже без трусов. А другие, даже девчонки, ходят смотреть. Мальчишки боятся и жалеют, а девчонки хихикают. А те, приговоренные, шелохнуться не смеют — хоть солищепек, хоть комары. Потому что тех, кто не стоит смирно, начальник, если узнает, ведет «на беседу» в свою комнату. Через весь лагерь...

Дома Стасик не знал никаких унижительных наказаний. Отчим, хотя и рассказывал не раз, как его драли, сам никогда Стасика так воспитывать не пытался. Случалось, что заорет и даст пинка или тычка между лопаток. Но это даже не наказание, а просто ссора. Стасик в таких случаях отлетал в сторону и кричал в ответ что-нибудь такое: «Не имеете права, не отец! Подумаешь, размахался!» От мамы тоже изредка попадало — если у нее лопнет терпение, когда Стасик долго не идет за хлебом или «приклеился к книжке, а на уроки ему наплевать». Мама скручивала жгутом фартук и в сердцах — трах ненаглядное чадо по рубаше. Ну и что? Впервые, фартук тут же раскручивался, во-вторых, Стасик хохотал и удирал...

К стенке Стасик, разумеется, не пойдет. Будет биться до смерти (оказывается, есть минуты, когда ее и не боишься, смерти-то)... Но только вот сил уже нет, чтобы отбиваться от врагов... Стасик заплакал и перевернулся на спину.

Щели погасли — солнце, наверное, в тучу ушло. И темнота теперь была глухая, тесная — давила, словно Стасика землей засыпали. Это был глухой сумрак неволи. И с той минуты Стасик всегда будет бояться тесных и темных помещений... Он собрал остатки сил, поднялся, чтобы грянуться телом о дверь. Но только слабо стукнулся плечом о доски и лег тут же у порога... Не выбрался Матрос Вильсон из черного трюма...

Что было дальше, Стасик знал с чужих слов.

Начальник должен был вернуться к обеду. И раньше его на американском вездеходе «додж» приехала в лагерь по каким-то делам важная женщина из профсоюза. Она была знакомая Юлия Генриховича, и тот уговорил взять его с собой, отпросился на работе. Мама приготовила для Стасика письмо и гостинцы. В лагере отчим спросил, где Стасик Скицый. Вожатые заюлили и хотели освободить его тайком. Но профсоюзная женщина почувала неладное, и они с Юлием Генриховичем пошли за вожатыми. В дверях кладовки женщина отпихнула Стасика на руки.

— Да вы что, изверги! Мальчик весь горит!..

В «додже» Стасика сильно тошило. И окутывал его липкий желто-зеленый туман, в котором трудно было дышать. Туман забивал горло и легкие несколько суток,

и в нем, будто написанное размытой сажей, висело слово «дифтерит».

Больница была маленькая, двухэтажная. Две палаты для мальчиков, две для девочек. Десять дней Стасик лежал в палате «для тяжелых». Давил жар, давило удушье — темное, как запертая кладовка. Черное пространство, заключавшее в себя Стасика, иногда вытягивалось вместе с ним в длинную кишку, сворачивалось петлями, завязывалось в узлы. Натягивались жилы, выворачивало душу тошнотворным отчаянием...

Потом все это кончилось, он стал поправляться и сделался жильцом палаты «для выздоравливающих». Но впереди было еще больше месяца больнично-карантинного режима.

Ребята в палате оказались разные — и малыши, и два совсем больших семиклассника. Но все неплохие, спокойные, никто никого не обижал (был только вредный Эдька Скорчинов, но его скоро выписали). Девчонки из палаты напротив — тоже ничего. Иногда собирались вместе, рассказывали сказки и всякие истории. И вообще, говорили про всякое. В том числе и про бессмертные души — после того, как в «тяжелой» палате умер шестилетний мальчик и его осторожно вынесли под простыней на носилках...

А еще была книга. Про мальчика Кима.

«Я Ким, Ким, Ким!...»

«Я — Стасик...»

«Я — Шарик...»

Теперь-то Стасик понимал, что Шарик — это был просто бред в начале болезни. И все же он вспоминал о нем с горьковатой нежностью.

В больнице тоже были шарики — бильярдные. Настольный бильярд стоял в коридоре второго этажа и скрашивал жизнь ребятам кто постарше. И Стасику иногда выпадало поиграть. Шары были совсем не похожи на пинг-понговый мячик — стальные, блестящие, тяжелые. И все-таки однажды один вдруг затеплел и знакомо толкнулся в ладони у Стасика. Тот испугался, быстро положил его на зеленое сукно. А потом пожалел об этом и подолгу держал шарики — то один, то другой. Но они были холодные...

Выписали Стасика к августу. В первые дни он просто растворялся в тихом счастье оттого, что наконец дома. А потом стало скучнее. Шли затяжные дожди, маме

нездоровилось, она часто сердилась. Не на Стасика, а так, вообще. А он, отстоявши в хлебной очереди и натаскавши бидоном воды, читал десятый раз «Ночь перед Рождеством» или рисовал, а по вечерам вспоминал больницу палату, из которой недавно мечтал вырваться. Там — ребята, разговоры. Уютно там вместе. А в коридоре шарки — шелк, шелк... И Стасик начал мастерить свой бильярд. Возился до самых школьных дней. А там этот капсюль подвернулся. Трах — опять беда!

...А может, и не беда? Может, напротив, маленькая награда за несчастливое лето? Тихий солнечный день с беззаботностью и свободой...

Берег

Баннй лог лишь вначале казался переулком. А потом стало ясно, что это улица: не спеша она прыгает по буграм вниз, виляет и не кончается. Каменные плиты, лесенки и заборы — в пятиках от солнца и тополей. Семена плывут в тихом воздухе... Чудо что за улица! Даже все плохое, что вспомнилось, забывается здесь почти сразу. И опять — спокойствие, чуточку ленивые и хорошие мысли...

И люди здесь хорошие. Вон бабка на лавочке посмотрела по-доброму, а могла ведь проворчать: «Уроки учить надо, а не прыгать тут...» Двое мальчишек с удочками попались навстречу, глянули спокойно и тоже ничего не сказали. А могли ведь придраться: «Чего тут шляешься не по своей улице?»

Но Баннй лог закончился, разветвился на две улочки. Стасик свернул на правую, и она привела к палисаднику... К простому шаткому палисаднику, за которым Стасик увидел, что искал!

Блестел синеватыми стеклами дощатый зеленый дом с белыми карнизамй — длинный, с башенкой, на которой прожектор и мачта с тросами и фонариками, как на корабле. За домом виднелась корма высокой баржи, а к барже приткнулся грязно-белый пароходик с красными кругами на сетчатых перилах. На кругах надпись — «Хрустальный». Был он вовсе не хрустальный, а обшарпанный. Но все равно совершенно настоящий пароход. Он деловито посапывал. А по сторонам от пристанского дома — все то, что создает живописность portовой

жизни. Серый склад с громадной надписью «Не курить!», штабеля ящиков и бочек с рыбным запахом, мотки толстого троса, вытасченный на берег катер и даже метровый якорь-кошка, с четырьмя ржавыми лапами,— он валялся в лебедке, как самая обыкновенная вещь.

Стасик пролез между расшатанными рейками палисадника. Оглянулся: не погонят ли? Но гнать было некому — безлюдье. Он потрогал сухой теплый якорь и наполнился удивительным чувством: этакой причастностью к дальним плаваниям и приключениям. Правда, не было горластых чаек и шума прибоя, по ящикам и в траве скакали сухопутные пыльные воробьи, а недалеко от якоря паслась коза. Но даже эта домашняя умиротворенность была Стасику по душе. Так и должны выглядеть маленькие пристани. Будто в книжке про Тома Сойера и Гека Финна. В такой сонной тишине как раз и могут случиться всякие удивительные события.

Но пока ничего не случилось. Только пароходик гукнул гудком и бойко зашлепал колесами вниз по течению. Стасик помахал ему, потом посмотрел туда-сюда. Между ним и пристанью тянулся двойной рельсовый путь. Стасик встал на рельс, повернулся так, чтобы солнце светило в спину, и, балансируя, зашагал по рельсу. Туда, где виднелись кирпичные старинные склады, какие-то вышки, будки на столбах и круглый бак водокачки.

Слева блестела река, стояли у берега плавучие причалы. Справа подымались, как горная цепь, заросшие откосы. Они будто нарочно отодвинулись, чтобы на низкой части берега нашлось место для пристанских построек и рельсовых путей.

На ближней к воде колее стоял товарный состав. Стасик пошел вдоль щелястых коричневых вагонов, от которых пахло теплым железом и смазкой. Он, хотя и жил недалеко от вокзала, впервые в жизни видел так близко тяжелые колеса с могучими пружинами рессор и черной накипью на чугунных выступах...

Из-под вагона выбрался лысоватый старый дядька в замасленной куртке. Глянул на Стасика без удивления.

— Гуляешь?

— Ага,— кивнул Стасик.— Я смотрю. Я тут раньше не бывал.— Он сразу понял, что дядька не заругает, не прогонит, лицо у него доброе.

— Чего ж ты с сумкой, а не в школе?

— А прогнали,— безбоязненно сказал Стасик.

— Ну вот... Один раз прогонят, другой, так и начнешь болтаться...

— Да не-е... Это случайно!

— А газетки у тебя случайно нет? На самокрутку.

— Газетка имеется! — Стасик сел на корточках, расстегнул сумку и содрал с нового задачника обертку. Протянул дядьке клок с заголовком «Туренская правда» и обрывком названия статьи — «Сталин — наше зна...».

Дядька вытащил пачку махорки, свернул «козью ножку».

— Ну, гуляй! Да к колесам-то не суйся, а то скоро дергать будут. Иди вон туда, подале...

Стасик протопал еще шагов двести и увидел справа, на фоне репейно-бурьяновых зарослей, коричневый домик. Маленький, будто игрушка, с медным колоколом у крыльца, с черными буквами на пыльно-белой эмалированной вывеске:

Ст. Рька

Стасик подивился этой старине, сохранившейся от царского времени. И почудилось, что он не в родной Турени, а в каком-то полусказочном городке. Заколдованная солнечная тишь, таинственный безлюдный вокзальчик.

Понятно, что отсюда не ездили пассажиры, это перевалочная станция, грузы тут идут с воды на рельсы и обратно. А сейчас, во время мелководья, станцию используют просто как тупик для товарного порожняка. Но почему-то придумывается, что вот-вот выйдет на крыльцо похожий на Карабаса Барабаса начальник станции, зазвонит в колокол, из-за мыса покажется поезд с блестящим, как самовар, паровозом и нарядными вагончиками, выскочат пестрые пассажиры, расставят зеленые столы и начнут играть в пинг-понг. А на перроне затрубит и заушает барабаном праздничный оркестр — как в кинофильме «Золотой ключик»...

От маленькой платформы вела наверх деревянная извилистая лестница. Чтобы осмотреть все здешние места разом — и станцию, и пристань, и похожие на кирпичную крепость склады, Стасик решил забраться повыше. Во-он туда, где в стороне от лестницы есть удобный травянистый уступ.

Стасик поднялся. Сперва по ступеням, потом просто по склону. И вдруг понял, что сильно устал. И глав-

ное, отчаянно захотелось есть! Ну что же, все как в походе.

Стасик расположился на лужайке размером со стол для пинг-понга. Этот горизонтальный выступ берега среди чертополоховых джунглей словно кто-то нарочно сделал, чтобы сидеть и поглядывать с высоты. Стасик и поглядывал. И жевал «полдник» — два ломтика хлеба с маргарином, — мама перед школой положила ему этот припас в сумку... Эх, мама-мама, знала бы ты, где сейчас твой сын...

Но печальная эта мысль скользнула, не оставив горечи. Потому что хорошо было Стасику на спокойной солнечной высоте с искрами паутинок. Пространство уже наполнялось желтоватым предвечерним светом. Солище теперь висело невысоко от башен старинного монастыря, что поднимался над обрывом далеко за фермами деревянного кружевного моста.

Стасик слизнул с ладоней крошки, вытер пальцы о штаны и кинул вниз скомканную газету — обертку от бутерброда. Белый комок попрыгал по склону и застрял в чертополохе. Он Стасику напомнил белый шарик. Лагерь напомнил. А значит — и ненавистного Бледного Чичу с друзьями... Ну зачем вспоминать о них? Лучше бы их никогда на свете не было!

Шарик сказал тогда: «Развезть в самую мелкую пыль!» Это, выходит, на атомы?

Все, что есть на свете, состоит из атомов. Стасику это разъяснила соседка-восьмиклассница Люська Полтавская два года назад, когда американцы взорвали над Японией атомную бомбу. Ребята на улице тогда спорили, что такое «атомная» и почему она так здорово трахнула. Ну вот, Люська (она добрая и спокойная) подошла и рассказала про атомы: что они совсем крошечные, невидимые, меньше микробов, а сила в них громадная.

— Значит, я тоже из атомов состою? — осторожно спросил Стасик.

— А как же.

Дело было под вечер. Стасик тихонько пришел домой, приткнулся в уголке. Мама заволновалась:

— Ты что присмирел?

— А мы не взорвемся? Раз мы все из атомов...

— Боже ж ты мой, что это делается, — расстроилась мама.

А Юлий Генрихович объяснил, что атомы сами по себе не взрываются. Атомной бомбе нужны «соответствующие условия». Очень сложные и секретные. Лишь при них она сработает.

— Тогда хорошо,— успокоился Стасик.

— Чего хорошего,— сказала мама.— Сбросили не на армию, а на город, где мирные люди. Дети и матери. Они-то при чем?

— Да я не про то, что сбросили,— насупился Стасик.— Я про то, что хорошо, что не взорвемся...

Скоро японцы все сдались в плен, и Юлий Генрихович говорил, что атомная бомба тут ни при чем. «Эта страна была обречена ходом истории». Стасик был согласен: наша Красная Армия вполне могла победить самураев и без помощи американцев. Уж если Германию расколотили, то какую-то крошечную Японию... Но так или иначе, а была полная победа, и теперь каждый год третье сентября — праздник, нерабочий день... Ой!.. Да как же он забыл? Это же завтра! Совсем вылетело из головы из-за истории с капсюлем!.. Значит, завтра не надо идти в школу! А послезавтра эта история, скорее всего, забудется. Нина Григорьевна — она вовсе даже не злопамятная! Стасик на радостях дрыгнул ногами, завалился набок и... не удержался на выступе, покатился кубарем.

Нет, плохого не случилось. Кувыркнулся несколько раз, уцепился за бурьянные стебли, сел. Головой помотал: ф-фу ты, приключение какое... Помигал и увидел перед собой отвесную глинистую проплешину.

Глина была хорошая, светло-серая. Стасик поцарапал ее пальцем. Берег был обращен к северу, солнце его не сушило, и глина даже сверху оказалась влажная. А когда Стасик раскопал поглубже — совсем замечательная, размачивать не надо.

Жаль, что нет с собой весов, а то прямо здесь можно было бы заняться шариками... Ладно, бильярд — это потом, а пока он спит что-нибудь на память о сегодняшнем путешествии.

С глиняным комком Стасик забрался на прежнее место. Глина сперва крошилась под пальцами, потом стала плотной и податливой. Стасик слепил брусок, хлопал им о коленку (чтобы атомы спрессовались поплучше). На сером тесте отпечаталась кривая, похожая

на морского конька коросточка давней ссадины. Рядом с «коньком» Стасик задумчиво вдавил палец. Потом сорвал с травы похожий на гусиную лапку листок и тоже оттиснул. Все прожилки отпечатались!.. Стасику вспомнилась книжка про древние времена. Там была картинка с куском каменного угля — на нем отпечаток листа с дерева. С того, которое росло сто миллионов лет назад!

Значит, если бросить сейчас этот глиняный кусок, через миллионы лет он кому-нибудь попадет в руки — твердый, окаменевший. И этот кто-то увидит листик травы, которая росла... вот сейчас, при Стасике (а тогда это «сейчас» будет давняя древность, страшно подумать). И след от содранной и подсохшей коленки. И оттиск пальца. Юлий Генрихович рассказал, что узор на пальце у каждого человека свой, двух одинаковых не бывает...

И останется след от Стасика на веки вечные...

Мысли о вечности — вроде тех, что появлялись в больнице, — опять пришли к Стасику. Не страшные, чуточку печальные и серьезные. А мысль забросить своей рукой в эту вечность камушек была чуточку дерзкой, жуковатой, но заманчивой. Камушек со следом от него, от Стасика...

Но по оттиску никто не догадается, что это палец именно Стасика — мальчишки, который жил сто миллионов лет назад...

Стасик заволновался, заторопился, словно догадка о том, что надо сделать, могла ускользнуть. Достал пенал, ручку, раздернул шнурок на мешочке с непроливашкой. Из тетрадки вырвал листок с косыми линейками. Положил его на перевернутую сумку и, стесняясь, хотя никто не мог подглядеть, вывел чернилами:

«Стасик Скицын. 9 лет. 2 сентября 1947 г.».

Подумал и вдруг дописал — словно тревожно крикнул всему мировому пространству:

«Я — Стасик!»

Он оторвал бумажную ленточку от листа, скрутил в тугую трубочку, сложил ее пополам, вдавил в глину и скатал шарик. Ровный, гладкий шарик размером с небольшую картофелину. Снова отпечатал палец. Потом украсил шарик оттисками листьев и колосков травы, что росла под руками.

Красиво получилось. Кто найдет — обрадуется. Но

чтобы все это сохранилось навеки, шарик должен сделаться как камень.

В широких карманах Стасик отыскивал увеличительное стекло. В зарослях насобирав сухих стеблей. Солнце было уже невысокое, нежаркое, но все-таки помогло мальчишке: от горячей белой точки задымился и вспыхнул свернутый из промокашки жгут. И почти сразу разгорелся бледный бездымный костерчик.

Стасик не знал, как обжигают кирпичи и глиняную посуду. И решил: чем ближе к огню, тем лучше. Поэтому закатил шарик в самую середину костра. А с боков и сверху все подкладывал, подкладывал трескучие прошлогодние стебли. Они вспыхивали, обдавали сухим жаром лицо, покусывали искрами руки. Горячий воздух шевелил короткую челку и ресницы. И так было долго — может, полчаса, а может, час. Стасик не торопился. Сорнякового сухостоя вокруг хватало, собирать его было легко, а сидеть у огня интересно — как на привале среди гор и зарослей.

Наконец костерчик прогорел. Стасик палкой разгреб угольки и выкатил шарик на траву — как печеную картошку.

Шарик и был как обугленная картошка! Стасик-то думал, что увидит его коричнево-красным, будто кирпич или звонкая кринка. А он оказался черный, с прилипшей угольной крошкой и золой. Дымился... словно ядро, выстреленное из пушки!

Или — как маленькая планета, сплошь сожженная пожарами. Будто на ней взорвались атомные бомбы...

Стасик смотрел на шарик со страхом и жалостью. Так, будто в самом деле по его вине сгорела маленькая планета... Потом он закатил шарик в лопуховый лист, начал оттирать, чистить.

Сажка отчистилась, но красным шарик не стал. Местами остался черным, а местами — темно-серым. Стасик взял его в ладони — горячий, закаменевший. Обжигаясь, начал оттирать прямо пальцами. Запекшаяся глина местами заблестела, как отшлифованный чугун. И на ней опять проступили травянистый узор и отпечаток пальца. Ну вот, это уже лучше. И рисунок есть, и каменная твердость. Но не по сердцу Стасику был этот каменноугольный траурный цвет. Он достал из кармана кусочек мела и стал натирать им шарик. Белая пыль сыпалась на штаны, пачкала пальцы, а на глине

держалась плохо. Стасик вздохнул и опять обтер шарик ладонями. И... вдруг понял, что получилось хорошо! Шарик был теперь серый, с мягким отливом, как мамин беличий воротник. А в отпечатки набилась меловая пудра, и тонкие линии узора отчетливо белели на выпуклой поверхности. Ну, просто... как это называется? Ювелирное изделие!

— Вот какой ты славный получился... — Стасик побаюкал шарик, как живого. Тот был уже не горячий, а ласково-теплый.

Стасик лег спиной в траву. Затылок — на мягкой скатке из кителя, ботинки повисли над пустотой, за краем площадки. Солнце светило в левую щеку, а в высоте бледно голубело чистое небо с редкими искорками летучих семян. Шарик лежал на груди, Стасик придерживал его пальцами.

Глядя в небо, он думал: где лучше зарыть шарик, чтобы через сто миллионов лет его обязательно нашли? Наверное, все равно где. Теперь ведь не предугадаешь, что будет через такое бесконечное время. Можно закопать прямо здесь, на берегу. Но не хочется так сразу расставаться с шариком...

Интересно, кто его найдет?

А может, тогда уже и людей не будет?

Ну нет, люди будут! Иначе зачем стараться!..

Возможно, такой же мальчик, как Стасик, и откопает шарик. Повертит, раскокает, как яйцо. Прочитает: «Я — Стасик!»

...А где будет сам Стасик? Если и правда есть бессмертная душа, может, она превратится в воробья, чтобы мог подлететь и посмотреть на мальчика, который нашел записку? Или... а вдруг она превратится в самого этого мальчишку?

Или она уже никогда ни в кого не превратится, а будет лететь в бесконечности? Но зачем? Куда?

Если бы узнать все тайны! Если бы сквозь эту голубизну рвануться в мировое пространство и посмотреть: что там? Как там? Есть ли конец? Рвануться, как взгляд, как луч...

Почти остывший шарик вдруг затеплел опять.

— Ты — Стасик?

«Ты — Стасик?» — это неслышно шекотнуло грудь, отозвалось в голове. Как шевеление воздуха, как ше-

пот, как мысль. Сердце словно пропало, растворилось в пустоте. И вдруг взорвалось, затарахтело. Стасик хватанул губами воздух, стремительно сел. Шарик ска-
тился с груди в колени. Стасик схватил его.

И опять:

— Это ты? Стасик?

— Да... Да!.. А ты... ты кто?

— Я — Белый шарик. Разве ты забыл?

— Я... нет...

— Мы с тобой говорили, а потом ты пропал.

— Я... нет. Не пропал. Это тебя отобрали... То есть
его... Это был не ты!

— Нет, я.

— Почему ты? Тот — мячик... А тебя я только что
сделал.

Стасику почудилась терпеливая и снисходительная
усмешка:

— Это же все равно.

— Что... все равно?

— Что другой шарик у тебя в руках. Я в него...
вселяюсь.

— Как душа? — осторожно спросил Стасик. Сердце
колотилось уже не так сильно.

— Я... не знаю. Шарик у тебя — как приемник. Я все-
ляюсь и говорю с тобой. А без шарика нельзя.

Теперь он объяснял не так, как в первый раз, гораздо
понятнее.

— Значит, на самом деле ты не здесь? — слегка
огорчился Стасик.

— Нет, я здесь, с тобой. Но в то же время я на
своем месте в пирамиде.

— В какой пирамиде?

— В нашей... Где все знакомые шары.

— Не понимаю я, — вздохнул Стасик.

— Чего тут непонятного, — отозвался Шарик. И вдруг
признался тоном насупленного мальчишки: — Я и сам
толком не понимаю. Но говорят, что так надо — быть
в Кристалле на своем месте...

— Не верится что-то, — опять сказал (или просто по-
думал) Стасик. — Разве это можно сразу? Быть тут и
быть в каком-то кристалле?

— А что ли, нет?! А ты сам-то!

— Что? — Стасик уже не боялся. Удивлялся только.
И радовался чуду. — Что «сам-то»?

— Ты только что был сразу... ну, здесь, на месте, и в то же время летел, как луч. Как импульс!

— Это же я... просто думал! Мне это казалось!

— Ха! Назови как хочешь! А я твой импульс перехватил,— похвастался Шарик. И похвалил Стасика: — Ох и энергия у тебя! Вроде моей. Тоже все грани пробиваешь навывлет!

— Ничего не понимаю,— опять признался Стасик.

— Ну и не надо. Я потом объясню. Если сам пойму... Главное, что ты нашелся... Ты больше не пропадай. И не потеряй шарик, без него мне тебя не найти.

— Ладно. А зачем...— Стасик вдруг смутился, будто с человеком разговаривал.— Зачем ты меня искал?

— Я же тогда говорил...— Похоже, что и Шарик смутился.— Я хочу, чтобы «один и один — не один. Ты и я»...

— Дружить? — Стасик даже мысленно спросил это шепотом.

— Ага...

— А почему... ты со мной? Столько пацанов на свете...

— Я же и про это говорил. У нас резонанс... Понял?

— Да! — радостно сказал Стасик. Он не очень-то понял про резонанс, но понимал главное. Вернее, чувствовал: он тоже очень хочет дружить. С Шариком.

А тот вдруг сказал:

— Ой...

— Что?

— Мне надо отключиться. Сейчас у меня серия импульсов. Два — дальнему Зеленому шару, один общий, рассеянный, и еще один — на прием от Голубого номер три. Надо успеть...

— А если не успеешь?

— Влетит,— с явным вздохом отозвался Шарик.

— А ты надолго это... отключишься?

— По твоему времени... сейчас посчитаю... На полчаса!

— Я буду держать тебя в руках. Все время.

— Держи... А если меня долго не будет, позови сам.

— Как?

— Ну, вспомни про меня и пошли в пространство импульс: «Шарик! Шарик!..» Нет, лучше «Белый шарик», ладно? А то будто дворняжку... У меня в Кристалле белый цвет.

И он стал холодеть, остывать в ладонях.

— Ладно, Белый шарик, позову,— словно вслед ему, сказал Стасик. Он посидел еще тихо и задумчиво, потом оглянулся.

Был уже совсем вечер! Солнце, большущее и оранжевое, висело правее черных монастырских куполов и колокольни. Желтым огнем там горела река. Над головой небо посерело, и в воздухе погасли паутинки. Ох, да ведь уже наверняка восьмой час! А когда он еще доберется домой! Вот тебе и «нельзя расстраивать маму»!

Стасик суетливо развернул и надел китель, раскатал вниз штаны, подхватил сумку. По откосу, потом по лестнице выбрался на кромку обрыва. Здесь начиналась улица. Похожая на другие, такая же деревянная и в тополях, но незнакомая. Однако делать крюк и возвращаться к Банному логу не имело смысла. Через несколько кварталов он так или иначе выберется на улицу Стахановцев, которая тянется через весь город. А оттуда дорога известная.

Верхушки тополей еще светились, а дома и заборы уже накрыла густая тень. Стасик очень торопился и думал о предстоящей нахлобучке. И все же это было, конечно, не главное. Главным был Белый шарик — Стаськино чудо, Стаськина радость. Стаськин друг. Стасик нес его в ладонях у груди, как спящую ручную пичугу.

Улица уткнулась в длинный кирпичный дом (в нем уже светились окна). Стасик свернул направо, чтобы найти обход. И сразу увидел пятерых мальчишек. Они кучкой шли навстречу, занимая весь тротуар. Сумерки были еще светлые, и Стасик вмиг узнал двоих. Это были Бледный Чича и длинный глупый Хрын.

Рельсовый путь

Стасик никогда не бегал от врагов. Пускай уж лучше надают пинков и подзатыльников, чем слышать за спиной топот, злорадные вопли и гоготанье. Да и все равно не убежишь, если ты один, а тех, кто догоняет, много. Почему-то всегда в жизни так, что Стасик один, а их много.

Но сейчас-то он был с Белым шариком! И страх, что Шарик отберут, разобьют, растопчут, ожег его.

И все же Стасик сразу не побежал. Замер, и между ним и Чичиной компанией оказалось шагов семь.

— Х-хи-и-и,— сказал Чича, будто ждал этой встречи.— Попался, Матросик.— Его пыльно-белое, будто мукой обсыпанное, лицо перерезалось прямой щелью-улыбкой.— Зрав-желам, товарищ Матрос Вильсон!

Видимо, Чича и Хрын были не главные в этой компании. Двое других — повыше и постарше. А еще один, маленький, робко держался позади. Он был похож на случайно здесь оказавшегося «хорошего мальчика». Зато Чича, Хрын и два незнакомца — явно одного поля ягоды. С одинаковым выражением лиц: ленивые глаза, сморщенная ноздря и отвисшая губа, на которой если даже и не висит шелуха от семечек, то все равно кажется, что висит.

Чича, вертясь перед теми, кто повыше, радостно объяснил:

— Мы этого Вильсона в лагере доводили, он такой нюня. Прижмешь его, а он мигает и шепчет: «Ну что вам надо от меня? Что я вам сделал?» Потешно так...

— Ну правда, что я вам сделал? — спросил Стасик с последней надеждой. Может, среди них найдется хоть один человек?

Не нашлось. Глядели с тупыми ухмылками и ожидали забавы. Даже тот, маленький, не больше Стаськи. А Хрын сказал длинную и связную фразу, какие удавались ему крайне редко:

— Мы из-за тебя лишних десять дней в лагере сидели. Потому что карантин. У, паразит Вильсон...

Вот и причина, чтобы опять довести Вильсона!

Один из незнакомых, тощий, стриженный под машинку, лениво спросил голосом курильщика:

— Ребя, а чевой-то он держит, а? Яблочко, чё ли?

И тогда Стасик побежал. Рывком толкнулся назад, повернулся и кинулся прочь изо всех сил. Той улицей, по которой только что шел. Обратно, к реке. Потому что иного пути не знал. Враги бросились за ним не сразу. Секунды три обалдело топтались, решали. Ну, а потом, конечно, завали и — следом!

Сперва Стасику удалось оторваться от погони. Первый квартал он уделет — не заметил. А потом стал задыхаться. Сумка тяжело моталась на боку. Широкие штанины путались в ногах. Руками махать он не

мог — держал шарик. И сзади все ближе, ближе: «Стой, Вильсон! Стой, гад! Поймаем — ноги вырвем!»

Если бы ноги вырвали, ладно. А то ведь отберут шарик. Может, кинуть его в траву у забора или под лавку у калитки? А с ним, со Стаськой, пусть делают что хотят. До смерти не убьют. А потом бы он вернулся и отыскал шарик... Нет, украдкой не бросишь, заметят. Вот уже совсем за спиной топают, сейчас ухватят!.. Стасик рванулся вперед через силу!

А впереди обрыв! Река! Спасение! Вниз, в заросли и колючки, враги не полезут. Стоит ли ради какого-то Вильсона обдираться и ломать на крутизне шею?

Стасик без задержки ухнул с края берега в черный чертополох. Покатился среди свистящих, режущих листьев и стеблей. Застрял в репейниках. Цел... И шарик не выпустил.

Наверху перекликались:

— Эй, где он?

— Вон шевелится!

— Айда, парни, в обход! Мы по лестнице, а Бомзик и Хрын вон там, по тропинке!

— Ага, мы его в клещи!

Вот подлюги!.. Волки!

Стасик запрыгал с уступа на уступ. Сквозь бурьян, горько-пахучую полынь и крапиву. Напролом. И кое-где опять кубарем. Добежать бы до станционного домика. Или хотя бы просто до путей! Кто-нибудь из людей, может, встретится! Защитит... Стасику казалось даже, что он обязательно наткнется на доброго дядьку, которому днем дал газету...

Хрын с Бомзиком где-то застряли, а Чича и двое других бежали слева по лестнице и орали:

— Вот он! В кустах трещит!

Они отрезали путь к станции, и теперь Стасик бежал прямо вниз. К черному товарному составу. Откос кончился, Стасик вылетел к рельсовому полотну. К могучим чугунным колесам.

— Чича, скорей! Вот он, падла! — опять заорали слева.

Стасик прижал к груди шарик, замер на миг и быстро полез под вагон. Тьма с запахом смазки и перегретого железа охватила его. И жуть: вдруг состав поедет! И, подгоняемый этим страхом, Стасик через рельс вывалился на другой край полотна.

Здесь было светло. Близкая река отражала еще не погасшее небо. На другом берегу по-домашнему уютно играл патефон и мычала корова. А врагов от Стасика, словно крепостной стеной, отгородил длинный, замерший на путях товарняк.

Разумеется, ощущение безопасности было обманчивым. Секундным. Самое время — не расслабляться, а быстренько спрятать шарик под старую шпалу, что валяется в траве. Но... когда он, Стасик, сумеет вернуться сюда? И вдруг вернется, а шарика нет! К тому же сейчас появилась надежда уйти от врагов.

Стасик торопливо затолкал шарик в сумку поверх учебников, с трудом застегнул крышку. На той стороне, за составом, раздались голоса: «Ребя, он под вагоны залез!..» Стасик оглянулся. На плоском берегу у воды — никакого укрытия. В сотне шагов на обсохшем песке чернела старая баржа, но туда не добежать... А враги уже лезли под вагон.

Стасик оглянулся опять. За спиной увидел висячую железную лесенку — она вела в открытую теплушку. Он подпрыгнул, ухватился за скобу, зацепился ботинками за нижнюю ступеньку. Встал на ней. Посмотрел вдоль поезда. Из-под соседнего вагона высунулась голова. Стасик метнулся по лесенке и нырнул в сумрак теплушки.

Вагон был пуст. Пахло теплым деревом и сеиной трухой. Стасик лег на доски. Тихонько всхлипнул — не от слез, от усталости. Отполз подальше от входа. Теперь пусть ищут. Если даже станут заглядывать в вагоны, фиг заметят в темноте. Потопчутся и уйдут... И он уйдет. И наконец-то помчится домой!

Конечно, дома уже переполох, и мама спрашивает соседских ребят: «Стасика не видели?» И наверно, все теперь придется рассказать без утайки. Ну и пусть! Зато есть Белый шарик!.. А с Чичей и другими гадами Стасик еще посчитается. Когда подрастет и найдет верных друзей. Тогда эти подлые чичи, шпана проклятая, станут еще бледнее. Будут убежать, как зайцы, а когда попадутся, начнут просить прощенья...

От ненависти к Чиче и его гнусным приятелям Стасика тряхнуло, как в санках на ухабе. И, словно в ответ на этот толчок, задрожал и после короткого лязганья

дернулся вагон. И тут же донесся сиплый вскрик паровоза.

Стасик метнулся к выходу. Но снаружи неподалеку стояли пятеро, оглядывали состав. Стасик откачнулся в темноту.

Если бы догадаться, прыгнуть с другой стороны — и в заросли. Ведь широкие двери теплушки были отодвинуты с обеих сторон. Однако это Стасик сообразил, когда было поздно. Вагон снова дернулся, уже в другую сторону. И поехал!

Стасик ослабел от испуга. От такого грозного поворота событий. Он впервые в жизни оказался в идущем поезде. До сей поры он уезжал из Турени только в лагерь «Опилки», да и то на машине... Что же теперь будет? Куда его увезут?

Прыгнуть?

Но даже из неподвижного вагона прыгать высоко — еще подумаешь, прежде чем решишься. А на ходу... Правда, ход был еще не скорый, однако быстро нарастал. Все чаще постукивали колеса. Стасик опять бросился к выходу. Но в опасной близости от вагона проехал назад черный телеграфный столб. Стасик метнулся в другую сторону. Там почти вплотную к поезду свистели темные кусты.

Стасик сел посреди вагона. И подумал: «Все...»

Он вдруг полностью осознал то, что случилось. Все события дня были ловушкой для наивного третьеклассника Скицына. Подстроены коварной судьбой! Чтобы завлечь его, втянуть в это страшное путешествие, увезти из родного города...

О Белом шарике теперь Стасик не помнил. Такое отчаяние навалилось, что он и шевельнуться не мог. Только глазами беспомощно водил по сторонам.

Справа бежали назад черно-косматые джунгли откоса, слева все еще видна была река с причалами и баржами у берега. Потом ее закрыло темное здание склада с красновато светящимся тюремным окошком. А высокий берег отодвинулся, пропал, замелькали заборы, домики с огоньками, деревья.

Над деревьями ехала вслед за поездом большущая красная, похожая на выпуклый медный щит, луна.

Стасик наконец поднялся. Шагнул к дверному проему. Тот был перегороден деревянным брусом — на уровне Стаськиных плеч. Стасик положил на брус локти, лег



на руки щекой и стал с горькой безнадежностью смотреть на луну и на домики с желтыми уютными окнами, где жили под своими родными крышами счастливые люди. Он не плакал. Слезами все равно не остановить тысячетонную громаду товарного состава, который мчался в ночь. Состав просто не знал о мальчишке, не ощущал его...

Встречный воздух теребил Стасику полубоксовую челку, трепал широченные штанины. Черная земля пролетала внизу, и прыгать было немислимо. Смертельное дело... Да и куда прыгать? Где он? Может быть, эти дома и переулки уже вовсе не Туреи, а какой-то другой город... Или вообще все другое — другая страна, другая планета... Стало укачивать...

Уже потом Стасик сообразил, что, скорее всего, не было причины для такого отчаяния. Пристанская ветка не могла привести никуда, кроме главной станции. А отсюда до Стаськиного дома совсем недалеко...

Но разумные мысли приходят в нормальной обстановке. А сейчас в тряском, быстром вагоне, при этой чудовищно большой луне, что ухитрялась не отставать от поезда, Стасику казалось, что неумолимая сила уносит его в незнакомый безрадостный мир, навеки от дома...

Впрочем, кто знает! Возможно, он был прав. Не исключено, что на какой-то незаметной стрелке поезд в самом деле скользя бы на колею, ведущую в путаницу неведомых пространств. Особенно если это был тот самый поезд.

...В больнице, когда жар и удушье еще не отпускали Стасика, его несколько раз мучило видение. Сон — не сон, бред — не бред... Нет, не про узлы черного пространства, а другое — про поезд. Стасику казалось, что он лежит на ровном, вымощенном желтой плиткой полу. Пол этот бесконечный. Помещение такое, что не видно стен — только пол и низкий серый потолок (как он держится, такой громадный, если нет ни столбов, ни арок?). По желтому полу протянуты две нитки рельсов — прямо на плитках, без шпал. По рельсам тяжело и ровно движется поезд с черным паровозом без дыма. Стасик лежит на полу и боится. Нет, не того, что поезд наедет на него. Он боится непонятного. Ведь многотонный паровоз и вагоны движутся без опоры. Потому что под тонким полом — Стасик это

знает точно (даже видит!) — такое же, как здесь, пространство! И там на желтом полу тоже лежит мальчик (второй Стасик?) и тоже движется поезд. Но там — первый этаж, на прочной земле. А здесь-то как все это держится? И почему — абсолютно такое же, как внизу? Может быть, мир неуловимо раздвоился, как раздваивается, когда смотришь в стеклянную призму? Но в стекле — это лишь кажется, а здесь жуткое «по правде». И Стасик повисает в этой жути, как в обморочном безвоздушном пространстве...

Вот и сейчас ощущение старого «двухпространственного» бреда дохнуло на Стасика прежним страхом. И он уже готов был обессилению отдаться ему. Но ощущение нереальности вдруг разбила, развеяла картинка из прежнего, знакомого мира! Стасик увидел две редкие цепочки огоньков, убегающие в даль темной улицы. В конце ее желтовато светилось послезакатное небо, а на нем четко рисовалась тонкая, похожая на шахматную фигуру башня. Это была колокольня старой церкви, в которой теперь располагалась знакомая Стасику городская библиотека!

Стасик понял, что поезд по дуге огибает город и сейчас пересекает по насыпи улицу Стахановцев! В ее дальнем конце, у завода «Красный механик»! Значит, он еще не в дальних краях, а в своем городе! Почти дома! Ох, если бы случилось чудо и поезд стал! На секундочку!.. Ну, пожалуйста!!

Вагоны залязгали, напирая друг на друга. От резкого торможения Стасик полетел с ног, но, не чувствуя ушибов, тут же вскочил. И к двери! Теперь уже он не колебался ни мига. Ухнул вниз, на скользкую траву насыпи, покатился по склону, остановился в канаве, соображая: жив ли?

Поезд наверху опять загрохотал, двинулся. Стасик, постанывая, сел. Нет, ничего не сломано, ничего не болит слишком сильно. Только сердце колотится. Он встал, отряхнулся. Хлопнула крышка расстегнувшейся сумки. Стасик начал застегивать ее и только сейчас вспомнил про шарик. И понял, что его нет.

Раньше шарик округло твердел под кирзовым клапаном, а теперь крышка легла ровно и мягко. Стасик рванул ее, зашарил в сумке. Шарь не шарь, а шарик — не горошина, под книжки не спрячется...

Значит, вылетел при прыжке, при падении? Стасик

принялся ощупывать лебеду. Сперва рядом, потом по-дальше. Несколько минут ползал на четвереньках. Но даже днем шарик может легко затеряться в глухой траве. А когда сумерки... Стасик искал еще и еще. Потом слазил на насыпь. Но склон был ровный и скользкий.

Что же теперь делать? Не ползать же до утра. И все равно бесполезно... А тут еще кольнула суеверная мысль: может, и не надо искать? Дважды Шарик появлялся у Стасика, и дважды случалась беда. В тот раз попал сперва в щелятник, а потом в больницу, а сегодня — чуть не уехал неизвестно куда... И в обоих случаях все начиналось со стычки с Бледным Чичей!

Не хотелось верить, что Белый шарик — предвестник несчастий. Но... опасливое чувство уже заскреблось, не прогонишь. И если уж шарик исчез, надо ли искать, испытывать судьбу?

Да и домой пора. Ох как пора домой!!

Со смесью виноватости и опаски Стасик еще раз подумал: «Что поделаешь, раз он потерялся...»

«Один и один — не один. Я и ты...» — отозвалось в нем печальным укором.

«Но я же искал. Что поделаешь, раз без толку...»

Между темных заборов он выбрался на улицу. Никогда он здесь раньше не бывал, но, без сомнения, это была улица Стахановцев. Вон и таблички под лампочками на воротах. Стасик застучал ботинками по дощатому тротуару. Бегом, бегом. И через два квартала оказался у ворот завода «Красный механик». Здесь была конечная остановка автобуса, что ходил до вокзала. Повезло Стасику: почти сразу подъехала крытая полуторка — туренский автобус образца сорок седьмого года. Следом за двумя проворными тетками Стасик забрался в кузов. Поехали. Под брезентом качался керосиновый фонарь. Стасик вытащил из кармана всю мелочь и честно протянул кондукторше пятьдесят копеек:

— До Клуба железнодорожников...

У кондукторши на шиурке поперек груди ролики разноцветных билетов. Она ловко наотрывала Стасику разных: белых, голубых, розовых. По такой хитрой комбинации сразу можно узнать, где сел пассажир и до какой остановки едет — чтобы никто не проехал дальше, чем заплачено.

— Держи... Ох и ободраний какой! Чего это на ночь глядя катаешься? Вот мать-то тебе задаст!..

Это уж точно... Да пусть! Лишь бы с ней ничего не случилось от расстройства и беспокойства... Скорей, скорей бы оказаться дома! И чтобы сразу сделалось все позади...

Автобус трясся, трясся, и наконец-то вот он, Клуб железнодорожников! От него еще четыре квартала — по Первомайской, по Смоленской... Вот и Стаськин дом, светятся два ряда оконных квадратов. А Стаськины окна не светятся! Что случилось?

Он опять пропустил бегом. У калитки плавала в темноте красная звездочка папиросы. Это... да, это Юлий Генрихович!

Стасик, часто дыша, встал рядом с отчимом. Виноватый, с тоскливой тревогой, но еще без слез.

Юлий Генрихович сказал тихо и не сердито:

— Где же это ты гулял, а?

Чтобы объяснить все разом, Стасик выговорил обреченно и торопливо:

— Заблудился. Пошел к реке, а там все незнакомое... А потом пристали там одни... которые еще в лагере... Меня с уроков прогнали, вот...

— Да знаю... Учительница твоя приходила...

— А мама?..

В этом вопросе было все. Знает ли мама? Что с ней? Очень ли беспокоится за него, за Стасика? И почему в окнах нет света?

Юлий Генрихович затянулся в последний раз, осветил огоньком впалое лицо. Отбросил папиросу.

— Мама не знает... Ее еще днем на «Калужку» увезли. Видишь, как получилось: пораньше, чем ждали... — Он положил на голову Стасику тяжелую теплую ладонь. — Сестренка у тебя появилась. Катенька...



Часть 2

ШАРИК

Поиски

«Ты кто?»

«Я... Стасик...»

«Стасик — это кто?»

«Я... мальчик. Разве не видишь?..»

Мальчик... Что это такое? Вернее, кто? Существо из непонятного мира, где иное пространство, иные измерения и, кажется, иное время. Но именно существо! Значит, не только шары могут думать, чувствовать, жить. Мальчик — тоже! Ведь недаром у него с Белым шариком возник резонанс...

Сначала это был резонанс печали и одиночества. Белый шарик испугался, что Стасик может погаснуть, как (если верить рассказам) гаснут шары под черным покрывалом. Но ведь «один и один — не один». Это общая формула для всех миров. И Шарик ощутил, как в мальчике Стасике тает горькое чувство. Черный импульс рассеялся, теплые лучи осторожной радости пошли от Стасика в пространство, пушисто зашекотали Шарика

Потом, когда мальчик Стасик ослабил импульсы активного общения и пригласил сознание, он все равно сжимал крошечный твердый шарик ладонью. Белому шарiku было уже понятно, что такое ладонь, и он ощущал на себе ее тепло. Он совсем отключился от связи

с другими шарами, и они еле докричались, чтобы он не прозевал тройной импульс от системы Оранжевых шаров. Белый шарик не прозевал: принял импульс и отразил, как полагалось, в район Большого пятиугольника, но сделал это машинально. А всем своим существом он жил сейчас в ладони мальчика Стасика, где ровно толкалась горячая жилка.

По этой жилке, потом по другим жилкам и нервам Белый шарик тихим импульсом-разведчиком проник в ту область, где у Стасика — в том же ритме, что и жилка под кожей,— тихо пульсировало информационно-контактное поле. Оно теперь дремало, и Шарик без препятствий читал и запоминал то, что было основными понятиями Стасика: «Человек», «Мальчик», «Земля»... «Мама», «Дом», «Школа»... «Отметки», «Враги», «Кино»... «Солнце», «Книжки»... «Утро»... «Душа», «Друг»... Два последних понятия особо заняли внимание Шарика. В них были неясность и беспокойство. Что такое «Душа», не понимал, видимо, и сам Стасик. А «Друг» — наоборот, очень понимал, только от этого не делалось легче, потому что вместо друга была у Стасика только мечта о нем. Окружавшие Стасика мальчики не укладывались в параметры понятий о друге. И мечта была похожа на ячейку Всеобщей Сети, не заполненную необходимым импульсом.

Но сейчас... «Один и один — не один, ты и я»...

Шарик не просто читал понятия Стасика о всяких вещах и явлениях. Не по отдельности. Они цеплялись друг за друга, переплетались в сложные узоры, узоры эти рождали новые картины и мысли. И Белому шарiku уже казалось, что он разбирается в жизни Стасика и вообще в жизни тех, кто называются «человеки». Мало того, появилось даже ощущение, что все это ему смутно знакомо. Словно сам Белый шарик жил когда-то на Земле и был мальчишкой. Конечно, это просто сказывалось явление «отраженной памяти», но все равно было приятно. Лишь одно царапало радость Шарика — виноватость, что он без спроса влез в сознание Стасика и будто подглядывает в щелку. Но с чего бы это? Шары не ведали такого чувства, оно было чисто человеческим. Неужели Белый шарик заразился им, разбираясь в мыслях и ощущениях земного мальчика?

Ну и ладно, пусть заразился! Легче будет понимать Стасика... А чтобы ничего не царапалось в душе (если

она есть у Шарика!), утром, когда Стасик проснется, Белый шарик ему во всем признается. И расскажет про себя Стасику тоже все-все! И тогда уж они действительно станут «один и один — не один».

...Но утром было не так.

— Шарик...— услышал он и бросил импульс ответа:

— Стасик!..

И тут же тугой удар гравитации скомкал, погасил на миг сознание. А потом все оказалось другим. Маленький твердый шарик был уже не в ладони у Стасика. Он метался в тесном пространстве, его то и дело охватывали волны липкого злобного излучения. «Вильсон! Вильсон!» — радостно пульсировало в них, но это была нехорошая радость, чужая. А сигналы Стасика пробивались издалека — жалобные, отчаянные! Потом судорожно метнулся черный импульс одиночества — как последний крик. И маленький целлулоидный мячик облепила глухота. Белый шарик ушел из него, съежился сам в себе, в центре пространственной пирамиды, а с ее вершин тормозили его заботливыми вопросами большие шары: «Что с тобой, малыш? Что случилось?»

С ним-то ничего! А со Стасиком? Какая беда его подстерегла? Снова те, кто назывался «гады»?

— Отстаньте от меня, пожалуйста,— сказал Белый шарик, но без грубости, а так печально, что большие шары смущенно примолкли.

Он продолжал делать свое дело: излучал и принимал импульсы, вплетал их во Всеобщую Сеть, потому что знал — для этого он и есть на свете. Но сейчас удачные комбинации и ощущения резонанса не радовали его. А просчеты не огорчали.

Все свободное время (а его было немало) Белый шарик искал Стасика. Как искал? На ощупь. В памяти его остался след прежнего импульса, и по нему Шарик снова уходил в тот мир, где жил Стасик. Нечувствительно для этого мира Белый шарик ощупывал его лучами-анализаторами. И понимал все больше и больше. Он разгадал, что такое буквы и как из них складываются слова, которыми можно надолго (может быть, навечно!) записать какие хочешь мысли. Научился он проникать на полки хранилищ, где стояли тысячи книг — пачки плоскостей, усеянных словами-мыслями. Шаря лучом в толще этих спрессованных листов, он мгновенно прочитывал книгу за книгой и узнавал такое, о чем,

наверно, и слыхом не слыхивал никто из самых умных и старых шаров. Например, об атомах и молекулах, о белках и хитростях мельчайших клеток, из которых на Земле состояло все живое. В том числе и мальчики.

Шарик поражался сложности и громадности Стаскиного мира, который сначала показался ему таким крошечным.

Но этот мир жил сам по себе, не вступая с Белым шариком ни в какие контакты. Просто не замечал его. И не мог ответить, где затерялся мальчик Стасик.

Связаться со Стасиком можно было лишь через какой-нибудь маленький шарик, если Стасик возьмет его в руки. А как угадать этот миг? Белый шарик проникал то в костяные шары, которые гоняют длинными палками по сукну, то в мелкие подшипники ребячьих самокатов, то в пластиковые шарики, скачущие по твердым столам. А чаще всего — в резиновые мячики, — они то и дело оказывались в мальчишечьих ладонях. Белый шарик ощущал только тепло этих ладоней и ответно теплел сам. Но резонанса не получалось.

Только один раз, когда он проник в тяжелый стальной шарик, показалось, что шевельнулся, затрепетал ответный импульс. Но это лишь на полмгновения. А потом опять пусто и глухо...

Наступил момент, когда Белый шарик научился видеть земную жизнь. Слово «видеть», конечно, не точное. Это не было человеческим зрением. Но все-таки теперь Шарик различал не только черные буквы на белых листах, но и все, что было вокруг точки, которую нащупывал импульс. Шарик часто наблюдал, как на улицах играют мальчики. Он даже слышал их разговоры. Среди этих ребят были и Стасики. Но который из них его Стасик? Шарик ведь не знал, как он выглядит. И никто из Стасиков — даже с мячиком в руке — на зов Белого шарика не отвечал.

...Большие шары волновались, тревожились, возмущались:

— Почему ты все время отвлекаешься?

— Куда ты рассылаешь такие сильные импульсы? Зачем?

— Надо, — рассеянно отвечал он.

— Что значит «надо»? Как ты разговариваешь со старшими! — Это, конечно, Близнецы.

— Уж не поисками ли Вечных Истин занято дитя? —

похохатывал Красный шар.— Что-то слишком часто оно витает в дальних областях...

— В наше время он давно бы заработал черное покрывало,— кряхтел Темно-красный шарик.

— Ой да хватит вам! Тоже мне, придумали буку!

— Кого?! — хором удивлялись шары. Потому что про буку не слышали. Это было из земных детских книжек.

— Ты тратишь неизвестно на что массу энергии,— объяснял Большой Белый шар.— Это недопустимо. Тебе не хватит ее, когда наступит момент Возрастания.

— Ну и что?

— Ну и... тогда может случиться, что ты просто перестанешь быть на свете.

— Ха! Так не бывает.

— Бывает. Было же время, когда ты не существовал.

— Но сейчас-то я существую!

— Но это сейчас, а...

— Ах, прекратите! Все равно он ничего не понимает,— стонали Желтые близнецы.— Пусть лучше скажет, что он ищет и в чем тут смысл,— советовал Темно-красный шарик.

В чем смысл! Если бы Белый шарик знал! Он искал не смысл, а Стасика. Потому что Стасик был ему нужен! Вот и всё!

И Белый шарик нашел его! Когда Стасик сидел на берегу, а импульс его летел опять в пространствах. Правда, теперь это был не черный импульс, не крик одиночества. Стасик словно что-то искал в гранях Великого Кристалла.

Белый шарик всем своим сознанием кинулся навстречу и оказался в круглом глиняном комке с запахом дыма и горелой травы.

— Ты — Стасик?

...Вот это была радость так радость! Но Белый шарик уже знал правила мальчишечьей жизни: они требовали сдерживать чересчур бурные чувства. Поэтому Шарик старался разговаривать спокойно, а порой и слегка снисходительно. Зато внутри у него все вспыхивало звездами горячего счастья. И Стасик, разумеется, тоже радовался. И все было замечательно, пока Белый шарик не вспомнил о серии импульсов, которые

сейчас надо было разослать другим шарам, чтобы в вибрации Всеобщей Сети не возникло аномалии. А то опять иачнется: «Тебя ничуть не волнует Великая Идея Всеобщего Резонанса. О чем ты только думаешь!...»

Он легко справился с задачей, вся комбинация решилась точно и стремительно. Даже Близнецы снисходительно похвалили:

— Вот если бы всегда так...

Но Белый шарик уже не слушал. Он был опять со Стасиком. Но теперь... Теперь все оказалось иначе!

Стасик уже не держал глиняный шарик в руках. Тот лежал в тесной темноте, под кирзовой крышкой старой полевой сумки. И трясся в частом ритме вагонных колес. Белый шарик понял, что Стасик едет куда-то в доме на колесах. Таких домов было много, их тащила за собой машина с ярким фонарем на круглом чугунном лбу. «Поезд!» — вспомнил название Белый шарик.

Но почему Стасик здесь? И отчего он в тихом отчаянье?

Это отчаянье Белый шарик ощущал, как свое. Но понять ничего не мог, спросить не мог. Ох, если бы Стасик догадался взять его в ладони! Но тот уже и не помнил про Белого шарика. Он изо всех сил не хотел ехать, хотел домой! А сильнее всего кричало в Стасике желание, чтобы остановился поезд.

Это желание Стасика Белый шарик опутал тугими жилками гравитационного поля и швырнул впереди паровоза. И содрогнулся от неслышного взрыва сожженной энергии. Зато локомотив увяз в невидимом препятствии, и поезд стал, грохоча буферами.

Стасик метнулся из вагона вниз! А потом... потом его опять не стало. Вокруг Белого шарика была только темная трава... Хоть сгни, хоть взорвись от истощения, на весь Кристалл, крика: «Стасик, где ты?»

Белый шарик не кричал. Бесполезно. Однако, если бы шары умели плакать, он заплакал бы горько, как забытый всеми на свете мальчишка.

Осень

1

Юлий Генрихович Тон застрелился в конце октября на берегу озера Саид-куль.

Осень стояла теплая, на озерах под Туренью охотники подкарауливали последние стаи гусей и уток, собиравшиеся для перелета на юг. В субботу Юлий Генрихович с приятелями уехал на Саид-куль, переночевал с ними в охотничьей избушке, а на рассвете, когда собирались на «утреннюю зорьку», отошел в заросли ольшанника. Там он поставил свою тулку прикладом в жухлую траву, нагнулся и нажал оба спуска.

Заряды крупной дробь-нулевки попали ему в висок.

Когда Юлия Генриховича хоронили, вместо головы у него был белый кокон. Виден был лишь костлявый подбородок с седыми колючками и нижняя губа — синяя, впалая. Стасику казалось, что здесь какая-то нелепость, обман, подмена. Что в узком, очень длинном гробу лежит не Юлий Генрихович, а кто-то совершенно незнакомый. Может быть, вообще не человек. Руки лежавшего были тоже незнакомые — желтые, застывшие.

От гроба пахло сырыми досками и едкой краской, которой эти доски — наспех, неаккуратно — вымазали. Сквозь жидко-красный слой проступали сучки и заусеницы.

Юлий Генрихович лежал дома двое суток, в комнате с завешанным пеленкой зеркалом. Стасик ночевал у соседки тети Жени, но днем старался быть поближе к маме. Мама в первый день сильно плакала, а потом как-то нехорошо успокоилась, будто закаменела. Стасик за нее боялся. А большого горя он не испытывал, только страх и печальное удивление...

В последний месяц своей жизни Юлий Генрихович беспробудно пил. Он любил выпить и раньше, но знал меру и после четвертинки обычно становился оживленным, разговорчивым. Случалось, конечно, что он скандалил, ругался с мамой, но это зависело не от водки, а просто от его настроения. Выпивка же, наоборот, делала его добрее. Но в конце сентября он запил глухо и как-то безнадежно. Приходил поздно, еле-еле держался на ногах. В ответ на мамины упреки силло говорил «заткнись» и добавлял какую-нибудь гадость. Валился на кровать и мычал во сне. Мама ложилась тогда на Стаськину кушетку, а он сам — на пол, на тощий тюфячок, и укрывался маминым полушубком. В комнате стоял тяжкий дух водки и грязного тела. Маленькая Катюшка в такие ночи почти не спала, плакала не переставая. Мама и Стасик по очереди качали кроватку.

А Юлий Генрихович вставал утром сумрачный, глухо молчащий. Брился, приглаживал щеточкой свой пробор, сам кипятил себе чайник. Съедал, запивая кипятком без заварки, свою хлебную порцию и уходил.

Иногда он пил и дома. Один или с новым приятелем по фамилии Коптелов. Юлий Генрихович называл его «Коптелыч». Это был маленький морщинистый дядька, весь какой-то дряблый: слезящиеся глазки, бесцветные, прилипшие к лысине волосинки, дребезжащий голосок, хлюпающие резиновые сапоги, от которых противно пахло. Работал он где-то завхозом. Мама терпеть не могла Коптелыча, еле-еле здоровалась, когда он приходил. Но Коптелыч не обижался. Хихикал, пытался шутить: «Вы уж, Галина Вик-ровна, не ругайте своих мужичков, не прогоняйте, голубушка...» Стасика пытался гладить по голове, тот шарахался.

Пил Коптелыч наравне с Юлием Генриховичем, но почти не пьянел, только голосок у него дребезжал сильнее.

Однажды, когда у отчима был редкий момент трезвления, мама сказала:

— Зачем ты с ним якшаешься. Он же наверняка это... с т е м и знает. Я видела его на улице с одним... который т а м работает. Который однажды нашу работу в библиотеке проверял...

Юлий Генрихович ответил с тяжелым равнодушием:

— А я знаю... Я в с е знаю...

— Потому и пьешь? — помолчав, тихо спросила мама.

— Они меня уже два раза вызывали. С работы... Мама выдохнула еле слышно:

— Господи, зачем? Все ведь выяснено. Ты же совсем... ни в чем... Чего им надо?

— Кабы знать, чего...— В голосе отчима появилось то насмешливо-болезненное удовольствие, с которым он раньше рассказывал о своих страданиях.— Ласковые беседы ведут, вокруг да около. Может, копают чего... Может, в сексоты планируют...

— Господи...

— Господи тут ни при чем. У них свой господь бог... Ты вот что, дай-ка мне лучше тридцатку. Последний раз...

— Юлик, последние деньги ведь...

— Ну, не ври, не ври,— сказал он добродушно.— У тебя припрятаны, я знаю.

Мама больше не спорила, дала. А вечером Юлий Генрихович заявился с Коптелычем. Оба уже «хлебнувшие», но не очень. Мама встретила их не сердито, даже с Коптелычем на сей раз поздоровалась нормально.

— Садитесь ужинать, я картошку пожарила...

Коптелыч, однако, скромненько притулился у двери, на крытом мешковиной сундуке, а Юлий Генрихович сел у стола, не снимая ватника. Сказал, глядя себе в колени:

— Ты вот что... Наши в «Метро» собираются, чтобы насчет поездки поговорить. На озеро... Ты это... пятьдесят рублей мне еще надо.

«Метро» — так называли забегаловку в подвале на углу Метростроевской и Первомайской.

— Ты же днем тридцать взял!

— Ну, взял! — с привизгиванием крикнул отчим. Видно, решил распалить себя.— Будто я не знаю, что у тебя еще есть!

— Да ведь до зарплаты неделя! Молока не на что будет купить!

— Дай...— тяжело сказал отчим.

— Нет...

— Дай!!

Стасик сжался на своей кушетке. Опять начинается...

— Ну, Юлий Генрич...— заерзал у двери Коптелыч.— Ну, ты это... Может, не надо...

Отчим грузно и медленно поднимался у стола. Он был все-таки пьян. Заметно теперь. Лицо красное, подбородок дрожит.

— Постыдись,— быстро сказала мама.— У тебя же дочь...

Он хрипло вдохнул воздух, шагнул к решетчатой кровати-качалке, опустил в нее растопыренную пятерню. Оскалясь, оглянулся через плечо:

— Придушу эту твою дочь! Если не дашь!

Катюшка проснулась, пискнула. Стасика вдавило в кушетку тугим ударом страха.

— Мамочка, отдай!

Мама рванула ящик комода, выхватила оттуда, бросила на пол две красные тридцатирублевки.

— Не трогай ребенка, зверь!

Отчим схватил деньги, пригнулся, суетливо запихал их во внутренний карман. Коптельч бормотал:

— Ну, Генрич... Ну, зачем так... Надо по-доброму, чего вы...

Мама, плача, схватила Катюшку, та раскричалась. Отчим выскочил за дверь, Коптельч, не разгибаясь, за ним. Стасик дрожал и всхлипывал. Не только от страха за Катюшку и за маму, а еще и просто от дикой несправедливости жизни...

Юлий Генрихович не появлялся дома два дня. И без него было лучше, спокойнее. Он пришел в субботу вечером, трезвый и какой-то оживленно-деловитый. Сказал маме небрежно:

— Ты уж прости меня. Сорвался...

— Никогда я тебя не прощу за Катеньку...

— Ну, как хочешь... Может, она сама простит, когда вырастет... А может, и ты простишь, когда с дичью вернусь. На сытый желудок люди добрые... А, Стасик?

Стасик затравленно молчал. Катюшка хныкала на руках у мамы. Отчим достал из кузеньки патронташ, снял со стены тулку.

— Ну, скажите «ни пуха, ни пера»...

Опять все молчали... Он неуклюже махнул рукой от двери, зачем-то подмигнул Стасику (или просто дернул веком). И ушел. Навсегда...

На похороны Стасика не взяли (да он и не хотел). Он остался нянчиться с Катюшкой. А чтобы ему было не так страшно и грустно, с ним осталась соседка тетя Женья. Стасик брал Катюшку на руки, когда она плакала, совал ей в рот соску-пустышку и даже сам перепеленывал сестренку.

— Какой ты у мамы помощник,— вздыхала в уголке тетя Женья. Она была пожилая и добрая.

Мама вернулась скоро. Похороны оказались малоллюдными и быстрыми. Не было ни речей, ни оркестра. Считалось, что самоубийца — это чуть ли не преступник, какой уж тут оркестр. Лишь друзья-охотники (мама это рассказала потом) трижды выстрелили над могилой из ружей.

Делать поминки мама не собиралась. Но трое мужчин, которых Стасик почти не знал, все-таки пришли с кладбища вслед за мамой. Откупорили бутылку, вскрыли охотничьим ножом банку камбалы в томате.

— Ты уж прости нас, Галина Викторовна, давай по русскому обычаю...

— Давайте,— покорно согласилась мама и тоже присела к столу. В этот момент появился Коптелыч. Потоптался в дверях, суетливо перекрестился, глядя в потолок.

— Проходите,— отрешенно сказала мама.

Коптелыч сел, выставил еще бутылку. И на этот раз быстро захмелел. Бормотал что-то, клевал носом. А когда все поднялись и решительно взяли его под руки, всхлипнул. Потом оглянулся на маму и проговорил с пьяной назидательностью:

— Из-за страха это он... Да...

— Из-за вас,— тихо сказала мама.

— Не-е... Ты, Внк-ровна, не думай, я не это... Нет...

Один из поминальщиков дернул его к дверн.

— Прикуси язык... Извините, Галина Викторовна...

Онн ушли. Мама взяла Катюшу и стала кормить грудью. Катюшка смешно чмокала и один раз тихонько чихнула... Она была славная. Совсем крошечная, но умная. В эти дни почти не плакала, будто понимала, что не надо прибавлять маме и брату хлопот. У мамы, когда она узнала про Юлия Генриховича, пропало молоко, и Катюшку сутки или двое кормили из бутылочки с соской. Мама боялась, что это навсегда. Но нет, кажется, дело поправилось. Стасик подошел, тронул мизинцем волосики на Катюшкином темени. Мама сказала:

— Сходил бы ты к ребятам, узнал бы, какие уроки заданы. Три дня ведь в школе не был.

— Ага... Я к Янчку схожу...— Стасик подумал и дернул с зеркала серую пеленку. Объяснил виновато: — Жить-то надо.

2

Стали жить втроем. Денег не хватало. То, что мама получила за свой послеродовой отпуск, были «кошачьи слезы». До первого ноября еще получали хлеб по карточкам отчима. Это было против закона, но продавщица Рая делала вид, что ничего не знает.

Из милиции вернули ружье Юлия Генриховича, которое сперва забрали для следствия. Отдали и велели сразу продать через комиссионный магазин — нельзя

держат дома оружие без документов. Заодно мама унесла в комиссионку и единственный приличный костюм Юлия Генриховича. Патронташ, сумку с сеткой для дичи и другие охотничьи принадлежности мама раздала приятелям мужа, которые заходили несколько раз. И остались от Юлия Генриховича кой-какая старая одежда, пустая куженька, бритвенный прибор да щеточка для волос. Прибор мама собиралась отдать брату Юлию Генриховича, если он приедет. Но Александр Генрихович не приехал, болел.

Еще у Стасика осталась на память об отчине книга «Ночь перед Рождеством». Но Стасик ее спрятал подальше. Всякое напоминание о нечистой силе и ночных страхах было для него непереносимо. Он боялся теперь темных углов, шагов за спиной, разговоров о кладбище. К этим страхам добавилась проснувшаяся опять боязнь закрытого помещения — та, которую он впервые ощутил в лагерном щелятнике. Когда ложились спать, Стасик просил маму оставлять приоткрытой дверь в коридор. А мама говорила, что из двери дует и Катюшка может простудиться...

Прошло три недели. Зимы все еще не было, снег иногда падал, но тут же таял. Темнело рано — когда идешь из школы, земля черная и небо черное, только из окон слабый свет, и от него чуть-чуть искрится подсыхшая слякоть. И вот однажды Стасик толкнул калитку, прошел по брошенным через доски лужам к своему крыльцу и там, сам не зная зачем, оглянулся. И сдавленно закричал: из-за темной поленицы поднималась узкоплечая фигура с наглухо забинтованной головой. Белый кокон жутко светился на фоне черного забора.

Стасик задергал ручку, а дверь была тугая, открылась не сразу. Он без памяти взбежал по лестнице, упал через порог в комнату. Мама схватила его:

— Что с тобой?! Стасенька!..

— Там... кто-то... — и он рыдал.

Появилась тетя Женя. Еле успокоили Стасика. Оказалось, что соседям привезли дрова, и дядя Юра, чтобы не развалилась поленица, прислонил к ней, торчком двухметровое березовое бревно. Белый кругляк и торчал, как голова.

Дяде Юре влетело от жены, тети Маруси, хотя он, конечно, был не виноват. А Стасик от стыда сопел и

прятал глаза, но прежние страхи его не отпускали. И через неделю мама сказала:

— Уезжаем мы отсюда, вот так. Договорилась я.

Бухгалтерша мебельной фабрики, где раньше работал Юлий Генрихович, согласилась обменяться жилплощадью. Ей, бухгалтерше, и ее матери была прямая выгода — и жилье будет просторнее, и к работе ближе. Конечно, обмен — дело хлопотное, надо получить разрешения и справки в милиции, в домоуправлении и у всяких других начальников. А те справок и разрешения давать не хотели. Но потом все-таки дали. Бухгалтерша выхлопотала на полдня фабричную полуторку, соседки помогли погрузить вещи. И вот Стасик, мама и Катюшка оказались на новом месте.

Эта комната была теснее прежней — большой, разгороженной надвое. И окна здесь неширокие, с чуть закругленным верхом и простым переплетом в виде буквы Т. И все-таки Стасику новое жилье понравилось.

К дому, где он прожил свои девять с половиной лет, Стасик привык, но нельзя сказать, что любил его. По сути дела, это был двухэтажный бревенчатый барак, до войны он служил общежитием для холостых работников железной дороги, а уж потом переделали под квартиры. В здешнем же одноэтажном доме — старом, длинном и с горбатой крышей — Стасик сразу ощутил живую душу. Видно было, что строили дом старательно, любовно, чтобы жить в нем долго и защищенно от невзгод. Невзгоды, конечно, дом не обошли, сейчас он обветшал, осел. Жестяные дымоходы на трубах и украшения водосточков проржавели и помялись. Резьба наличников и подоконных досок — деревянные цветы и листья — потрескалась и местами осыпалась. Но ощущение прочности и уюта осталось.

И — самое главное! — дом этот стоял в двух шагах от Банного лога. Катерный переулок, номер три...

В день переезда выпал наконец пушистый снег, засыпал крыши и деревья. И на следующее утро Стасик прошелся по всему Банному логу туда и обратно. Было все не так, как в прошлый раз, без травы и листьев, но все равно красиво и сказочно. Как на заграничной новогодней открытке: укутанный снегом городок на горках. Все сверкало, с веток сыпались блестящие струйки, и лодки у заборов спали под перинами.

Таилась тут и опасность: могло случиться, что снеж-

ные колпаки на столбиках ворот и палисадников напоминали Стасику о мертвой забинтованной голове. И случилось! Словно кто-то на ухо подсказал ему такое сравнение. Но Стасик не поддался этому «кому-то»: «Фиг тебе! Это шапки снежных гномов и Деда Мороза!» Он не хотел отдавать свою сказку.

И само название «Банный лог» он не стал теперь связывать с банями и рассказом Юлия Генриховича об арестованном архитекторе. Оттолкнул их от себя. Хватит!.. А через несколько дней узнал, что до революции на этой улице была жестяная мастерская и владел ею некий Спиридон Банных, отсюда и пошло название.

Про мастерскую рассказала Стасику его новая соседка, пятиклассница со странным именем Зяма. Зямой звали ее все в этом доме. Лишь мать — высокая и грозная на вид тетя Рита — иногда кричала на всю округу:

— Зинаида! Сколько говорить: брось книжку и марш в сарай за дровами!

Но Зяма не очень боялась матери. И уж совсем не боялась своей бабушки. А больше ей бояться было некого, жили втроем.

Была Зяма длинная, белобрысая, с тонким капризным голосом. И характер был капризный, хотя и не злой.

Когда Стасик сперва не поверил про жестяную мастерскую (разве будут сохранять название в честь какого-то мелкого буржуа?), она скандально закричала:

— Ну и подумаешь, ну и не верь! Если сам такой глупый, спроси Полину Платоновну, она здесь с революции живет!

Полина Платоновна тоже была соседка. Старая и одинокая. Она приходилась двоюродной сестрой чиновнику пароходной конторы Петру Марковичу Ткачеву, который в незапамятные времена владел всем этим домом (на воротах еще сохранилась ржавая табличка «Домъ П. М. Ткачева»). Жила Полина Платоновна в комнате с двумя окнами — такой же, как у приехавших сюда Скицыных. Комнаты эти соединялись дверью, а другая дверь вела от Полины Платоновны на общую кухню. Через кухню можно было попасть к Зяме, а дальше располагалась квартирка, где жили семидесятилетний Андрей Игнатьевич, его жена тетя Глаша и ее сестра

тетя Аня. Сплошные «тети». Андрей Игнатьевич, когда увидел Стасика, заулыбался редкозубым прокуренным ртом:

— Ну и добро... Будет в доме еще один мужик. А то ведь бабья республика.

— Ты молчи про республику-то,— цыкнула тетя Глаша.— Язык тебе не укорачивали... бóтало...

Почти все окна дома смотрели в Катерный переулок. А на дворе вдоль глухой стены тянулся навес, под которым хранились дрова, кадушки и старая мебель. Туда же были встроены дощатые сенцы с крылечками. У Андрея Игнатьевича крылечко, у Скицыных и еще одно — кухонное, через которое ходили к себе Полина Платоновна и Зямино семейство. Конечно, можно было пройти весь дом сквозь все двери, «навывлет». Но кому понравится, если через твою комнату шастают соседи. Маме и Стасику пришлось ходить на кухню через двор. Но это пока Полина Платоновна не сказала:

— Да не стесняйтесь вы, ради бога, ходите через мою келью. У меня же никогда не заперто, да к тому же днем я и дома не бываю.— Она, старенькая, седая, очень сутулая и со странно приподнятым плечом, все еще служила где-то машинисткой.

Мама обрадовалась. Потому что открывать дверь на двор — это каждый раз холоду напускать, а Катюшка и так нехорошо покашливала.

В комнате у Полины Платоновны Стасик всегда задерживался, чтобы поглазеть. Там столько интересного! Скрипучее кресло с потрескавшейся кожей и львиными головками на подлокотниках, пузатый резной комод с узорными кольцами из меди, на нем ларец со стеклянными окошками, в которых картинки из бисера: деревья, домики и олени. Настольные часы — тяжелое кольцо с циферблатом держат два голых бронзовых мальчишки с крылышками. А еще — разные фотографии в рамках, темно-золотая икона в углу, тяжелые переплетенные «Нивы» за стеклянными дверцами шкафа. Но, самое главное — фисгармония.

Это такой старинный инструмент вроде пианино, только во время игры надо нажимать на педали, чтобы накачивался воздух. Звук получается, как у баяна... В Клубе железнодорожников, где раньше работала мама, стоял рояль, и Стасик научился на нем играть одним пальцем несколько песен: «Варяг», «Вечер на рейде»,

«Мы не дрогнем в бою...». И вот однажды, когда Полины Платоновны не было, мама ушла на рынок, а Катюшка спала, Стасик решился и поднял крышку фисгармонии. Придвинул стул.

Он быстро понял, как работать педалями и как переключать регистры, и стал подбирать «На позицию девушка провожала бойца». И настолько увлекся, что не заметил, как пришла Полина Платоновна. Обмер, когда она оказалась рядом.

— Ты немножко не так играешь. Давишь на «фа», а надо «фа-диез»... Вот слушай... Нажми педаль.

Куда там «нажми»! Стасик съезжился, как пойманный воришка.

— Я только попробовал... маленько...

— Господи, да что ты испугался-то? Играй на здоровье...— Полина Платоновна отошла, присела, не сняв свою вытертую плюшевую дошку.— Левушка тоже любил на ней играть. У него слух был почти абсолютный... А вот надо же, в летчики...

Она смотрела на большую фотографию под стеклом.

Своих детей у Полины Платоновны никогда не было, а племянника Левушку, сироту, она воспитывала с малолетства до армии. Он поступил в летное училище и погиб в сорок третьем... А на портрете Левушка был еще мальчик, чуть постарше Стасика. Белокурый, с небрежно зачесанными набок волосами, с ясным таким и смелым лицом. Похож на Тимура из кино.

Фотография была четкая. В глазах у Левушки блистали солнечные точки, а на овальной пряжке пионерского галстука горела искра. Такие пряжки — серебристые, с эмалевыми язычками пламени — раньше были у каждого пионера. А теперь галстуки завязывают узлом. Когда Стасик смотрел на Левушкин снимок, то завидовал. Если примут в пионеры, такую пряжку Стасику все равно уже не носить... Впрочем, в большой школе-семилетке, куда Стасика недавно перевели, разговора о приеме в пионеры пока не было.

3

Расставаться со старой школой Стасику не хотелось. Хотя ни с кем у него большой дружбы в классе не было, но все-таки ребята свои, знакомые. А как будет на новом месте?

Оказалось, что неплохо. Особенно здорово, что школа была мужская. Ни в одном классе ни одной девчонки! Ребята встретили Стасика обыкновенно: без особой приветливости, но и не задиристо. Правда, один вспомнил Стасика Скицына по лагерю:

— А, Вильсон! Здорово!

Но он был не из тех, кто приставал там к «Матросу», и, кажется, все эти истории ему не запомнились. Только прозвище запало в голову.

— Вильсон, айда, садись со мной!

Прозвища — они как липучки. И Стасик понял, что от Вильсона ему не избавиться. Оставалось носить эту кличку не как дразнилку, а как обычное имя.

Ну, а в самом деле, если разобраться, чем плохо — «Матрос Вильсон»? Как из книжки про моря и путешествия. И когда думаешь про Бесконечность и Вселенную и хочется крикнуть о себе на все мировое пространство, то «Вильсон» звучит гораздо лучше, чем «Стасик».

«Я — Вильсон, Вильсон, Вильсон!»

Почти как «Ким»...

А на то, что «Матросом Вильсоном» дразнил его Чича, наплевать! Сам он, поганка бледная, матросом никогда не будет.

Зато в семилетке третьеклассники учились в первую смену, не надо ходить вечером по темным улицам.

Бабушка Зямы за совсем небольшую плату согласилась водиться с Катюшкой, когда мама начнет работать. Из Клуба железнодорожников мама уволилась, нашлась работа в маленькой библиотеке для детей плавсостава, в трех кварталах от дома. Можно будет прибегать, кормить Катюшку грудью.

Мама стала бодрее, иногда улыбалась даже, а один раз, как прежде, энергично огрела Стасика скрученным фартуком — за то, что не вымыл тарелки. Стасик обрадовался, будто ему три рубля на кино пообещали... Плохо только, что седые пряди, которые он видел в маминых волосах, не исчезали. Говорят, что если седина появилась, то это уже навсегда...

Иногда Стасик и Зяма брали под навесом деревянные, похожие на маленькие розвальни сани и шли кататься на спусках Баниного лога. Там со всей округи ребята собирались, такое веселье! Особенно хорошо было вечером: луна яркая, небо зеленое, крыши и деревья блестят...

А придешь домой — и на кухню. Там почти каждый вечер собирались все обитатели дома. Сидят, ужин варят, всякие разговоры ведут. В зеве русской печки трещат дрова, на столах уютно светятся керосинки.

...Когда Стасик стал взрослым и даже старым, он пытался объяснить внуку Сашке, что такое керосинка.

— Понимаешь, это такая микропечка для варки пищи. Действует по принципу керосиновой лампы. Резервуар с горючим, фитили, но вместо стекла — плоская вытяжная коробка из жести. С конфоркой для кастрюли и с маленьким слюдяным окошком, чтобы следить за пламенем. Окошечко мутное, закопченное, смотришь на него и представляешь всякое кино. Хорошо так...

— Будто микротелевизор? — понимающе спросил семилетний Сашка.

— Ну... похоже. Только в телевизоре — что показывают, то и гляди. А у керосинки — представляй, что хочешь.

— И получается?

— Еще бы!

Через день деду Стасику сильно влетело от дочери за «глупые рассказы». Потому что Сашка соорудил керосинку из кожуха старого отцовского кассетника и едва не сжег дачу...

...Ну а тогда, в конце сорок седьмого года, Стасик Скицын еще не подозревал, что будут телевизоры, видео и кассетники. Электричество и то было не каждый день. Но все-таки житье делалось все лучше. Обещали скоро отменить хлебные карточки. На родительском собрании Эмма Сергеевна сказала, что «хотя Скицын и пришел в этот класс недавно, однако общую успеваемость не испортил»... Зяма дала почитать растрепанную книжку «Сердца трех» писателя Джека Лондона. Сплошь про приключения...

Но однажды хорошая жизнь испортилась. В первых числах декабря пришел Коптелыч. Мама не скрывала своего недовольства, Стасик тоже насупился. А Коптелыч будто ничего не заметил. Покивал, повздыхал, разделся у вешалки и, шаркая валенками, подошел к столу. Поставил четвертинку.

— Сорок дней, Галина-свет Вик-ровна. Время идет, а? Глядишь, и все туда отправимся помаленьку...

Стасику понравилось, как ответила мама:

— Мне туда нельзя. У меня дочка и сын. Так что ищите других попутчиков.

— Да я и не спешу, хе-хе... Давай помянем друга Генрича.

— Не ждала я,— сказала мама.— У меня и закуски нет.

— А и не надо! Стаканчики давай да корочку, чтоб занюхать.

Мама поставила один стакан, блюдо с пластиками хлеба и колбасы.

— А ты что же? Не будешь? Как я один-то?

— Мне нельзя, я ребенка грудью кормлю.

— Ну, ладно, прости тогда...— Раскупорил, забулькал.— Господи, помяни в своем царстве раба твоего Юлия...

— Меньше бы вы его сами... помнили, пока жил! — не выдержала мама.— Глядишь, сейчас поминать бы не пришлось.

Коптелыч засаленным рукавом вытер губы.

— Чего-то все намекаешь, Вик-ровна. И в тот раз, и теперь... А зря. Я ничего. Если что думаешь, будто я это, то вовсе нет... А вообще-то, смотри-и...

Он вылил в стакан остатки водки, выпил крупным глотком — кадык прыгнул под бугристой кожей. Потом Коптелыч встал.

— Мерси, значит, за угощенье. Пойду... Ежели когда загляну на огонек по старой памяти, не прогоняйте...

У двери он, сопя, влез в ватник, нахлобучил ушанку. Криво, с ухмылкой, поклонился и, пятась, вышел. Остался запах — смесь кислятины и застарелого курева.

С полминуты мама и Стасик сидели и молчали. Потом Стасик прыгнул в валенки, выскочил за дверь. Было темно, дул сырой ветер. Стасик еле разглядел Коптелыча у калитки, догнал.

— Стойте!

Коптелыч затоптался, оглянулся сгорбленно. Стасик сказал прерывистым непримиримым голосом:

— Вы к нам больше не ходите. А то... я вам башку расшибу. Сковородкой.

Коптелыч шагнул к Стасику. Тот напрягся, но не двинулся.

— Шустёр...— не то просипел, не то прохихикал Коптелыч.— Думаешь, если маленький, значит, можно? Ма-

леньких, когда надо, тоже за жабры берут.— И пошел, кривясь на один бок.

— Шпион проклятый! — отчетливо сказал ему вслед Стасик. Схватил в горсть липкий от нахлынувшей оттепели снег. Хотел запустить Коптелычу в спину. Одумался. Стоял, дрожа на влажном холоде, катал снежок в ладонях. Катал, пока тот не превратился в холодный, льдисто-мокрый шарик.

Мама кричала с крыльца:

— Стасик, ты где?! Вернись, простынешь!

— Ста...— вдруг толкнулся в ладони шарик. И мгновенно растаял, как от горячего взрыва.

Третья встреча

1

Мама схватила Стасика за локоть, привела в дом.

— С ума сошел! Хочешь опять в больницу?

Она еще что-то говорила, ругала Стасика, но не сердито, а жалобно. Он почти не слушал. Вытирал о рубашку мокрые ладони. Потом потерянно сел на свою твердую кушетку, съежился. Билось в голове: «Белый шарик... Белый шарик...»

Значит, Шарик помнит его! Ищет...

Конечно, Стасик тоже помнил о Шарике. Все время помнил — от прыжка из вагона до нынешнего вечера. Но память эта держалась позади постоянных тревог и забот. Сперва были хлопоты с новорожденной Катюшкой, потом постоянные скандалы с запившим отчимом, а дальше — еще страшнее... Когда переехали и жизнь сделалась спокойнее, Шарик стал вспоминаться сильнее. Но Стасик боязливо отодвигал мысли о нем. Во-первых, скребла виноватость: не нашел он тогда Шарика в траве у насыпи — значит, бросил его. Во-вторых, каждый раз оживал страх: ведь как ни крути, а после встречи с Шариком оба раза случались несчастья... А кроме того, если здраво подумать, ясно, что никакого Шарика нет (потому что не может такого быть на свете!), а есть его собственная, Стаськина, выдумка, этаким сон наяву. Но так ведь можно и вовсе умом сдвинуться. Недаром, если Стасик слишком задум

мывался, мама говорила: «Очнись. Ты прямо совсем какой-то не от мира сего...» Что это такое, каждому ясно: малость чокнутый...

Всю осень Стасик неосознанно опасался брать в руки круглые предметы. А вот сейчас забылся, слепил снежок — и сразу...

— Опять ты погрузился в размышления, — сказала мама. — Не третьеклассник, а Сократ какой-то... Дай сухие пеленки.

Стасик даже не спросил, кто такой Сократ. Машинально подавал пеленки, а сам думал, что надо подождать до завтра. Если не случится никаких неприятностей, значит, Шарик в его несчастьях не виноват. И тогда Стасик слепит новый снежок... или нет, снежный шарик опять растает, надо найти какой-нибудь прочный. Ладно, Стасик найдет. И тогда... неужели опять? «Ты — Стасик?» — «Ты — Шарик?»

— Ложись спать, — велела мама. — А то проспишь и опоздаешь на уроки, было уже такое...

Стасик не опоздал. Но на первом же уроке Эмма Сергеевна вкатила ему двойку за то, что выучил не то стихотворение.

Ну, если бы вовсе не выучил, а то ведь просто перепутал! Они оба про счастливую Родину и товарища Сталина, который заботится о советских детях.

— Надо слушать, когда диктуют задания, а не хлопать ушами, — сказала Эмма Сергеевна. Вообще-то она была нормальная учительница, кричала не часто и лишь изредка хлопала лнейкой по стриженным затылкам, да и то самых гвалтливых. А сегодня просто непонятно, что на нее нашло: — Совсем головы дырявые стали! Бестолочи...

Стаськины слезинки упали на крышку старой изрезанной парты. С досадой на сплошную несправедливость он выговорил:

— Там же все одинаковое. Счастливое детство... Сплошное счастье...

— Ты по-рас-суж-дай! — Эмма Сергеевна так шарахнула указкой по столу, что с белесой доски посыпалась меловая пыль. — Сатирик нашелся, Михаил Зощенко! Знаешь, что бывает с такими?

Стасик сжался. Мама сколько раз учила: «Не болтай лишнего. Дети ляпают языком, а родители расплачиваются».

До звонка он просидел съежившись, да и на других уроках не оставляло его предчувствие близких бед. И он не удивился и почти не испугался, когда по дороге домой встретил Чичу, Хрына и еще одного — из тех, кто гонялся за ним в сентябре.

— Ви-ильсон! Матросик! Какая встреча!

— Да, Вильсон. А тебе завидно,— сумрачно сказал Стасик, чтобы скорее побили и отпустили.— Вильсон, это ведь не Чича... Бледная Чичка в ж... затычка.

Все кончилось довольно быстро. Несколько раз его пнули, сунули носом в жухлую траву — она темнела в оттаявшем из-за оттепели газоне. Сдернули валенки, напихали в них талого снега, этими же валенками надавали Вильсону по башке и по спине, перебросили их через дорогу. Отвесили еще подзатыльник и ушли, голоса наспех приспособленную к случаю частушку, в которой было лишь два приличных слова: «Вильсон» и «ни фига».

Стасик варежкой вытер лицо, перешел раскисшую улицу, вытряхнул из валенок снег, натянул их на промокшие ноги и с сумрачным удовольствием подумал, что мамыны слова о больнице, наверно, сбудутся. И зашагал навстречу новым несчастьям.

Мама, узнав про двойку, сказала, что хотела дать Стасику трешку на кино, а теперь он пускай сидит дома, раз такой бестолковый.

— Ну и ладно. Ты все равно не дала бы. Если бы не двойка, придралась бы к чему-нибудь другому... Всегда так...

— Ты как с матерью разговариваешь! У тебя совесть есть?

— Нету,— сказал Стасик с ощущением, что катится в пропасть.— Откуда она у меня, если ни у кого нет... Все только кричат, ругают, жить не дают. Вот уйду куда глаза глядят...

Он знал, что никуда не уйдет от мамы и Катки, но сейчас было до того тошно... Мама почему-то не предложила тут же шагать на все четыре стороны. Постояла рядом.

— Садись обедать, несчастье ты мое... А потом, уж ладно, иди в кино. Только сперва дров принеси, я для стирки воду нагреею...

В маленьком деревянном кинотеатре «Победа» шел старый фильм «Золотой ключик». Он вполне мог сгла-

дить и скрасить жизнь. В этой кинокартине такие замечательные приключения и такая хорошая песня:

Далёко-далёко за морем
Стоит золотая стена,
В стене той заветная дверца,
За дверцей большая страна...

Вместо намокших валенок Стасик надел мамины сапоги и с трешкой в кулаке потопал в «Победу». Но в кассе билетов на ближний сеанс не оказалось. Какой-то мальчишка, постарше Стасика (и симпатичный такой, улыбчивый), весело предложил:

— Мальчик, надо билетик? У меня лишний.

Стасик обрадовался, отдал три рубля. Но когда сунулся в двери к контролерше, та заорала на него: билет оказался вчерашний.

Вот тебе и «заветная дверца».

Два часа бродил Стасик по улицам, чтобы не вернуться домой раньше срока и не объяснять про свое ротозейство. Уже начинало темнеть. Сырой ветер съедал остатки рыхлого снега. Ну что за зима! Сплошные слезы... И жизнь такая же...

Дело, конечно, не в погоде, а в людях. В тех, кто отравляет Стаське жизнь... Впрочем, на Эмму Сергеевну он не очень обижался: на то и учительница, чтобы двойки ставить. На мальчишку, продавшего негодный билет, особой злости тоже не было. Жаль только, что такой хороший с виду, а скотина. Но, в конце концов, его дело понятное: он свою выгоду искал. А вот Чиче-то и приятелям его что надо? Что за смысл травить Вильсона? Откуда вот эта радость: поймать невиноватого и поиздеваться всласть?

Нет, пока живут на свете всякие чичи, никакого счастливого детства не будет, сколько про него стихов не учи. Конечно, товарищ Сталин у себя в Кремле о советских детях помнит и заботится. Но ведь каждого не разглядишь, хоть на самую высокую кремлевскую башню заберись. И про Бледного Чичу он, конечно, не знает, какой тот подлюга... Ну, а если бы даже и знал, то что? Побежал бы заступаться за Стасика? Держи карман! Если уж он, такой мудрый и великий, за взрослых-то заступиться не может, за тех, которые ни за что в лагерях сидят... Мама Стасику шепотом объяснила, что от Сталина эти несправедливости просто скрывают, а сам он за всем уследить не в состоянии: так много

дел и мало времени. Ну, вот именно: мало времени. Стал бы он разве тратить его на какого-то третьеклассника? Сказал бы небось: разбирайтесь сами.

А как с Чичей разберешься? Иногда Стасик начал придумывать для него самые ужасные казни, но тут же бросал. Потому что казнь — это ведь мучительство беззащитного. Какая от этого радость, противно только. И получается, что сам еще хуже Чичи. А вот если бы отомстить по-настоящему!

Но для этого надо набраться сил и как следует надавать Чиче в боевой славной драке! Только Стасику никогда не справиться с ним даже один на один. А Чича к тому же без приятелей не ходит... Был бы у Вильсона друг — тогда другое дело. С настоящим, навеки надежным другом ничего не страшно. Как в песне из книжки «Сердца трех»:

Подходи, кому охота!
Гей, нам жизнь недорого!
Мы спина к спине у грота
Отобьемся от врага!

Грот — это средняя мачта на корабле. Из-за нее лезут, надвигаются пиратские рожи. Но Матрос Вильсон и его Друг прижались покрепче спина к спине и чертят воздух абордажными клинками. Подходи, кому охота! Р-раз — один враг покотился по палубе. Р-раз — и еще двое...

Хорошо мечтать, шагая по дощатому тротуару. Доски — как расшатанная палуба. Но потом все равно возвращаешься с палубы на слякотную улицу. И Друга нет. И Чича завтра, возможно, встретится снова...

2

Дома опять не горело электричество. Пламя в керосиновой лампе мигало, потому что сырой ветер сотрясал ставни и стекла. Стасик готовил домашние задания, а думал все о том же: о своей жизни, о Чиче, о Белом шарике. О том, как хорошо было бы найти друга (такого, как Левушка на портрете у Полины Платоновны). И о том, что никогда он, конечно, никого не найдет и что завтрашний день будет серый и унылый.

Потом Стасик пошел на кухню. Там уже все собра-

лись, даже мама пришла с Катюшкой на руках. Ругали погоду. Андрей Игнатьевич решил всех успокоить:

— Да ладно вам про климат причитать, бабы. Войну пережили, а уж слякоть нашу... Все одно скоро Новый год...

— Молчи ты,— цыкнула на него тетя Глаша.— До Нового года нишшо дожить надо. Ишшо реформа денежна будет, не знам, как обернется. А у тебя Новый год на уме, потому что лишняя рюмка перепадет.

«Одно и то же...» — думал Стасик. Он сидел у печки на охапке дров. Не интересно теперь было ни пламя в печи, ни экранчики керосинок. А ветер изматывал душу...

— А и правда скоро Новый год! — неизвестно чему обрадовалась Зяма.— Я сейчас!..

— Куда, оглашенная! — крикнула на нее мать. Но Зяма убежала и скоро вернулась с картонной коробкой.

— Буду игрушки перебирать. Через три недели елка...— И приглашающе посмотрела на Стасика.

Но Стасик не пошел смотреть елочные игрушки Зямы. Три недели до Нового года — это еще вечность. А если праздник и каникулы наконец придут, потом что? Снова бесконечная зима, за ней слякотная холодная весна и лишь в мае, почти через полгода, появятся листья... Стасик содрогнулся от тоски: как давно он не видел лета!

Прошрое лето было погибшим — сперва лагерь с Чичей, потом больница, а за ней дождливый с непролазной грязью август. В начале сентября только и выдалось два теплых денька, да и то все испортил случай с поездом и потерянным Шариком...

Мама, которая весь вечер с беспокойством поглядывала на Стасика, сказала просительно:

— Может быть, и ты игрушки принесешь? Вместе с Зямой посмотри.

— Не хочется.

Так он и сидел, скорчившись, на твердых поленьях. Но остальные жильцы дома вдруг заинтересовались новогодними украшениями. Видно, все соскучились по празднику. Даже Полина Платоновна сказала, что на этот раз тоже поставит у себя елочку.

— А то, как Левушка в училище уехал, ни разу не ставила... У меня ведь тоже игрушки есть, некоторые совсем старинные, сейчас таких не делают.

Она — маленькая, кривобоко-сутулая — принесла из своей комнаты ящик с бисерными картинками на стенках — тот, что всегда стоял на комоде. Видимо, был этот ларец совсем не тяжелый. Поставила на пол. Все подошли, подсели ближе. У Стасика шевельнулось любопытство. Но не настолько, чтобы встать с поленьев. Он подвинулся и замер опять.

Однако через минуту мама оглянулась и позвала:

— Стасик, тут такие чудеса... Посмотри, какой мальчик.

Какой там еще мальчик? Не могут оставить человека в покое... Но все же он подошел. Мама отдала Катюшку Зяминой бабушке и держала за петельку елочный шарик. Белый, будто из фарфора. На шарике нарисован был рыжий веселый мальчик в синей матроске, он бежал и палкой гнал перед собой обруч... Но не в мальчике дело! Главное — сам белый шарик!

Страшно или не страшно, к беде или к радости — не имело теперь значения. Это была судьба. Не уйти, не отвернуть. И, шагая навстречу судьбе, Стасик протянул к шарiku ладони:

— Я подержу, можно?

— Возьми, возьми, Стасенька, — почему-то обрадовалась Полина Платоновна. Стасик взял. Шарик был легонький, как яичная скорлупа. И случилось то, что должно было случиться.

— Стасик! Это ты?

— А кто же еще? — мысленно отозвался он. — Сам знаешь, что я... — Отошел и опять сел на поленья. Шарик держал перед собой.

— Стасик... — Слова, как горячий шепот, щекотали кожу рук и в то же время звенели в голове. — Ты почему так долго не отвечал? Куда подевался?

— Я не подевался... Ты сам тогда потерялся в траве.

— Надо было взять любой шарик.

— Не до того мне было... Тут такое... всякое...

— Да знаю я... — Шарик отозвался вполне человеческим вздохом. — Я ведь давно за тобой наблюдал. Только поговорить не мог. Все ждал, что какой-нибудь шарик возьмешь, без него я не умею. А ты никак...

— А я боялся, — сказал Стасик напрямик. И даже с вызовом.

— Чего боялся?

— Тебя... Ты всегда появляешься перед какой-нибудь бедой.

— Ну и чушь ты молотишь! — возмутился Белый шарик совершенно по-мальчишечьи. А Стасик неуверенно огрызнулся:

— Ага, «чушь»! То Чича, то больница, то поезд...

— Балда. Я, что ли, Чичу на тебя насылал? Или я заставлял тебя микробов глотать? Или, может, я тебя в вагон заталкивал?

— Я в вагон залез, потому что тебя спасал... И чуть не уехал неизвестно куда! Хорошо, что поезд остановился...

— Дурак! А кто, по-твоему, остановил поезд?

— Ты?!

— А может, ты сам? Или дяденька машинист?.. Я такой запас энергии на это высадил! Чуть пуп не сорвал, выражаясь по-человечески...

Да уж, выражался он по-человечески, дальше некуда. Все страхи Стасика улетучились. Он спросил с растущим ощущением счастья.

— Ты в любой шарик можешь вселиться, если я его возьму?

— Только в тот, который тебе нравится. Тогда импульс идет, и я... вот...

— Но ведь... тот снежок, вчера, он мне вовсе не нравился.

— Нравился. Ты просто сам не заметил. Ты его так ласково гладил и примерялся, как вляпаешься в спину тому... шпиону...

Стасик рассмеялся — громко, как во время игры на летнем дворе. Все оглянулись на него, а Зяма захихикала:

— Стась, ты чего? — И шагнула, оглобля, к нему! Зацепилась за табурет, полетела на пол, а головой — трах Стасика в колени. Он дернулся, сжал пальцы, чтобы не выронить шарик. А тот — хрусть, и посыпалась белая скорлупа.

Стасик закричал, будто на него кипяток вылили. Треснул Зяму по тощей спине двумя кулаками, раскro-влянил об осколки ладони, убежал к себе. И долго рыдал, укрывшись с головой полушубком. Дергал ногами, когда мама сперва ругала его за скверное поведение, а потом ругать перестала и успокаивала, говорила, что Полина Платонова покажет ему все свои игрушки и подарит любой шарик на выбор.

Стасик продолжал плакать в косматой душной темноте. Потому что какой бы шарик ни подарили, все равно он разобьется или потеряется, или отберут его, или случится еще что-нибудь злое и подлое. Потому что вся жизнь такая. Куда ни пойдешь — везде только и стараются отобрать последнюю радость. Везде чичи и слякоть. Даже Банный лог превратился в раскисшую улицу, где голые деревья и серые развалюхи...

Стасик дернулся, сжал кулаки, с ненавистью всадил их в подушку... Что-то затвердело в левом кулаке. Как орешек. Потом орешек вырос, растолкал стиснутые пальцы, и они... они обняли, ощутили гладкий шарик.

— Стасик...

Он сбросил полушубок, сел. В руке у него был белый целлулоидный мячик для пинг-понга. Обыкновенный, склеенный из двух половинок, с красным треугольником-клеймом. Он знакомо теплел, шекотал словами:

— Стасик, не плачь. Теперь я никуда не денусь, всегда с тобой буду... потому что вот я, сам себя сделал...

Катюшка спала, мама за дверью о чем-то тихо говорила с Полиной Платоновной. Стасик заплакал опять, уже без горечи, облегченно.

— Не плачь,— снова попросил Белый шарик.— Что тебе сделать, чтобы не плакал? А? Скажи...

— А что ты можешь? — улыбнулся сквозь слезы Стасик.

— Я пока не знаю... Но, наверно, что-то могу. Поезд вот остановил же...

«Ох, верно!» — вспомнил Стасик. И даже слегка испугался. Но тут же улыбнулся грустно и снисходительно:

— Нет, все равно то, что я хочу, не сможешь.

— А что хочешь?

Стасик сказал без надежды, без насмешки. Просто грустно поделился с Белым шариком:

— Вот если бы сейчас было лето...

...Стасик сидел в кресле перед широким зеркалом, по шею закутанный в простыню. Над головой чиркали блестящие, с солнечными искрами ножницы. Стасик видел в пятнистом зеркале себя, веселую молодую парикмахершу Маню, а за спиной у Манн открытое окно, в котором качал клейкими, молодыми еще листьями тополь.

Май

Простыня была куца, Стаськинны коленки торчали из-под нее, как два дерзких кукиша. Волосы разлетались из-под ножниц, сыпались мимо полотняного края и шекотали незагорелую кожу, будто паучьи лапки. Стасик шевелил ногами и хихикал.

— Не дергайся, уши отрежу.

— Ну и отрезай! На кой они мне!

Маня была хорошая. Знакомая. Она жила в том же переулке, где Стасик, и не раз приходила в гости, на кухонные вечерние «посиделки» и чтобы обсудить с Зяминой матерью выкройки. И Стасик ничуть не расстроился, когда Эмма Сергеевна погнала его из школы в парикмахерскую, сказав:

— Ты что, собираешься на утреннике выступать таким заросшим чучелом? У нас будет инспектор гороно! Марш стричься немедленно! А то я быстренько твою хилую тройку по арифметике переправлю на то, что заслужил, и будешь все лето ходить на занятия.

Ничего бы она, конечно, не переправила. Просто нервничала, потому что ее третий «Б» к выпускному утреннику готовил спектакль-монтаж «Кем быть?». Стасик должен был изображать моряка: «Я б в матросы пошел! Пусть меня научат!»

— У тебя космы из-под бескозырки торчат, как у беспризорника. Вот тебе три рубля и марш!

Стасик деньги не взял, гордо сказал: «Спасибо, обойдусь». Потому что Маня и в долг подстрижет.

...Маня отложила ножницы, взяла машинку. Зубчики зашекотали затылок. Стасик в зеркале превращался в примерного лопухого третьеклассника. Впрочем, уже четвероклассника! Отметки за год выставлены, после утренника выдадут табель.

— Ну, всё. Смотри, какой красивый! — Маня сдернула простынку, обмахнула Стасика прохладной салфеткой, под локти высадила из кресла, повернула к старинному трюмо. Зеркало это, высотой под потолок, в раме с завитками, было украшением крошечной парикмахерской. Маня говорила: «От купца Чупрунова еще, венецианское стекло».

Стасик увидел себя в венецианском стекле — от новеньких желтых сандалий до остриженной макушки. И остался доволен. Галстук глаженный, из блестящего

сатина (в пионеры приняли к Дню Победы). Белая рубашечка, тоже глаженная, новая. И легонькие летние штаны с широкой резинкой в поясе надеты первый раз, мама сшила их из остатков коверкотового отреза, который пошел ей на костюм. Этот материал она купила себе после уговоров соседок: «Хватит тебе, Галина, только над ребятишками трястись, надо и про себя думать, а то, глядишь, и жизнь пройдет. Пользуйся счастьем, раз уж повезло с облигацией...» И Стасик сказал: «Покупай, не раздумывай. Ты должна быть красивая и важная, как директор школы, на тебя в библиотеке люди смотрят». И мама купила темно-синий коверкот и заказала костюм. И правда, стала еще красивее. И на штаны Стасику осталось, даже с накладными карманами. «Только руки в карманы не суй, некрасиво»...

Из парикмахерских запахов одеколона и пудры Стасик выпрыгнул на улицу. В солнечный воздух, в запах свежих тополиных листьев. Ох и тепло! Будто уже полное лето! Стасик засунул кулаки в карманы, зашагал широко и независимо и от радостных чувств засвистел неумело, но громко:

Артиллеристы, Сталин дал приказ...

Молоденький милиционер у входа в магазин «Кози» сказал (видимо, от нечего делать):

— Чего свистишь? А еще пионер! Хулиганство...

— А я не хулиганскую песню свистю, а про Сталина,— бесстрашно и с капелькой злорадства заявил Стасик. Потому что попробуй теперь прицепись к нему.— Нельзя, что ли?

Милиционер отвернулся, а Стасик зашагал дальше. И стал твердить про себя свою роль: «Я б в матросы пошел! Пусть меня научат...»

Утренник прошел как надо, зрители участникам спектакля старательно похлопали. Потом всем раздали табеля и отпустили по домам. И Стасик опять зашагал по майской улице. Свистел песню про «Варяга» и махал табелем с тройками по арифметике и физкультуре, четверками по русскому, по пению и прилежанию, пятерками по чтению, рисованию и поведению. Странное у него было ощущение — легкости и праздничного полуса: будто каникулы, теплый май, вся эта радость свалилась на голову неожиданно-негаданно. Будто не было

зимы и весны, а только сказал он Шарику: «Вот если бы сейчас было лето» — и сразу...

Нет, конечно, были и зимние месяцы, и весенние, но они почти не запомнились, урывки какие-то. Может, и правда все это Белый шарик устроил? Надо сейчас прийти, взять его из горшка с геранью и весело потребовать: «Ну-ка, признавайся!»

Хотя нет, шарик сейчас уже не в горшке с цветком, а под подушкой. Герань мама отдала Полине Платоновне: кто-то сказал, что цветочный запах вредит Катюшке, ей трудно дышать...

А почему трудно?

Первый холодный лучик тревоги скользнул в Стасикино счастье. Стасик остановился, рукой с табелем потер лоб. Уже без прежнего удовольствия глянул на свое отражение в витрине. Это было широкое стекло с белыми буквами: АПТЕКА...

Мама же говорила утром: «Не задерживайся в школе, надо будет в аптеку сходить».

За лекарством для Катюшки! Еще одним лекарством... От прежних не было прока — целыми сутками кашель вперемежку со слезами. Уже целый месяц...

Как быстро тускнеет радость... Стасик бросился к дому бегом. А что, если он прибежит сейчас, а там уже...

Мама в апреле вернулась из поликлиники с Катюшкой на руках вся какая-то придавленная, с серым лицом, как осень, в дни похорон. И не выдержала, сказала Стасику:

— Говорят, что нет смысла в больницу брать. Врач так и объяснила: «Что поделаешь, хорошо, если до мая дотянет...»

— Да врет она! — перепуганно крикнул Стасик. — Не слушай ты, поправится Катька! Я тебе точно говорю! Мама приободрилась:

— Конечно, поправится...

Но Стасик видел, что не очень-то она верит. И сам, глядя на нее, почти не верил... Но, с другой стороны, невозможно было поверить и в страшное.

Нельзя же так! За что ее, Катюшку-то? Она же крошечная! И славная такая, родная! Тянется к Стасику, когда увидит, улыбается, пузыри пускает ртом. Сидеть научилась, даже подниматься пробовала, пока не заболела. Неужели же...

И что будет с мамой! У нее и так вон сколько седых волос...

Мама стояла во дворе у крыльца. Увидев Стасика, улыбнулась чуть-чуть:

— Ну, отмаялся в третьем классе, школьный труженик?

Стасик неловко протянул ей табель. Мама глянула, сунула табель в карман фартука, а фартук сняла, отдала Стасику.

— Я в аптеку сама схожу. Катя спит, ты посиди с ней. Если закашляет, приподними головку. Ну, ты знаешь. Да и бабушка Лиза скоро придет... А я — быстро...

Стасик видел, что маме страшно оставлять Катюшку, но хочется и оторваться хоть на несколько минут от горьких забот. Пройтись по теплу и солнцу, вздохнуть. Измучилась...

— Иди, не бойся,— сказал он.

Мама ушла. Стасик остался на крыльце, у которого уже буйно разрослись лопухи и горели солнышки одуванчиков. Ох как не хотелось в комнату, в запах лекарств, пеленок и кислого ребеночьего пота, в запах болезни и страха. Но ведь Катюшка может проснуться в любой миг.

Когда-то он злился на ее надоедливый ночной рев, шептал даже: «Заткнулась бы ты, дура горластая». А сейчас отдал бы себя на любое растерзание — только бы она выздоровела!

Стасик вошел...

Дальше было опять похоже на сон.

У Катюшкиной кровати топтался мальчишка. Темноволосый, кудлатый, в пыльной белой майке, мятых зеленых трусиках, босой. С веселыми черными глазами. Откуда он тут?.. Но это удивление было не главным. Главное — Катюшка! Она стояла. Розовошекая, без всякого кашля и слез, держалась она за перильца кровати и смотрела на Стасика, пускала пузыри. Потом старательно, как на зарядке, присела несколько раз.

— Э, да она сырость напустила,— деловито сказал мальчишка.

— Она... почему так... не болеет? — выдохнул Стасик.

— Потому что поправилась.

— Когда?

— Только что...

— А ты... кто?

— Я-то? — кудлатый пацаненок удивился, но не по-настоящему, а с дурашливым весельем. — Не узнал, что ли? Яшка я!

Стасик мигал.

— Ну, Яшка я! Ты же сам хотел, чтобы я превратился!

Что было зимой

1

В какой-то книжке про корабли Стасик прочитал, что в старину придумали прибор для измерения скорости судна. Дощечка-поплавок, тонкий тросик с узелками и катушка. Называется все это «лаг». Дощечку бросают в воду, судно плывет, катушка вертится, узелки на тросе проскакивают сквозь кулак матроса. Сколько узлов проскочит за полминуты, столько, значит, миль корабль проходит в час...

И вот теперь Стаськина память рванулась и начала разматываться, как тросик лага при фантастической скорости. Каждый узелок — толчок воспоминания. Ведь было же, было столько всего этой зимой и весной сорок восьмого года!

...Прежде всего была радость, что Белый шарик — вот он и никуда больше не денется. Он сам это твердо пообещал. Теперь они всегда были вместе. Днем Стасик держал шарик в кармане, а ночью под подушкой. Всегда можно было разговаривать — даже на уроке, если не надо ничего решать или писать. А уж ночью тем более! Руку под подушку, одеяло на голову — и нет уже комнаты с прикрученным огоньком керосиновой лампы, со скрипучей кровати, в которой мама укачивает хнычущую Катюшку...

— Белый шарик!

— Вильсон!

Они договорились, что Стасик будет Вильсоном. Назло Бледному Чиче и всем врагам. Потому что крикнешь: «Вильсон!» — и эхо летит звонко, далеко, будто под звездным небом над океаном.

Они разговаривали про все на свете. Стасик рассказывал и печальное, и хорошее. Про свою жизнь, про кино «Золотой ключик» и «Мы из Кроиштадта», про

книжку «Ночь перед Рождеством» (теперь было не страшно). Про школу, про войну — то, что он о ней знал, про сказочность улицы Банный лог, про обрывы и станцию «Рѣка» на берегу... Шарик о многом знал больше Стасика, но знание это было для него как-то... ну, будто написанное черными буквами на белом листе. А когда говорил Стасик, получалось как цветное кино — Шарик сам признался в этом другу Вильсону.

Иногда Стасик просил:

— А сейчас рассказывай ты.

— Про что?

— Ну, про Кристалл. И вообще... как там у вас.

Белый шарик добросовестно пытался объяснить, «как там у нас». Узнал Стасик о больших шарах-наставниках, о Всеобщей Сети, об импульсах, которые надо излучать и принимать. Об идее Всеобщего Резонанса, при котором наступит во всем Великом Кристалле полная радость и постоянное счастье.

— Если постоянное, это ведь может надоесть, — осторожно заметил Стасик.

— Ох, не знаю... Все равно до этого еще очень далеко. Даже бесконечно далеко. Всеобщая Сеть — она ведь хрупкая. Строишь, строишь, а черные покрывала рвут ее то там, то тут. И самому надо глядеть, чтобы под такое покрывало не угодить...

— А что за покрывало? Какое оно? — Стасика щекотал под одеялом жутковатый озноб.

— Да, в общем-то, ничего особенного... — В ответе Шарика скользнуло небрежное хвастовство. — Большие шары всё пугали: «Черное покрывало, черное покрывало! Не будешь слушаться, оно тебя...» А что оно такое, объяснить не могли. И сами дрожали, будто это нечистая сила какая-то... Ну, мне надоело, я начал собирать рассеянные импульсы информации, начал шарить по граням. По нашей и по соседней...

— Ты можешь понятнее-то рассказывать?

— Ага, ладно... В общем, я узнал. Есть в Кристалле черные шары. Про них мало кто знает, потому что они мертвые, ничего не излучают, а только все притягивают к себе, сильно-сильно. Создают вокруг себя гравитационное суперполе...

— Что?

— Силу притяжения такую, страшно громадную... Иногда ее накапливается столько, что уже просто не-

куда деваться. И вот при каком-нибудь сотрясении грани это поле отрывается от черного шара и начинает жить само по себе. Плавает внутри Кристалла... Но оно не привыкло к такой жизни, хочет, чтобы внутри него был какой-нибудь шар. И вот, если кто окажется на пути, оно его хватить — и окутало! И тогда этот шар превращается в черный, в мертвый...

Стасику стало неуютно. Ожил страх замкнутого помещения. Но Белый шарик сказал с новой порцией ребячьего самодовольства:

— Ни фиги, я теперь знаю, как с ними расправляться. Недавно такой лоскут начал подъезжать к нашей пирамиде. Желтые близнецы причитают, как перепуганные тетушки. Красный шар говорит: «Все, друзья, кому-то из нас крышка. Отвлекайте его от малыша». От меня то есть... А я разозлился, собрал энергию аж из самого нутра да как шарахну по этому покрывалу рассекающим импульсом! Раз-два! Крест-накрест! Оно и расползлось на четыре части. И каждая часть вдруг начала таять, съеживаться... Ну, я тогда и понял! Если покрывало делается слишком маленьким, в нем не хватает внутреннего напряжения и оно распадается...

— Это было, когда ты два дня не отзывался?

— Ага... Потому что на рассекающие импульсы столько энергии уходит, что потом... Ну, как воздушный шарик, из которого воздух выпустили... Если я опять не буду отзываться, ты не беспокойся. Значит, просто силы восстанавливаю.

— А откуда ты их берешь?

— Силы-то? Из пространства. Только это долго...

— Но ведь оно пустое...

— Пространство? Кто тебе сказал!

И Белый шарик начал объяснять Вильсону, что такое разные пространства-границы, как они соединяются и пересекаются внутри Кристалла и сколько в них разных энергетических полей и всякого другого... Он это не раз объяснял. И лучше всего получалось по вечерам, на кухне, когда Стасик смотрел на светящееся окошечко керосинки. Шарик теплел в руке, оранжевый прямоугольник приближался, делался как экран в кино-театре, желто-красные полотна и объемы переплетались в нем, выстраивались в сложные лестницы и пирамиды. Их прошивали нити разноцветных импульсов. А шепоток Белого шарика щекотал взмокшую от волнения

Стаськину ладонь. И в эти минуты все хитрости многомерных пространств становились понятными Стасику... Потом, когда он отрывался от экрана, почти все забывалось. Но Стасик не огорчался. Главное, что Белый шарик есть на свете и почти всегда рядом. Такой вот маленький неунывающий сказочный друг.

И все-таки порой Стасика беспокойно царапало желание разгадки. Кто же он, Белый шарик? Что это за страна такая — Великий Кристалл? Где она? Шарик вроде бы и не скрывал ничего, но ответы были непонятные:

— Великий Кристалл? Ну, как объяснить-то? Везде он, все мы в Кристалле. Только грани разные... Я бы с формулами тебе легко мог растолковать, но вы же в школе еще не проходили такую математику...

И все-таки он хитрил, обходил что-то главное, этот Белый шарик. Недаром так смутился, когда все открылось.

Это случилось неожиданно, во время одной такой беседы на кухне. Как всегда, придвинулось, выросло перед глазами слюдяное окошечко керосинки. И вдруг среди оранжевых плоскостей и закрученных желтых лент мелькнула темно-синяя щель, разрослась в пространство, пересыпанное колючими искрами и светящимися горошинами, опоясанное лентой серебристой пыли. Только на миг! Словно сознание Белого шарика неосторожно приоткрыло дверь в комнату, где пряталась разгадка.

— Стой! — мысленно крикнул Стасик. — Подожди... Значит... Выходит, Великий Кристалл — это все Мировое пространство?

Белый шарик аж завертелся в ладони. Но ответил ворчливо, как про самое обыкновенное:

— Я же тебе тыщу раз это объяснял.

— Ты не так объяснял. — Значит, Шарик — это... Стасика тряхнуло дрожью, обдало дыханием громадной межзвездной пустоты. — Значит, ты... звезда?

Белый шарик пульсировал и будто наливался горячим соком в стиснутом Стаськином кулаке. Молчал с полминуты. Потом ответил с капризно-скандальной ноткой:

— Ну и что? Ну, звезда... Что такого? Нельзя, что ли? — За этой ершистостью он явно старался спрятать неловкость и даже какой-то страх.

— Как... наше Солнце? — растворяясь в обморочном восторге, прошептал Стасик.

— И вовсе не «как». Солнце — желтый шарик, а я белый. И оно у вас уже взрослое, а я...

— А ты... ты с ним пробовал разговаривать?

— Ну зачем? — В ответе Шарика зазвенела досада. — Зачем оно мне? У меня и в своей грани много знакомых шаров... Я понимаю, этот Желтый шарик — хороший, раз он твое солнце. Но мне-то нужен не он, а ты! У меня с тобой резонанс...

— Но ты же... такой громадный, а я... как пылинка перед тобой...

— Вот этого я и боялся, таких вот разговоров... Ты станешь теперь измерять, сравнивать... и не захочешь дружить...

— Нет... я все равно хочу, — неуверенно отозвался Стасик.

— Ты пойми! — В Шарике чуть ли не слезинки зазвенели. — Я вовсе даже не большой... Посмотри на небо — разве звезды громадные, когда ты на них глядишь? И я, когда с тобой...

— Ну чего ты расстроился-то... — неловко сказал Стасик.

— Потому что ты не понимаешь! Разве дело в массе и в размерах? Главное, что мы... похожие...

У Стасика неожиданно сильно защекотало в горле.

— «Один и один — не один...» Да?

— Ага... — Белый шарик шмыгнул носом, если такое выражение применимо к звезде.

— Послушай... А тебя можно увидеть на нашем небе?

— Не... Я же из другой грани Кристалла.

— Ну ладно, — сказал Стасик. — Все равно это здорово...

Несколько дней Стасик ходил с горделивой радостью от того, что он дружит со звездой. Но и... сомнение скребло. Вдруг Белый шарик все это выдумал? Не нарочно, а повернул, как и Стасик, в свою сказку. А на самом деле он просто маленький волшебный шарик... Да, но ведь поезд-то он остановил по правде! Под силу ли такое небольшому шарiku, даже волшебному?

Как бы то ни было, а скоро Стасик притерпелся к пониманию, что Шарик — звезда. Если это и правда, то звезда он там, далеко, у себя. А настоящий

Шарик был вот он — всегда под рукой. Маленький, верный и откровенный друг.

А Белому шарiku, судя по всему, того и было надо...

2

Конечно, время бежало не только в беседах с Шариком. Были уроки в школе, домашние задания, двойки по арифметике, за которые попадало от мамы. Удивительно, что Шарик всякие мировые сложности понимал, а помочь решить задачку за третий класс не мог, путался... Часто хворала Катюшка, с ней тоже хватало забот. Но было и хорошее.

Новый год все жильцы дома встречали вместе: на просторной кухне сдвинули столы. А елочки у всех были свои — у Стасика, у Полины Платоновны, у Зямы. Полина Платоновна дала Стасику немного старинных свечек, и они целый час горели, потрескивая, на хвойных лапах, а Катюшка глазела и улыбалась, будто что-то понимала...

Баннй лог опять сделался сказочно-зимним, и Стасик с Зямой снова катались там на санях. В конце улицы висел зеленоватый месяц, светились в окнах огоньки, а неподалеку, на башне маленькой церкви, весело тренькали рождественские колокола.

Андрей Игнатьевич сделал Стасику подарок. Отыскал под навесом среди рухляди ржавые коньки-снегурки, начистил их.

— На, катаясь, как я когда-то.

Стасик прикручивал снегурки к валенкам веревками с палочками и учился кататься по обледенелому тротуару. А когда пришла сноровка, стал отпрашиваться у мамы на каток в недалекий сквер, который назывался «Сад имени Ворошилова». Там было весело, горели развешанные на проволоках лампочки, играла радиола. И все было прекрасно, пока Стасику не повстречались Бледный Чича, Хрын и еще двое, Стасик их не знал. Тут уж все пошло как по-заведенному. Вильсона — головой в сугроб, валенки — долой с ног, коньки с них содрали. «Только пикни кому, Матросик, ноги повыдергаем!»

— Чнчка-затычка, — бессильно сказал им вслед Стасик. Натянул валенки и пошел домой. И не заплакал.

Он даже не очень разозлился сейчас. Злиться на Чичу и его гадов приятелей было бессмысленно. Они для Стасика были уже как бы не люди, а какое-то неизбежное природное зло. Это все равно что на плохую погоду обижаться, на слякоть, на мокрый ветер. Если попал под дождь, какой смысл его ругать? Все равно вымокнешь, если без зонтика.

А где взять зонтик от Чичи?

Маме Стасик сказал, что коньки отобрали незнакомые мальчишки. Мама, кажется, была даже довольна в глубине души: не будет сын бегать по вечерам на каток, где всякие опасности и хулиганы.

Шарика Стасик с собой на улицу никогда не брал: он хоть и волшебный, исчезающий, но осторожность не мешает. И в тот вечер Шарик ворчливо сказал:

— Если бы я был с тобой, Чича добром бы ноги не унес.

— А что бы ты сделал?

Шарик молчал.

— Ты что? Распылил бы его на атомы? — испуганно догадался Стасик. — Как тогда в лагере обещал?

— Я... не знаю. Ты хотел бы?

— Нет! Не хотел.

Совсем недавно Стасик думал о том, что Чича с друзьями — не люди, а так, тупая злая сила. Но тут сразу спохватился: с головой же он, Чича-то, с руками, с ногами. Человек все-таки.

— Нет, не надо... Ну, он подлый, конечно. Только... У него же мать есть, я ее видел, она в лагерь приезжала. Нормальная тетенька... Знаешь, как рыдать по этому дураку будет!

Шарик все молчал. Кажется, виновато:

— И вообще... — Стасик замялся. Как разъяснить попроще Белому шарiku? У них, у звезд, может, совсем другие понятия. — Если мы это сделаем, тогда... значит, мы убийцы — ты и я. А это же самое страшное. Мы с мамой как-то разговаривали, она сказала, что ничего нет страшнее убийства. Потому что оно — неоправимое... Это только фашисты убивают и не мучаются. А мы что, из-за какого-то Чичи должны делаться как фашисты?

Шарик сказал неожиданно:

— Мама у тебя хорошая... У шариков мам не бывает.

— А откуда шарики берутся? — Стасик был рад сменить разговор.

— Не знаю. Вспыхивают, вот и все...

— Прямо из пустоты?

— Наверно, да... Я Чичу и не хотел распылять, просто так спросил. А что с ним делать-то?

— По морде бы ему надавать,— мечтательно отозвался Стасик.— Ты не мог бы дать мне такую силу? Ну, влить энергию... У тебя ее вон сколько. Черное покрывало порвал, поезд остановил...

— Так это я сам. А другому как силу передашь?.. Да, наверно, тут и не в силе дело.

— А в чем? — обиделся Стасик.— Думаешь, мне смелости не хватает? А что в ней толку, если их всегда вон сколько! И все такие дылды!

Шарик задумчиво спросил:

— Может, мне самому попробовать наkostenylat' ему?.. А вдруг не рассчитаю, это ведь не поезд. Трахну посильнее толкающим импульсом, а от него рожки да ножки...

— Нет уж! — опять испугался Стасик.— Лучше не пробуй. Он рассыплется, потом не соберешь... Ты лучше вот что. Раз ты можешь всякое такое... раз для себя шарик сделал пластмассовый... Может, ты мне новые коньки сделаешь?

— Да это запросто! Если хочешь, можно с ботинками...

— Правда? Из ничего сделаешь?

— Нет, надо из чего-нибудь. Например, из полена. Главное, чтобы масса была примерно одинаковая. Тогда я перестрою вещество по заданному образцу...

— У меня ботинки тридцать третий размер. Но лучше делай тридцать четвертый, чтобы на теплые носки... Ох, нет...

— Что?

— Мама сразу же спросит: откуда коньки?

— Ну и скажешь.

— Так она и поверит!

— Ну, давай прямо у нее на глазах сделаю!

— И знаешь, что тут начнется!

— Что?

— Не знаю... Но начнется. Взрослые всегда боятся непонятного. Хоть и мама, а все равно...

Кажется, Шарик слегка надулся (не в прямом, а в переносном смысле):

— Тебе не угодить.

— Не во мне дело... Слушай! А ты можешь сделать несколько червонцев? Ой, не червонцев, их сейчас отменили, а новых... Или даже сотню! Только чтобы настоящие... Так, чтобы на коньки хватило и еще на еду осталось до зарплаты! А?

— А мама спросит: откуда деньги?

— А пусть она сама их на улице найдет! В кошельке!

...Они обсудили, какой должен быть кошелек. Потертый, с кнопкой, называется «портмоне». А в нем несколько новеньких двадцатипятирублевых, одна сотенная бумажка и кое-какая мелочь. Чтобы все было правдоподобно.

— Может, побольше сотенных? — щедро предложил Шарик.

— Хватит на первый раз. Чего жадничать!.. А как ты кошелек маме подсунешь?

— Знаю как. Ты в это дело не вмешивайся.

...Следующим вечером мама рассказывала на кухне:

— Вы представляете, иду из библиотеки, а на снегу рядом с тротуаром что-то чернеет. Смотрю — кошелек. Открыла, а там триста тридцать четыре рубля с мелочью...

— Везет хорошим людям, — заметил Андрей Игнатьевич и опасливо посмотрел на жену.

— Счастливая ты, Галина, — сказала Зямина мать. — Вот и новую юбку себе справишь...

— Да ты что! Думаешь, я себе взяла?

— А что? Кому-то подарила, ненормальная?

— Ну, человек-то, который потерял, он чем виноват? Ищет, наверно, переживает... Отнесла в милицию, протокол составили.

— Ты, Галя, или святая, или дура, — печально сказала Зямина мать. И закричала на Зяму: — А ты тут не торчи, нечего слушать, про что взрослые говорят!..

Стасик сунул пальцы в карман — Шарик там грелся и вертелся.

— Вот она, моя мама. Вся как есть. Понял?

— Ничего, — сердито отозвался Шарик. — Перехитрим.

— Маму?

— У вас ведь есть облигации?

— Ой... Это чтобы выигрывать по займу? Пачка!

— Ночью пошарю по номерам.

...Андрей Игнатьевич звонко кричал на кухне (он на радостях пропустил рюмочку):

— Я же говорил: хорошим людям завсегда счастье! Ты хоть что делай! Это надо же, пять тыщ! Ты, Галина, молодец!

— Да в чем же я молодец-то? — счастливо смущалась мама. — Просто повезло раз в жизни. Принесла газету, стала номера проверять и глазам не верю: и номер, и серия сходятся... Ой, товарищи, я теперь все долги отдам, Стаське новое пальто куплю и еще на полгода нормальной жизни хватит...

При маминой тогдашней зарплате, в восемьсот пятьдесят рублей, пять тысяч — это просто богатство...

— И коньки с ботинками, — осторожно напомнил Стасик.

— Чтобы опять отобрали!

— С ботинками не отберут.

— Зато поколотят...

«А и правда», — грустно подумал Стасик.

— Ну, тогда лыжи. С горок в Банном логе кататься. Там ребята нормальные, никто не пристаёт.

Когда легли спать, Стасик велел Шарику:

— Рассказывай, как это у тебя получилось.

— Делов-то... Недавно розыгрыш был. В городе Киеве. На сцене такие штуки крутятся, вроде стеклянных бочек, а маленькие ребята из них пенальчики достают. Ну, как губная помада у мамы. У твоей... А в них бумажки с номерами. Ну вот, один мальчик и вытянул...

— Слушай... а это честно?

— Нечестно деньги из воздуха делать, — слегка огрызнулся Шарик. — А тут все по правде. Надо было только постараться, чтобы мальчик нужный номер вытащил...

— А как ты постарался? Ты что... — Стасика вдруг обожгла радостная догадка. — Сам превратился в этого мальчика?!

— Вот еще! Просто прочитал все номера и подсунул ему под руку тот, который надо. Лучом-толкачом...

Стасик не отозвался на веселую рифму. Вздохнул огорченно:

— А я думал, ты превратился...

— С чего ты взял?

— Я не взял... Просто подумал: вот хорошо бы...

Здесь надо сделать оговорку, отступление... Было ли то, что описано в предыдущей главе? С точки зрения земного жителя вопрос нелепый. Но Белый шарик был обитателем звездного мира, где свойства и законы совмещенных пространств иногда сплетаются в клубки неразрешимых загадок... Там проблема «было — не было» вовсе не кажется такой бессмысленной.

Взять, например, явление отраженных граней! Луч временного вектора, ударяясь о соседнее многомерное пространство, как о плоскость, уходит от него рикошетом, будто от зеркала. Причем бывает, что реальный источник этого луча быстро гаснет, а отраженный в соседней грани начинает жить по своим законам, формируя вокруг себя собственное пространство и собственные события. Поди разберись: на самом деле они — или только отражаются?..

Стасик-то, конечно, о таких сложностях не подозревал. А Белый шарик задумывался. Ведь, в конце концов, это именно он лихо двинул Вильсона по вектору Времени вперед почти на полгода. За один миг! От той секунды, когда услышал Стаськины слова (просто крик души!): «Вот если бы сейчас было лето» — до майского дня, когда Вильсон оказался в парикмахерском кресле.

Двинуть-то двинул, но сколько энергии это стоило! (И опять большие шары бранили его за легкомыслие.) А основная сложность в том, что на темпоральном векторе с декабря по май возник, естественно, временной вакуум. Природа же, как известно, ни в чем не терпит пустоты. И свободный объем времени, словно бутылка с выкачанным воздухом, начал стремительно всасывать в себя поток событий.

Неясным осталось одно: случились эти события на самом деле или они — только продукт отраженного вектора? Если они были, то почему и Стасику и Яшке многое вспоминалось потом скомканно и урывками? Почему, например, Белого шарика не беспокоило, что с марта все сильнее кашляла сестренка Вильсона? Нет, он помнил это и даже несколько раз делал из хлебных крошек и горошин очень нужные для Катюшки лекар-

ства, которых не оказывалось в аптеке. Но тревоги Шарик не ощущал. Может, потому, что все чаще был занят своими звездными делами? Или дело в том, что все это было не по правде?

Но как же не по правде? Вон в углу у двери стоят Стаськины лыжи, купленные в январе. Вон на Вильсоне штаны, сшитые из обрезков костюма, который мама заказала на неожиданно свалившиеся деньги. И галстук пионерский. Значит, весной в самом деле приняли Стаську в пионеры (он все боялся, что не примут из-за двойки по арифметике)...

А главное — вот он, рядом с Вильсоном, Яшка. Не было бы Яшки, если бы не случилось тогда, зимой, разговора: «А я думал, ты превратился...» — «С чего ты взял?» — «Я не взял... Просто подумал: вот хорошо бы...»

Нет, нельзя сказать, что такая Стаськина мысль была неожиданной для Белого шарика. Смутное и даже какое-то стыдливое это желание появилось, когда Шарик подглядывал Стаськины сны. А может, и не только подглядывал, может, и подсказывал иногда. По крайней мере, Стасик этих снов утром не помнил, а Шарiku они впечатывались в память навсегда.

Стасик то пробирался среди оплетенных ползучим кустарником скал, то бежал по песку вдоль очень широкой и очень синей реки за уплывающим пароходом, то искал кого-то на узких улицах незнакомого города... И в конце концов находил! Другого мальчишку. Веселого, бесстрашного, с ясным лицом — похожего на того, который был в комнате Полины Платоновны на портрете. И тогда начинался самый хороший сон. Стасик и этот мальчишка запускали с крыши самодельный самолет, ловили в лесной траве светящихся кузнечиков, летали, обнявшись, на доске качелей, подвешенной не к веревкам, а к солнечным лучам. И дрались иногда с бледными чичами.

Чич было много. Они нападали толпой. Но как нападали, так и откатывались, прижимая к синякам и ранам немые лапы. Потому что Вильсон и его друг сражались самозабвенно... Чаше всего бой шел на скалистой площадке, у тесного входа в пещеру. Там, в этом гроте, было спрятано какое-то сокровище. Какое — не знали ни Стасик с другом, ни их враги. Но в темной глубине

пещеры горело желтым светом окно с плавно закругленным верхом и переплетом в виде буквы Т. И нельзя было подпустить пиратов к этому теплому и доброму окну. Звенели сабли, кортики и ятаганы, синий пистолетный дым ключьями застревал среди горячих камней, бледные враги с воем катились вниз, теряя рваные треуголки и башмаки. И к двум пацанам в синих матросках и красных галстуках с блестящими пряжками подступиться не могли. Потому что те стояли спиной к спине и так сверкали клинками, что ветер летел, будто от пропеллеров...

Шарик смотрел на это со стороны. Со смесью радости, зависти и ревности. Потому что не он отбивался от врагов спина к спине с Вильсоном. А так хотелось быть на месте того мальчишки!

Да, чтобы дружить с мальчиком по-настоящему, надо стать мальчиком самому. Конечно, можно сказать, что в душе Белый шарик и так был мальчишка. Но это утешение годилось лишь до поры до времени. Душа душой, а хочется, чтобы в жизнях друзей побольше было одинакового. Чтобы зимой вместе на лыжных горках, а летом на реке; чтобы вдвоем бегать в кино «Победа» на «Золушку», «Чапаева» и трофейных «Мушкетеров». Чтобы знать эту жизнь, как Стаська — на вкус, на запах, на ощупь. И чтобы — спина к спине, когда встретится компания Чичи. «Держись, Матрос Вильсон! Они не пройдут!...»

И чем дальше, тем сильнее хотелось этого. Но Шарик боялся признаться Стасику в таком желании. Во-первых, почему-то очень стеснялся. Во-вторых, было страшно, что мальчишка из него, из Шарика, не получится.

Нет, само физическое превращение в мальчика не казалось Шарiku трудным. Хитрости живых клеток ему были известны, и создать в своем сознании матрицу мальчишечьего организма ничего не стоило. Этаким штамп, чтобы потом — шлеп — и готов пацан с головой и ушами, с руками и ногами, лет десяти с виду. Но что внутри этой ушастой головы? Как быть с характером и прочими неуловимыми нейро-энергетическими полями, которые называются словом «душа»? Для души матрицу не слепишь. И если сейчас — тяп-ляп и готов мальчишка, то это будет наверняка второй Стасик. Вто-



рой Матрос Вильсон. Потому что ничьей другой мальчишечьей души Белый шарик не знал. А зачем Стасику двойник? Он и от себя-то не в восторге, а тут, пожалуйста — еще один такой же!..

Конечно, хорошо бы влиться в мальчишечье тело уже со своей собственной душой и характером. Но вот тут-то и начинался главный страх: есть ли у него, у Белого шарика, эти человеческие свойства? Одно дело жить в пластмассовом шарике и откликаться резонансом на Стаськины мысли и чувства. Другое... Вот получится ли это «другое»?

...Впрочем, скоро он сообразил, что какой-никакой характер у него есть. Потому что не может портиться то, чего нет, а Большой Белый шар прямо заявил Шарiku:

— Голубчик мой, я вынужден сказать, что порой твой характер делается невыносимым. Ты то и дело споришь со старшими.

— Дитя растет, скоро переходный возраст, — хмыкнул Красный шар.

— За такие «переходные» фокусы раньше быстренько попадали под черное покрывало, — прокричал Темно-красный шарик. Он, видимо, по старости лет забыл недавние события. Шарик только фыркнул.

— Нет-нет, мы очень благодарны тебе за то, что ты так храбро разделался с покрывалом, — заторопились, просто закудахтали Желтые близнецы. — Но зазнаваться — это очень-очень нехорошо. Это крайне повредит тебе в момент Возрастания...

— Еще больше повредит то, что он так безрассудно тратит энергию, — напомнил Большой Белый шар.

— Чтобы покрывало разодрать — это безрассудно, да? Это вы сейчас так говорите, а тогда...

— Ну, хорошо, хорошо... Но нельзя же теперь жить за счет одного подвига. Надо думать о постоянных обязанностях и о будущем. А ты тратишь энергию на посторонние дела, на игрушки.

— Моя энергия, хочу и трачу, — буркнул Шарик. Впрочем, негромко, про себя.

А про постоянные обязанности он не забывал. Не надо думать, что он проводил со Стасиком дни и ночи, беседовал да сны смотрел. Когда необходимо, он занимался своими звездными делами. Его серия двойных веерных импульсов дала в Сети такой резонанс, что о «Белом малыше» заговорили по всей округе.

Были, правда, и просчеты, а один факт совсем скандальный. Шарик засмотрелся Стаськиным сном про полет на зеленом аэроплане и постыдно прозевал отраженный импульс переменной частоты аж из самого дальнего заповедья. А перехватить его и направить по касательной к большой дуге Сети мог только он, Белый шарик: он один в этой области пространства имел нужный отражательный индекс. И прошляпил!

Тут уж он услышал про себя много чего. И не только от шаров-воспитателей, а от всех ближних и дальних соседей. И ответить нечего... И понял Шарик, что чувствовал друг Вильсон, когда забыл закрыть печную вьюшку, умчался с лыжами на горки Банного лога и выстудил комнату. «Растяпа безмозглая, только улица у него на уме! Катя и так кашляет, а ты в доме Северный полюс устроил! Вот запру лыжи в чулан!..» И ясно было, почему Стасик не огрызнулся и не обиделся, а только потерял место, по которому попало скрученным фартуком. Чего уж тут...

2

Однажды Шарик спросил:

— Вильсон, ты опять не помнишь, что видел во сне?

— Ой, помню! — обрадовался Стасик. — Здорово было! Мы... с каким-то мальчишкой, с хорошим таким, пиратов лупили! Они лезут снизу по скалам, а мы — ж-жах! ж-жах!.. Какую-то пещеру защищали. Только я не понял, при чем тут пещера? Зачем она?

— Наверное, это грот в скалах, — осторожно разъяснил Шарик. — У тебя же песня любимая: «Мы спина к спине у грота отобьемся от врага»...

— Не-е! — Стасик даже сморщился. — Ты что говоришь! В песне грот — это мачта!

— Какая мачта? — Шарик расстроился. Зря, значит, делал этому сну подсказку.

— Обыкновенная! Самая большая на корабле. С реями, с вантамн, наверху клотик.

— Что? К...лотик?

— Ну да! Не знаешь разве? Такой шарик плоский... — Стасик засмеялся. — Вот будешь подолгу под подушкой лежать, тоже сплущишься, как клотик...

— К...лотик... А лотик? Это что такое? Есть такое слово?

— Не знаю... Может, маленький лот? Такая штука, чтобы глубину измерять с корабля.

— Нет... это что-то другое,— незнакомо, даже как-то отчужденно отозвался Шарик. Он и сам не понимал, что с ним. Непонятное, полужнакомое мелькнуло в памяти яркой щелью. Словно приоткрывшийся на миг вход в иное пространство. Не в свое, звездное, не в Стаськино, а в какое-то третье...

— Ты чего испугался? — забеспокоился Стасик.

— Я нет... я... ага, испугался! Ты вот что... Не толкай меня под подушку каждую ночь, а то и правда сплущусь. Положи меня в горшок с геранью! Да не бойся, никуда я не денусь!

— Ну, пожалуйста... А, может, лучше я тебе специальный домик сделаю? Из картона, разноцветный...

— Нет! В горшок с цветком!

— Ну, как хочешь,— растерянно и обиженно сказал Стасик. И уложил целлулоидный мячик в черные земляные крошки под герань, у горшечной кромки.

...Сразу не стало Стаськиной комнаты. Окна сделались высокими, со сводчатым верхом и частыми переплетами. Вместо рыжего фанерного шкафа — большие, под потолок, часы. Лиловый кот сидел на тумбочке и терся щекой об угол граммофона. Из граммофонной трубы торчала крокодиля зубастая голова.

И мальчик, стоявший посреди комнаты, был не Стасик. Лохматый, большеголовый... И появившаяся перед ним женщина совсем не походила на маму Вильсона. Очень прямая, в длинном черном платье с блестками, с высокой седой прической, в пенсне. Серdito сверкали стеклышки.

— Фаас ту вертраахт!..

«Ты что же это натворил! — понял Белый шарик. — А ну, подойди сюда, негодник...»

...Мальчишка поправил на плече широкую лямку, заправил мятую рубашку в старые, с обтрепанными у колен кромками штаны и сказал снисходительно:

— Подумаешь... Вы даже и шлепнуть-то как следует не умеете...

— Я не знала, что у тебя в штанах столько пыли. В следующий раз заматаю себе рот полотенцем, чтобы не чихать. И возьму линейку из пальмового дерева.



— Вы же давно сломали ее о лысину директора гимназии! Сами рассказывали.

— У меня есть другая, покрепче...— Женщина отвернулась, будто опять собиралась чихнуть, но мальчик мигом учуял, что она старается не засмеяться. И засмеялся сам:

— Мадам Валентина! Вы вовсе и не сердитесь!

Она сказала с притворной печалью:

— Лотик, ты чудовище! Как я могу не сердиться, если ты чуть не загубил самый главный мой эксперимент! Ведь это еще маленький робкий росток. Над ним даже дышать надо осторожно, а ты мажешь клеем и лепишь на него какую-то гадость!

— Какую гадость?! Я окошко сделал. Вы же сами говорили, что Вселенная — это дом для всего человечества!

— Действительно, говорила. Но...

— А кристаллик — модель Вселенной! Значит, тоже дом, только маленький. А какой же дом, если без окошка?

— Гм... Но если бы ты все испортил?

— Я же осторожненько...

Оба они — Лотик и мадам Валентина — смотрели теперь на цветочный горшок, в котором лежал Шарик. Тогда Шарик бросил импульс-анализатор в часы, отразил его от стекла на циферблате и направил обратно — чтобы увидеть себя.

Но его, Белого шарика, в горшке с геранью не было. За терракотовой кромкой торчал из влажной земли синевато-прозрачный кристаллик размером с огрызок толстого карандаша. И на одной из граней его горело сделанное из желтой фольги окошко. Будто на елочном домике...

Жутковатое чувство пустоты, падения, замирания испытал Шарик. Потому что было непостижимо: вроде бы есть он на свете и в то же время его нет...

...— Ты почему не отвечаешь? — обиженно теребил его Стасик. — Опять, что ли, импульсы ловишь в своем Кристалле?

— Подожди. Я вспоминаю...

«Лотик... Лотик... Лотик...» Ребята постарше звали его Головастиком...

Жутковатая пустота рассеялась. Выросли на ее месте башни города с тесными улицами, статуями рыца-

рей и звонкими трамвайчиками, бегущими по откосам городского холма... Картина за картиной, случай за случаем... Будто он, Шарик, сидит с Вильсоном в кино-театре «Победа» и считывает импульсом с экрана полужнакомый фильм.

— Вильсон! Ты когда-нибудь слышал о городе Реттерхальме?

— Не-а... Где это?

Если бы знать где. И в какое время. И вообще — откуда все это? Может, просто сон?

Разве шарики могут, как люди, видеть сны?

И, кроме того, обычный сон — это ведь скомканное отражение того, что было.

А что же все-таки было?

Чтобы не обидеть Вильсона и чтобы разобраться самому, Шарик попробовал рассказать то, что вспоминалось. Насколько мог связно и по порядку:

— Слушай... Неизвестно где и давным-давно был старинный город Реттерхальм. Это означает «рыцарский шлем». Там жила ученая женщина Валентина фан Зеехафен. Она изучала всякие науки... И вот она догадалась, что Вселенная — это громадный кристалл. И чтобы получше изучить его свойства, стала выращивать в цветочном горшке модель Кристалла...

— Разве так бывает?

— Значит, бывает... А у нее жил мальчик, сирота. Раньше его воспитывали три тетушки, но он удрал от них.

— Сильно обижали?

— Да нет, не очень. Но Лотик разозлился на них. Они сдуру подписали вместе с другими жителями города один глупый приговор, чтобы выгнать из города мальчика Гальку...

— Кого? Это же девчоночье имя!

— Полное имя — Галиен Тукк... Его обвинили там за что-то совсем несправедливо. Не помню за что... А он был другом Лотика... А потом этот Галька пробрался на вражеский броненосец, который шел по реке, чтобы обстрелять город...

— Разве тогда были броненосцы?

— Были. Старинные, с трубой, как у самовара, с большущей пушкой. Назывались — мониторы... Галька не дал бомбе упасть на город...

— Как не дал?

— Задержал в полете своим энергополем, он умел...

А то бы она разнесла чуть не весь Реттерхальм...

— Как атомная?

— Может быть... Но он не дал. Всех моряков с монитора взяли в плен, а Гальке поставили в Реттерхальме памятник.

— Значит, простили его!

— Еще бы!.. Но он жителей не простил. И ушел из города вместе с капитаном монитора, когда того освободили.

— С врагом?

— Оказалось, что он не враг... В общем, я сам не все понимаю. Путается многое... Помню только, что Лотик потом отправился искать Гальку. Взял с собой его сестренку и ушел...

— И отыскал?

— Не знаю...

— Ну, тогда не интересно...— Стасик не любил плохие и неясные концы в историях, книжках и кино.— А почему ты вспомнил про это?

— Само вспомнилось...

Эти воспоминания тянули за собой другие: обрывки разных событий, видения городов, которых не было в Стаськином пространстве... Но Лотик вспоминался чаще всего. Он поливал особым раствором вырастающий в цветочном горшке кристаллик, а тот следил за лохматым Головастиком с любовью и ревнивым интересом. А Шарик в своих воспоминаниях следил за ними обоими. И порой вживался в их дела настолько, что забывал о своей собственной природе. О том, что он — Белый шарик. Ему казалось, что он маленький кристалл, поселившийся под геранью, а потом сознание перемещалось, и он становился Лотиком. Человеческим ребенком из города Реттерхальма.

...— Дорогой мой, безрассудство, конечно, прости-тельно детскому возрасту, но в известной доле. А ты переходишь допустимые пределы. Я всегда был снисхо-дителен к твоим склонностям, ибо и сам в детстве позво-лял себе лишнее. Однако сейчас должен заявить: огля-нись, голубчик, и скажи себе «стоп»...— Мужчина с румяным лицом и закрученными усами смотрел усмеш-ливо и строго. Сидел он, откинувшись в кресле и заки-нув ногу за ногу. Его круглый животик распирал красно-

розовую атласную ткань полосатого жилета. Это был, безусловно, Красный шар.

Мальчик перевел взгляд с полосатого живота на побитые носки своих башмаков.

— Ну, чего я опять такого сделал-то?

— И ты еще спрашиваешь...— Лысовато-седой, тоже полный дядька в светлом костюме и круглых очках покачал головой. Он стоял у окна и смотрел на улицу, а не на мальчишку. Потому что смотреть на отпетого нарушителя порядка и приличий было, видимо, неприятно.

— Он еще спрашивает! — разом сказали две худые тетки в апельсиновых платьях. Они сидели рядышком — одинаковые, с прямыми спинами и высокими желтыми прическами.— Да за такие дела тебя следует засадить под замок на целую неделю!

— Фиг,— сумрачно сказал мальчик Шарик.— Я убегу.

Сморщенный старичок в бордовом халате со скрипом повозился в кресле-качалке, окутал себя дымом из трубки и прокряхтел, что «пора драть». И Шарик опять сказал «фиг».

Красный шар заколыхался в смехе:

— Ну-с, это любопытно. Куда же ты удерешь на сей раз?

— Все туда же! Да-да, понятно! — закудахтали Желтые тетушки-близнецы.— Опять к этому хулигану Вильсону!

— Почему это он хулиган? Вы его не знаете...

— И знать не хотим!

— Дело не в том, хулиган он или паинька,— вздохнул Большой Белый шар.— Я понимаю, если бы ты подружился с каким-нибудь шариком, пускай даже в самой отдаленной грани... А этот, как его... Ста-сик... он же пылинка, живущая на поверхности... даже не настоящего шара, а детеныша одного пожилого Желтого шарика. Мы все выяснили! Он обитатель какого-то непостижимо крошечного мира. А ты на проникновение в этот микромир тратишь чудовищную энергию!

— Вам-то что...— буркнул Шарик.

— Не смей грубить! — взвизгнули тетушки.

— Не надо волноваться, сударыни.— Большой Белый шар повернулся к мальчику всем своим грузным корпусом. Снял очки и замахал ими, отмеряя слова: — Дело не в нас, а в тебе, сударь мой. Ты расходуешь запасы энергии не-ра-ци-о-нально! Вопреки законам

общего развития. И эти законы отомстят тебе. Когда наступит момент Возрастания — а он на носу! — окажется, что нужного жизненного запаса в тебе нет! Не накопил...

— Ну и что?

— А то, что останешься недоразвитым,— подал голос Красный шар.— Не дитя, не взрослый, а так...

— И не сможешь принести ни малейшей пользы Великому Кристаллу,— веско уронил Большой Белый шар самый тяжелый аргумент.— А в таком случае, зачем ты вообще на свете?

Шарик молчал, теребя галстук пыльной матроски. Он еще не знал, зачем он на свете. Может, как раз для того, чтобы дружить со Стасиком. И одна из Желтых тетушек догадалась о его мыслях:

— Он полагает, что его главная задача — общение с микробом...

«Сами вы микробы»,— подумал Шарик. Нет, видимо, не подумал, а вырвалось вслух. Тетушки одинаково всплеснули руками. Темно-красный шарик выпустил дым, будто начиненное черным порохом и лопнувшее от взрыва ядро. Красный шар надул щеки.

— Ты, голубчик, в самом деле окончательно распустился!

— Да, пора принимать меры,— сухо сказал Большой Белый шар.— Ступай в свою комнату и не смей выходить, пока не позовут.

— Ну и пожалуйста...— Он поддернул штаны и пошел к себе. Дверь он запер изнутри. Сел на облезлого деревянного коня и, качаясь, стал думать: что же дальше?

...Нет, что ни говори, а характер у него есть.

И душа. И все, что полагается нормальному мальчишке. И значит, пришло время превращаться в белокурого стройного пацана, в Стаськиного друга, который с ним «спина к спине — у грота»...

Вылепить себя можно из чего угодно: из кучи песка, из соснового кругляша, из мешка с прошлогодней картошкой. Но на первый раз лучше взять что-то похожее на настоящего мальчишку.

Сперва Шарик думал о бронзовой скульптуре мальчика Гальки, что стоит в старинном Реттерхальме на обрывистом речном берегу. Он отыскал уже этот город и этот маленький памятник, хотя оказалось, что грань

Реттерхальма и его временной вектор сильно смещены по отношению к Стаськиному. Однако Шарика смущала мысль, что статуя сделана специально в честь Галиена Тукка, спасителя города. Если Шарик оживит ее, получится самовольство и самозванство... Может, выбрать для себя какого-нибудь безымянного гипсового горниста? Их много прямо там, в Турени... Но все они какие-то лупоглазые, с тупо-благодравными лицами. Чего доброго, станешь сам таким...

Была еще одна подходящая статуя: мраморный мальчишка в глухом закоулке обширного парка. Гибко выгнувшись, мальчик стоял на заросшем лопухами постаменте, запрокинул голову и вскидывал в тонких руках воздушного змея.

Парк рос в другом, не в Стаськином мире, и не в пространстве Реттерхальма. И далеко впереди по времени. Шарик не раз видел его в своих отраженных воспоминаниях и удивлялся: откуда это и зачем? Парк никак не был связан с Реттерхальмом, с Лотиком и Галькой. Откуда он взялся? И мраморный мальчик... Но чем дальше, тем все чаще казалось Шарику: неспроста это...

...В дверь застучали.

— Зачем ты заперся? Открой сию минуту.

— Ага, как же...

— Не бойся, мы хотим еще раз поговорить с тобой.

— Опять ругать будете!

— Вы слышите, что он говорит?.. Почему ты такой неблагодарный?

А он вовсе не был неблагодарным, помнил все хорошее: как шары жалели его, как учили, как иногда и баловали... Но сейчас мальчику Шарику хотелось плакать.

— Господа! Он снова удерет к своему Вильсону!

— Да! Удери!

— Что ты в нем нашел?

— А потому что... с ним хорошо! А вы только воспитываете...

За дверью замолчали. Потом Красный шар покашлял:

— Мы это для твоей же пользы.

Шарик не слушал. Подбежал к окну, вскочил на подоконник, толкнул створки. И прыгнул со второго этажа.

...Сразу все стало на свои места, мысленная игра

кончилась. Белый шарик опять висел в пустоте, в центре звездной пирамиды, а большие шары буквально обстреливали его своими укоризненными импульсами. Но Белый шарик больше не отвечал. Собирал силы.

Запускающий змея

1

Расплывчатое воспоминание о старом парке обрело теперь ясность. Парк лежал рядом с длинным зданием старинной постройки. Видимо, это была школа, потому что среди могучих дубов, столетних лип и разросшихся кленов часто гуляли мальчики в темной одинаковой одежде с лампасами и позументами. Ребят было немного, вели они себя не шумно и в заросшем уголке парка, где стоял мраморный мальчишка со змеем, почти не появлялись. Даже днем. А уж ночью-то парк, без сомнения, был пуст совершенно. Поэтому Белый шарик выбрал ночное время.

Он протянул через три пространства, точно вдоль вектора Времени, тончайшую нить мгновенного импульса. Скользнул по этой нити сознанием, слыша за собой замирающие оклики бдительных шаров. И через миг невидимым лучом вошел в заросли.

Было темно и тихо. Ветки и листья не шевелились. Шарик ощупывал их неторопливо и с опаской. Он ощущал боязливую радость и замирание, словно пацаненок, впервые забравшийся в чужой сад. Но когда лучразведчик тронул теплое, не остывшее за ночь плечо мраморного мальчишки, Белый шарик успокоился. Будто встретил доброго приятеля. «Здравствуй...»

Луч осторожно вошел во впадинку под мраморной ключицей, и Шарик заполнил энергией микроскопические поры каменного тела. Заполнил с о б о й. Стал мальчиком, запускающим змея.

Но он оставался пока мраморным мальчиком — закаменевшим в броске. Надо было превратить мельчайшие кристаллики известняка в клетки живого тела.

Получится? До сих пор Шарик был уверен, что да. А сейчас испугался. Ведь он не знал, как это делать. Только чувствовал, что м о ж е т. Но если чувство это —

обманчивое? Вдруг от решающего импульса мраморное тело не оживет, а рассыплется на куски?

Тогда — что?

Жаль мраморного мальчика со змеем, хотя он и не живой. А кроме того, что будет с самим Белым шариком? Вдруг тоже разорвется и перестанет существовать? Впервые страх реальной гибели холодком прошелся по Шарику.

Шарик чувствовал, как энергия слабеет от беспокойства. А тут еще одна тревога коснулась его. Извне!

Кто-то вышел на заросшую лужайку рядом со скульптурой.

Этого еще не хватало! Превращаться на глазах у постороннего было невыносимо. Белый шарик замер. То есть он замер внутренне, в душе, а внешне он и так был каменный. Его заполняла тяжелая застылость нечувствительных мышц. Шарик рассердился на себя и сосредоточил внимание.

Он понял, что на лужайке появился еще один мальчик. Живой.

Зачем?

Белый шарик бросил в мальчишку пучок незаметных импульсов-анализаторов. Тот оказался постарше Стасика, шуплый, с мягкими волосами (они разлетелись, когда мальчик резко оглянулся). Трава шелестела по шелковистым штанинам его пижамы — видимо, ночной гуляка только что выбрался из постели.

От мальчика веяло теплом, но в тепле скользнула зябкая струйка печали и беспокойства. Всех причин этого Белый шарик понять не сумел. Их было много, Шарик улавливал лишь одну — связанную с тем, кого мальчик держал в ладошке.

Этот «кто-то» был маленький, но не птичка, не мышь, не бабочка... И вообще он состоял не из биоткани. Но в то же время был отчаянно живым. Клубок тревоги, радости, грусти и виноватости жил в руке у мальчишки. Шарик ощутил, как излучение рвется сквозь тонкую мальчишечью ладонь. Мальчик и сам чувствовал это. Сказал малышу полупшепотом:

— Вот, пришли уже... Не бойся, теперь скоро.

— Я не боюсь,— соврал маленький. Это он не словами сказал, а ответил мыслью, импульсом. Так же, как Шарик разговаривал со Стасиком.

Неужели у незнакомого мальчишки тоже был шарик?

Белый шарик увеличил мощность пучка-анализатора, чтобы прошупать глубже, понять: кто там? И тут же резко сбавил напряжение. Потому что в последний миг его остановило ощущение разгадки. Вот-вот откроется что-то знакомое и очень горькое. Такое, что лучше не вспоминать. Захотелось даже рвануться назад, повиснуть в знакомой пустоте пирамиды под охраной больших шаров... Но Белый шарик запретил себе это. И ждал, замирая.

Мальчик взял из травы небольшую доску, положил ее в нескольких шагах от статуи. Долго возился, подкладывая под доску разбитые кирпичи и что-то считая шепотом. Потом прошептал чуть громче:

— Ну, все, Яш... Попробуем?

«Яш...» — толкнулось в Шарике это коротенькое слово. Даже не имя, а полуимя, намек. Шарик содрогнулся всем своим энергополем, опять ослабел и уже без страха, со сладко-печальной покорностью перестал сопротивляться памяти.

Он знал уже, что в руке у мальчика небольшой, ростом с мизинец кристалл. Не просто знал, а ощущал его! Настолько ощущал, что почти слился с этим живым кристаллическим малюткой, выросшим в цветочном горшке мадам Валентины. И когда мальчик прижал малыша к щеке, Шарик на себе ощутил тепло этой щеки.

Кристаллик сказал чуть виновато:

— Пробовать нельзя, надо сразу. Если я упаду назад, ты не найдешь меня в траве.

— Тогда готовься. Давай не будем прощаться долго.

«Не будем...» — отозвалось в Белом шарике. — Я тебя не забуду, пускай хоть как вспыхну...»

Шарик чувствовал все, что излучает маленький кристалл. А излучал он и боязнь полета, и твердую решимость, и печаль расставания, и виноватость, что покидает друга. И нетерпение!

— Счастливой дороги, Яшка.

Мальчик на миг еще крепче прижал малыша Яшку к щеке. И быстро опустил его на конец доски...

Белый шарик опять ощутил замирание — такое, как у человека перед прыжком в пустоту. Но понимал все отчетливо: «Вот и вернулся ты по вектору Времени к мигу своего рождения... Случайно так вышло? Или какой-то закон?»

Но это было еще не рождение. Еще только старт перед полетом во тьме — томительным и бесконечно долгим, до встречи со случайной космической пылинкой, от столкновения с которой вырастет и разгорится белым светом масса новой звезды... «Не забуду, пускай хоть как вспыхну...» А ведь забыл! И даже сейчас ты, Белый шарик, не можешь вспомнить все, что было... Кто же этот мальчик-то? Почему все так переплелось?

...Мальчик вскрикнул и ударил пяткой по концу доски. Другой конец швырнул Яшку в ночную высоту. И малыш-кристаллик помчался в черный зенит. С нарастающей скоростью. Толкаемый то ли волей мальчишки, то ли собственным желанием.

Мальчик и сам ринулся за улетающим кристалликом — душой и мыслью. А следом за ним рванулся в импульсе-полете Шарик. Он скоро обогнал мальчика и летел, летел за Яшкой в межзвездной пустоте, не замечая времени, пока предчувствие близкого столкновения и вспышки не остановило его. И он испуганно заскользил по вектору назад — в прежнюю точку, в прежнее время.

Но, кажется, со временем Шарик ошибся. На час или два. По крайней мере, когда он опять оказался внутри мраморного тела, мальчика на лужайке не было. Только в спящем биополе деревьев и травы легким облачком висело другое поле — след мыслей и ощущений тех, кто здесь недавно прощался друг с другом. Этаким запахом печали...

Но где же он, этот мальчишка?!

Надо его найти! Расспросить! Все вспомнить!

Отчаянное желание — бежать, встретиться! — сотрясло Шарика. Это была мучительная и сладкая дрожь, как судорога последнего озноба, когда иззябший человек попадает в теплую комнату. Шарик почувствовал, как упругим делается тело, как щекочущие разбегаются по нему густая микросеть кровеносных сосудов.

Мраморный мальчик — Белый шарик — стал настоящим!..

Да, но змей-то остался мраморным. В руках у статуй он выглядел взлетающим, легким, но для живых детских рук его тяжесть оказалась непосильной! Чтобы каменный пласт не грохнулся на голову, Белый шарик изо всех сил толкнул змея в одну сторону, а сам рванулся в другую... И полетел с пьедестала!

Он тут же вскочил — с негромким, но настоящим человеческим воплем. Первый контакт с местной природой оказался знакомством с крапивой. Танцуя, как ди-карь, Белый шарик выскочил на низкую безобидную траву. Подпрыгивал и ладонями сгонял с кожи боль ожогов. Горячий зуд исчезал быстро, и уже через минуту случившееся показалось Шарику смешным. Он сказал себе назидательным голосом тетушек-близнецов:

— Так бывает с каждым, кто суется куда не положено...

Потом вздохнул, потянулся, замер. Последнее щеко-тание крапивных укусов пропало, а другие ощущения были ласковыми. Трогал кожу теплый воздух. Упал на плечо — словно крылышком задел — разлапистый платановый лист. Мягко пружинила под ступнями прохладная трава. Даже белые мохнатые звезды казались осязаемыми — словно касались плеч и лица лучами с пушистыми кисточками на концах. И Шарику сейчас в голову не приходило, что эти дрожащие огоньки — шары, живущие в глубине Великого Кристалла. Просто с ночной Земли смотрел первый раз на звездный небосвод замерший от волнения мальчик.

Смотрел и чувствовал. Вбирал в себя запахи травы, листьев, древесной коры. Ощущал сквозь заросли сонную жизнь недалекого большого города — с его асфальтом, камнями, озоном от электрических моторов, радиошепотом антенн... Видел, как на постепенно светлеющем небе проступает черный рисунок листвы... Дрогнула ветка, пискнула во сне какая-то птица... Все это было таким радостно-неожиданным, что сбивалось дыхание.

Да, он ведь дышал!

Вбирать в себя воздух, смотреть мальчишечьими глазами, осязать все живыми нервами — это было совсем не то, что познавать мир с помощью импульсов-разведчиков. Конечно, импульсы могли дать всякой информации не в пример больше человеческих нервов. Но чтобы вот так — мгновенное счастье от случайного ветерка, от легкого вскрика птицы или касания лохматой головки белцвета — этого импульсы в себе не несли...

Вся эта новизна так завораживала, кружила голову, что мысли о незнакомом мальчике и Яшке отодвинулись, почти позабылись. Такое легкомыслие, конечно, было бы

невозможно для Белого шарика — звездного жителя Великого Кристалла. Но для мальчишки, сбежавшего из дома в неведомый край, — вполне простительно.

И мальчишка этот в полумгле робкого рассвета наугад побрел с лужайки, где остался опустевший постамент.

За тем участком парка, видимо, никто не ухаживал. Стеной стояли сорняки. Белый шарик продирался сквозь неподатливые стебли и большие листья с твердыми, как жесть, краями. Они и шуршали по-жестяному. И царапались. Но даже это царапанье нравилось Шарiku: он чувствовал, он ж и л как человек.

Потом начались мелкие кусты с мягкой листвой, которая влажно липла к коже. И наконец Шарик опять выбрался на открытое место. Рассвет набирал силу, но деревья еще казались черными. Шарик огляделся: куда идти? В общем-то, все равно. Спокойно и беззаботно было в эту минуту на душе у Белого шарика. Он опять потянулся, подобрал легкими и кожей посвежевший воздух раннего утра. Снял с плеча листик, выбрал из спутанных волос две репейных головки. Ладонью покатав их по руке от плеча до локтя. Их покалывание и щекотание тоже было приятным.

«Как игрушечные ежики», — пришло Шарiku в голову чисто человеческое сравнение. Он улыбнулся и... тут же вздрогнул от нового толчка тревожной памяти. «Ежики!» — это было не только название колючих зверьков. Это было имя, а точнее, ласковое прозвище мальчика. Того, кто забросил в пространство Яшку... Именно «Ежики», а не «Ежик»... Память словно прорвало!

Ежики жил здесь, в этой школе! В лицее!

Его привезли сюда, потому что он остался один! Ему сказали, что мама погибла в катастрофе!

Он не верил! Он искал ее, изматывал в этих поисках силы и душу! И только один у него был друг, один помощник — маленький кристаллик-талисман Яшка...

На Яшку и была у Ежики последняя надежда...

«Но я и в самом деле помогал ему!» — сказал себе Шарик. И сам же ответил, потому что некуда было деться: «Помогал, пока не приспичило сделаться звездой».

«Но... я и сделался! Это была моя цель!»

«А что сделалось с ним? С Ежики? Когда ты улетел...»

«Пока... пока, наверно, ничего! Ведь по здешнему времени я улетел совсем недавно! И Ежики, наверно, просто спит сейчас. Или бродит где-нибудь по парку...»

«Значит, я не зря вернулся,— с облегчением подумал Белый шарик.— Значит, не случайно...»

Самое время было отыскать Ежики! Чтобы защитить его от недругов и бед. «Видишь, я опять пришел! Не бойся никого!»

Это надо сделать скорее! Потому что очень уж томит и грызет смесь вины и печали — тоскливое чувство, которое у людей называется «совесть».

Но куда идти? Белый шарик обвел глазами обступившие поляну дубы и липы. И увидел, что среди темных стволов движется желтый огонек.

На полянку вышел мальчик со свечкой. Нет, не Ежики, поменьше. Даже поменьше Шарика. Тошенький, босой, в майке и трусиках, с легкой пижамной курточкой на плече. Свечку он держал так, что она освещала его лицо. Задумчивое такое, серьезное...

Шарик уже понимал: ничто здесь не происходит случайно. И пошел навстречу мальчику.

Они остановились в трех шагах друг от друга. Мальчик смотрел вверх свечи. Потом сказал одними губами:

— Здравствуй.

— Здравствуй... Ты кто?

— Юкки... А ты?

— Я...— Белый шарик вдруг смутился и растерялся. И выговорил сбивчиво, неожиданно для себя: — Я... Яшка...

Мальчик опустил пониже свечку, наклонил к плечу голову.

— Правда Яшка?... Как быстро ты вернулся.— Не было в его словах удивления.

— Разве ты меня знаешь?

— Нет. Но я догадался, что ты т о т Яшка...— Мальчик поставил свечку на заросший пенёк от дуба. Дрожащий огонек стал бледным, потому что делалось все светлее. Мальчик подхватил курточку и опять выпрямился. Молчаливый, понимающий.

— Я... не быстро вернулся,— насупленно объяснил Белый шарик.— Это так получилось. Потому что меня оттянуло назад по вектору...

— Это бывает,— сочувственно сказал Юкки.

И тогда Белый шарик... нет, не Шарик, а мальчик Яшка виновато и нерешительно спросил:

— А Ежики... ты его знаешь?

— Конечно!

— А он... где?

Юкки вздохнул:

— Он ушел. Недавно... Но ты не бойся, с ним все будет в порядке.

— Да?!

— Да. Он ведь уже на Кольце... И мама его жива...

— Да? — опять сказал Яшка.

— Посмотри сам. Видишь, свечка горит! Если о ком-то спрашиваешь, а она не гаснет, значит, человек — живой.

— Ты для этого и ходишь со свечой? Чтобы узнавать про всех? Это анализатор?

— Просто я играл в темноте, — объяснил Юкки. И добавил чуть уклончиво: — Всякие бывают игры.

— А Ежики... Где его теперь искать?

— А зачем? — отозвался Юкки и глянул пристальнее. — Разве ты его ищешь!

«А ведь в самом деле! — ахнул про себя Яшка. Вспомнил! Будто ветром дохнуло из распахнутого окна: — Стасик...»

Но как же теперь быть?

— Иди к тому, кто ждет, — сказал Юкки. — А Ежики... Ему и так будет хорошо.

— Да? — сказал Яшка с легкой ревностью, но и с облегчением. — Ну, что же... А... куда идти?

И он сник, чуть не заплакал обыкновенными ребячьими слезами. Потому что лишь сейчас понял, какую сотворил глупость! Не было тут никакого Стасика, он остался в далеком прошлом. И города Турени, скорее всего, не было. Здесь другая грань Кристалла, другой мир, другое время! Белый шарик могучими энергетическими импульсами сумел бы пробить бесконечную толщу многомерных пространств и вернуться по вектору назад, к Стасику. А мальчик Яшка этого сделать не сможет...

Что же теперь? Оставить здесь, в траве, неподвижное мраморное тело, уйти по лучу в свою звездную пирамиду и начинать все сначала? Но Белый шарик уже привык именно к этому лохматому поцарапанному мальчишке, который помог ощутить ему земной мир. И который умеет запускать воздушных змеев!.. Расстаться

с ним навсегда — это было теперь почти все равно что помереть!

Яшка сказал тоскливо, не Юкки, а себе:

— Если бы просто через грани, я и в таком виде пробился бы. А назад сквозь время никак...

Юкки откликнулся негромко, но уверенно...

— По-моему, тебе надо на Дорогу.

— Что?.. Наверно, да, надо! — с надеждой воскликнул Яшка. Он сразу понял, что речь идет не о простой дороге, а о Дороге. В этом слове было обещание счастливого выхода.

— Я тебя провожу. Только... — Юкки скользнул по Яшке глазами. — Ты что, так и пойдешь?

Лишь сейчас Яшка сообразил, что он без всякой одежды, и устыдился. Впрочем, не сильно. Юкки смотрел без насмешки, только озабоченно.

— Давай я тебе что-нибудь принесу...

— А, чепуха! — Поддавшись радостному импульсу вдохновения, рванул Яшка лопух, прижал его к бедрам и единым толчком энергополя сотворил на себе такие же, как у Юкки, зеленые трусики. Только они получились мягкие и пыльные, как сам лопух. Но это был пустяк! Из второго лопуха — мягкого и белесого — вышла белая майка. Юкки не удивился. Спокойно одобрил:

— Хорошо у тебя получается.

— Если надо будет, я еще что-нибудь сделаю, — похвастался Яшка. — Вот хотя бы такую же курточку...

— В точности такую же не сделаешь, — возразил Юкки с грустинкой. — Это Ежик мне оставил, когда уходил на Кольцо...

Совість опять царапнула Яшку. И снова кольнула его ревниость. Но уже звенело в нем нетерпение:

— А где Дорога? Далеко?

Юкки чуть улыбнулся:

— Недалеко. Начало Дороги всегда рядом. А там уж как получится... — Он взял Яшку за руку очень теплыми пальцами, шагнул. Яшка послушно двинулся следом. Скоро на пути оказался бурливый, скачущий по донным камням ручей. Через него было перекинута могучее бревно с грубой корой. Юкки стал на него, потянул Яшку.

— Теперь закрой глаза. Обязательно.

— Свалюсь ведь!

— Держись за меня крепче, иди осторожней...

Яшка вцепился в локоть Юкки. Пошел, зажмурившись и нащупывая подошвами рубчатую кору. Ойкал тихонько от страха и от того, что снизу было влажным холодом и колючими брызгами...

Потом это разом кончилось, и ноги обдало пыльным теплом.

— Всё! — звонко сказал Юкки, и разнеслось рассыпчатое, как стеклянные пластинки, эхо.

Яшка распахнул глаза. Вымошенная серыми плитами дорога лежала среди волнистого песка. Но песка было немного — от дороги шагов по двадцать в обе стороны. А дальше начиналось темно-синее небо. Оно оказалось всюду: с боков, впереди и над головой. Маленькое белое солнце висело высоко и грело песок и камни. И Яшкины плечи. Оно светило ярко, но вместе с ним светили и лучистые звезды. А слева, из-за песчаного края, медленно выползал розовый, громадный, в оспинах кратеров шар Луны.

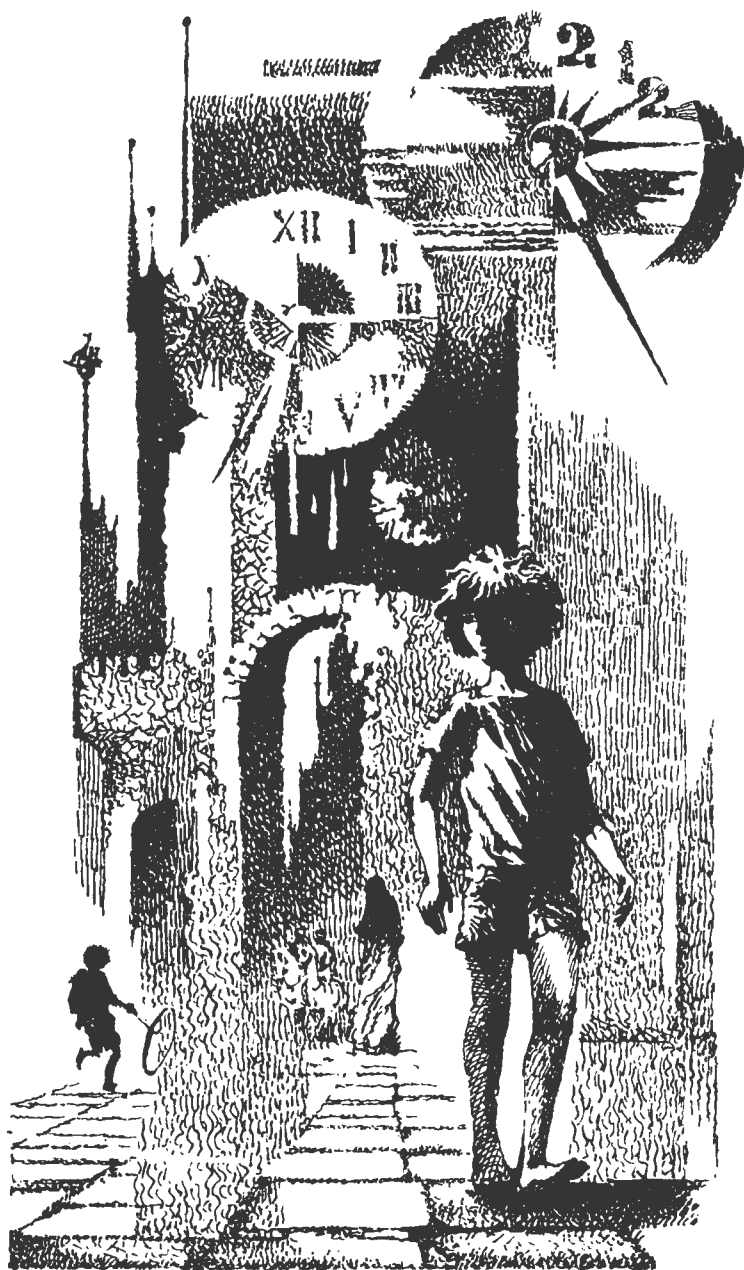
Дорога с желтыми лентами обочин висела среди этого солнечно-звездного мира прямой полосой и терялась в бесконечно далекой точке. Это впереди. А сзади?

Яшка рывком оглянулся. Сзади было то же самое: небо и путь, убегающий вдаль. Ни ручья, ни деревьев. Ни Юкки...

Одиноко стало Яшке. Не по себе. Но все-таки он был Белый шарик и в глубине души помнил, что уйти отсюда и вернуться в привычный мир звездной пирамиды может в любой миг. А пока... Яшка подпернул трусики и зашагал по теплым камням.

3

Скоро Яшка привык к Дороге и перестал чувствовать одиночество. Тем более что время от времени он видел людей. Они возникали в сотне шагов, будто из воздуха, двигались навстречу Яшке и пропадали у него за спиной. Проехали два всадника на гнедых тонконогих жеребцах — смуглые, в белых плащах и тюрбанах, с крючконосыми строгими лицами. Поперек седел у них лежали длинные ружья. Яшка струхнул, но всадники приложили к груди коричневые ладони и поклонились на ходу. Яшка растерялся и тоже неловко поклонился... Прошла женщина в темном длинном платье с маленькой



девочкой на руках. Девочка спала. Женщина молча и печально глянула на Яшку... Потом проскочил по другому краю дороги рыжий мальчик поменьше Яшки. Он был в матросском костюме и толстой проволокой с крючком гнал перед собой обруч от бочки. Обруч подскакивал, а на мальчишкиной сандалиии хлопал отстегнутый ремешок. На Яшку этот конопатый даже не взглянул. Ну и подумаешь...

Оказалось, что и сама Дорога вовсе не однообразна. Каменные плиты порой сменялись отшлифованной гранитной брусчаткой или потрескавшимся асфальтом. Песок по сторонам тоже тянулся недолго. Скоро обочины зазеленели. В траве мелькали то пунцовые шарики клевера, то золотые звездочки осота, то высоко торчали розовые свечи иван-чая. А один раз было и так, что Яшка целых полчаса шел среди рослых цветущих подсолнухов.

Кое-где стояли у обочин старые дуплистые ясени.

Вдали иногда чудились крыши и блестящие башни городов, порой среди звезд появлялись и плыли, как белые луны, циферблаты часов. Они были разной величины и показывали разное время, а на некоторых стрелки бегали, как на секундомерах,— поди разберись, что к чему. Яшка и не пытался разобраться. Просто шагал без устали и смотрел. Он верил Юкки и знал, что рано или поздно Дорога приведет к Вильсону.

Временами над Дорогой нависали решетчатые полупрозрачные мосты без начала и конца, и по ним проносились разноцветные вагоны. Низко проскочил трескучий старинный самолет с красными крыльями и самоварной трубой. Труба дымила, сквозь стеклянные стенки капота было видно, как ходят шатуны и вертятся медные колеса мотора. На стекле и меди горели солнечные искры. Похожие на бублики колеса пронесли метрах в пяти над Яшкиной головой, обдало ветром от пропеллера. Яшка даже присел. А потом увидел, как впереди на Дорогу легко падает что-то белое, квадратное.

Он подбежал. На камнях лежал воздушный змей.

Обычный змей, с рейками крест-накрест, с мочальным хвостом. Он был сделан из половинки газетного листа, и на листе этом Яшка прочитал заголовок: «Туренская правда».

Он обрадовался так, словно самого Стасика увидел. Конечно же, змей был знак того, что встреча близка!

Ура!.. Змей — звонкий, легонький. От уздечки тянулась суровая нить. Не длинная, метров пять. Ну ладно, согнется и такая. Яшка умело (будто и правда делал это тысячу раз) намотал нитку на большой палец правой руки. А левой взял змея за уздечку. И — вперед!

Встречный воздух ударил в натянутый газетный лист, подхватил. Нитка, сматываясь, задергала палец, заскользила сквозь левый кулак. Потом рванула палец, как леска с попавшейся шукой — конец был привязан. Яшка оглянулся на бегу. Змей летел следом. Но — вот чудото! — он уходил все выше. Нитка непонятным образом удлинялась. Скоро змей был уже так высоко, что задел в небе один круглый циферблат. Тот покатился вниз и далеко позади Яшки грохнулся с фаянсовым звоном.

«Не влетело бы! — с веселой опаской подумал Яшка и припустил еще быстрее.

Быстрее полетел в лицо и встречный воздух. Он был теперь влажный, с запахом мокрых тополей, будто недавно здесь прошел дождик. А может, так и было? Во впадинах плит блестели водяные зеркальца: в них вспыхивали искры солнца и звезд. Попадались и большие лужи. Яшка весело разбрызгивал их, а через одну, широченную, решил перепрыгнуть. И перепрыгнул! Но поскользнулся и шлепнулся так, что в ушах словно затрезвонили будильники. Змей, конечно, оторвался и пропал.

Яшка посидел, помотал головой, усилением воли прогнал из костей и мускулов боль. Уперся в плиту ладонями и глянул в лужу, на краю которой приземлился.

Из гладкой воды смотрел на Яшку лохматый лубопытный пацаненок. С круглым лицом, вздернутым носом и удивленно приоткрытым ртом.

«Это... кто же?.. Это я, да?»

Ну и ну! Вовсе не похож он был на мраморного мальчугана в парке. Тот — весь такой ладный, гибкий, красивый, а этот... Костлявый, голова большая, плечи узкие... Головастик.

«А ведь Головастик и есть! — понял и узнал он. — Лотик, вот ты кто!»

Значит, вои как повернулось! Настолько крепко засела в Белом шарике память об этом приеме мадам Валентины, что в него, в Лотика, он и превратился... Конечно! Мраморный мальчик — он ведь без души, просто оболочка. А что такое человеческие привычки и характер, ребячья радости и капризы, кристаллик Яшка

узнавал от восьмилетнего Головастика. «Ведь я и раньше представлял себя таким! — вспомнил он. — И когда дружил с Ежики, показывался ему в таком вот виде! На экране...»

Напоминание о Ежики опять кольнуло Яшкину совесть. И чтобы отвлечься, он досадливо спросил себя: «А что я — один только Лотик? От самого меня, что ли, ничего во мне нет?» И поглядел на отражение сердито и требовательно.

Нет, из лужи смотрел все-таки не Лотик, а именно Яшка. Постарше Лотика и не такой уж «головастик». И хитроватые черные глаза были смелее, чем у того реттерхальмского малыша... Ну, не красавец, конечно, да что теперь делать-то? Не превращаться же в другого. Во-первых, скорее всего, и не получится. А во-вторых, даже и нечестно как-то. Раз уж он такой — Яшка! — значит, такой и есть. А красота — тьфу на нее! Невеста он, что ли! Главное, что получился настоящий человеческий мальчишка. Ловкий! (Яшка попрыгал побезьянью на краю лужи.) Загорелый! (Он повертел плечом с шелушащейся кожей.). И — неглупый! (Отражение сделало серьезную гримасу.)

Впрочем, серьезности хватило на две секунды, а затем Яшка (для самокритики!) показал себе язык. Убедившись, что отражение поступило так же, Яшка задумался: чем бы удивить двойника? Но, посидев у лужи несколько секунд, удивился сам. Вот чему: перестали отражаться звезды и солнце! Над головой они горели по-прежнему, а в темной воде исчезли. Побледнел, почти растаял и перевернутый в луже сам Яшка, а за слоем воды, как за стеклом, открылась пустота с цепочкой огоньков.

Это был туннель!

Ну что же, если над Дорогой могут возникать мосты, почему бы под Дорогой не появиться туннелю? Удивительно было другое. Яшка видел этот подземный коридор как бы сразу во всех направлениях. Всеми нервами ощущал его длину и ширину.

По туннелю тянулась черная полоса антиграва — полотно для стремительных поездов городского сообщения. Бетонная труба коридора плавно изгибалась.

«Кольцо!» — понял Яшка с резким испугом. Испуг был не напрасен: по антиграву мчался мальчик — испугленно рвался вперед! Мелькали, почти размазываясь в воздухе, коричневые ноги, за спиной трепетала, будто

флаг, курточка из легкой тетраткани. Искрами пота и слез блестяло запрокинутое лицо...

«Ежики!»

Ежки не мог ни слышать, ни видеть. Он был вообще уже не на Земле. Земля предала его! И он был теперь не мальчик, он был вектор, прорубающий силовые линии и грани Кристалла. И хотел одного — удара и вспышки! Чтобы превратиться в звезду! Может быть, там, в новом мире, найдет он то, что отобрали у него здесь: дом, друзей... маму!..

— Не надо! Не смей!! — зашелся криком Яшка. Потому что нельзя стать звездой от удара о встречный поезд. Кольцо — не Космос. — Ежки, стой!

Белые отблески фар летели по бетонным закруглениям. И вот из-за поворота вынеслась яркая стеклянная сигара головного вагона. Равнодушно блестя глаза-линзы автомашиниста.

— Не надо!!

Ежики мчался. Но, видимо, в последний миг вся его природа, все существо ужаснулось налетающей гибели, восстало! Тело Ежики выбросило перед собой могучий заряд защитного энергополя, а само отлетело к бетонной стене.

Время загустело, замедлилось в сотни раз, и Яшка в этом вязком потоке растянувшихся мгновений видел, как головной вагон колоссальной силой инерции плющит, сминает, рвет силовую решетку поля, а Ежики — уже без памяти, переворачиваясь в воздухе, падает к рубчатому краю вагонной подошвы. И было ясно, что защитное поле не выдержит. Ему не хватит самой малости! Резиновые рубцы чиркнут Ежики по волосам, зацепят, затянут между подошвой и полосой антиграва, и...

Яшка крикнул с надсадным всхлипом. Взмахнул сомкнутыми ладонями и, как топором, врубил между поездом и Ежики плоскость рассекающего импульса. Поезд зашвистел, задевая вагонами невидимую стенку. Поле Ежики свернулось в кокон и сквозь бетон, сквозь черноту межпространственного вакуума швырнуло мальчишку в другой мир. В седые одуванчики холмистого луга...

Яшка обессиленно лежал на краю лужи и видел в зеркале воды, как Ежики поднялся, пошел среди травы, встретил на тропинке паренька с велосипедом. Как они вдвоем двинулись к одноэтажным домикам поселка. И как Ежики вдруг побежал навстречу женщине, которая вышла из низкой зеленой калитки...

Потом опять отразились звезды. Задрожали, расплылись в пятнышки, превратились в маленькие желтые окошки, словно в глубине засветился огнями ночной городок.

Яшка закрыл глаза и лег на спину. Отпечатки окошек танцевали под веками, словно квадратные бабочки. Плита давила затылок и костлявые лопатки. Сердце колотилось... (А в центре звездной пирамиды неровно пульсировал, бился, разгораясь и затухая, Белый шарик — под испуганные вопросы и восклицания больших шаров. Импульсная нить между Белым шариком и мальчиком Яшкой вибрировала и дергалась, как нитка змея на неровном ветру. Потому что шарахнуть рассекающей импульсной плоскостью на таком расстоянии и через несколько граней — это даром не проходит...)

«Эх ты, Юкки... — подумал Яшка. — Говорил, что все будет в порядке...»

«Но ведь, в конце концов, и так все в порядке. Может, все, что было, не случайно?»

Наконец Яшка разомкнул ресницы. Небо над ним оказалось голубым, светлым. Не было звезд, а были маленькие ватные облака. Солнце сверкнуло из-за облака, лучами ударило по лицу. Яшка заморгал, сел.

Он был теперь на твердом песке, у воды. По желтоватой воде шлепал колесами коричневый буксир. Неподалеку чернела на отмели старая баржа, от нее пахло теплым ржавым железом. Железом пахло и от рельсов, которые тянулись вдоль берега. А за рельсами поднимались заросшие откосы...

Яшка встал и зашагал по песку. Скоро он оказался у зеленого домика с башенкой и плавучими причалами. Здесь былолюдно и шумно. От пристани подымалась между заборов и складов тропинка. Она вывела Яшку на старую, поросшую майской молодой травой улицу с разномастными, косо стоящими домами, с лесенками и мостками. На ржавой табличке он прочитал: «Баный лог».

Прыгая по дощатым ступеням, по косо лежащим гранитным плитам, Яшка — вверх, вверх! — проскакал Баный лог до конца, свернул в Катерный переулок и увидел длинный приземистый дом с мятыми жестяными теремками над водосточными трубами.

Одно окно было распахнуто, но его целиком закрывала марлевая занавеска. Это было то самое окно, Стаськино.

Яшка подошел на цыпочках. Чуть-чуть отодвинул марлю. Никого он в комнате не увидел, лишь в деревянной решетчатой кровати кто-то дышал. Тихо и неровно. Яшка скользнул через теплый, с облупившейся краской подоконник. Пахло лекарствами и пеленками. Яшка тихонько подошел к кровати. Крошечная девочка в распашонке тяжело, беспокойно спала, прижав к бокам сжатые кулачки.

Было ясно, что дышать ей мешала клейкая противная жидкость, скопившаяся в легких. Яшка постоял, напружинив плечи. Накачивая силы, сосредоточивая волю. Накрыл девочку тугим колпаком энергополя. Приказал ему вывести из легких наружу молекулы жидкости — между молекулами мышц, кожи и рубашонки. Морщась от отвращения, собрал в воздухе всю эту гадость в комок и взглядом швырнул его из комнаты между краем занавески и оконным косяком. И сжег невидимой вспышкой... Затем убрал поле и глазами приласкал, успокоил спящего крошечного человека. Щеки у девочки зарозовели, она задышала чище, ровнее. Расслабила ручки.

Яшка смотрел на девочку с любопытством и с тайной, самому еще непонятной ласковостью: какая кроха! Наверно, еще ничего не понимает...

Девочка забавно улыбнулась во сне. Потом открыла глаза. Сморщила нос и тихонько чихнула. Яшка засмеялся. Девочка вдруг вскинула ножки, дернула ими и села.

— Ты кто? — весело сказал Яшка, хотя, конечно, знал, кто это.

Девочка подползла к барьеру кровати и вдруг неуверенно, колченого поднялась, хватаясь за палочки. Заулыбалась опять. И, держась за верхний брусок, несколько раз резво присела. Словно поплясать захотела.

Яшка засмеялся. И услышал за дверью шаги Вильсона...



Часть 3 ЯШКА

Детдомовец

1

— Яшка я! Ты же сам хотел! Вот я и есть! — несколько раз повторил он. И наконец сообразил: Вильсон же не знает его нового имени! — Ну, Шарик я! Белый шарик!

Стасик даже о Катюшке забыл. Сказал тихо, испуганно:

— Врешь...

— Почему? — обиделся Яшка.

«Почему»!.. Нет, Стасик не сомневался, что Белый шарик может превратиться в мальчика. Но разве... в такого вот? В тощего лохматого замухрышку! Не то цыганенок из табора за вокзалом, не то просто беспризорник.

Яшка понял. Переступил на желтых солнечных половицах босыми ногами.

— Я и сам хотел... Ну, чтобы как на портрете у Полины Платоновны. А вышло вон что. Ну, раз я такой...

Что-то сдвинулось в душе у Стасика. И уже не от неверия, а от смущения он глупо сказал:

— Докажи.

Мальчик посмотрел из-под волос уже без веселых искорок.

— Дурак ты, Вильсон. А кто вылечил Катю?

— Ты? — сказал Стасик радостно и виновато (а Катюшка все приседала, держась за планку, и улыбалась).

— А может, ты? — отозвался Яшка уже с ехидцей. Это была последняя капля. Все изменилось вокруг и в самом Стасике, хлынуло на него горячее счастье. Потому что все разом! И Катька здоровая, и лето пришло, и Белый шарик вот он, живой, настоящий! Главное, что это ОН. А какой с виду, вовсе и не важно... Нет, важно! Замечательно, что он не киношный Тимур, которого Стасик наверняка стеснялся бы, а настоящий веселый Яшка!

Даже у самых сдержанных мальчишек бывают в жизни моменты, когда чувства не сдержать. Потом и вспомнить неловко, а в этот миг в душе кипенье радостных слез. Стасик облапил Яшку, уткнулся носом в его голое плечо, зашептал:

— Хороший ты мой... Ты насовсем пришел, да?

У Яшки сладко зашекетало в груди и в горле. Он закашлялся. Погладил торчащие под рубашкой Стаськины лопатки.

— Ну, чего... ладно... Гляди, Катьке надо пеленки менять.

— А ты ее как вылечил? Полностью?

— А чё, наполовину, что ли? Делов-то...

— Мама с ума сойдет от радости!

Мама не сошла с ума. Но радости и правда было много. И страха: а вдруг это лишь короткое облегчение в болезни? Тут же мама потащила Катюшку в поликлинику. Участковая врачиха, недавно предрекавшая печальный конец, была в отпуске. А замещавшая ее докторша рассердилась:

— Что вы морочите голову! Здоровый ребенок!

Потом посмотрела записи в истории болезни и только плечами пожала.

Зямна бабушка сказала, что вечером пойдет в церковь — с благодарственной молитвой Богородице. Мама украдкой сунула ей деньги: пусть поставит свечку, самую большую. Соседи шумно обсуждали счастливое выздоровление младшей жительницы дома. И в общей этой радости никто особенно не обратил внимания на пацана, которого Стасик привел с улицы. Нашел себе нового приятеля, ну и ладно... Мама покормила их макаронами с жареным луком и отпустила Стасика гулять до вечера.

Вот это был день! Наверно, самый счастливый.

Яшка сразу предупредил:

— Ты сегодня меня ни о чем не расспрашивай. Давай жить по-человечески. Будто мы с тобой всегда так, давно...

Стасику того и надо! Он потащил Яшку показывать город. Сперва, конечно, Банный лог и реку. Был паводок, река затопила на левом берегу деревни, и минареты торчали, как маяки... У пристани пыхтели сразу три парохода, и шумела рядом с дебаркадерами толпа, как на ярмарке.

Все это Яшка видел совсем недавно, когда с Дороги попал на берег. Но тогда не обратил внимания, а теперь смотрел на пристанскую жизнь как бы глазами Вильсона. Казалось бы: ну, пароходы, ну, люди. Ну, песня из репродуктора на башенке: «Шаланды, полные кефали...» Но было в этом что-то праздничное, приморское, почти сказочное! И праздник этот на весь день заразил Яшку и Стасика радостью, трепетной, как пароходные выпела и флаги на ветру...

Потом они пошли в Городской сад. Стасик разменял пятирублевую бумажку, которую на радостях дала ему мама. Два рубля потратили на карусель с деревянными конями, три — на маленькую порцию мороженого. Лизали по очереди зажатый между вафлями молочно-сахаристый кругляшок и млели от удовольствия.

На главной площадке сада в этот день впервые пустили фонтан. Струи били из рогов чугунного оленя и сыпались в круглый бассейн. Там, конечно, шум, визг, брызганье — настоящий морской бой. Кое-кто залез через бетонный барьер в воду, а один даже упал — прямо в штанах и рубаше. Столько хохоту! Порезвились от души и Яшка со Стасиком. Пока всех не разогнала тетка в брезентовом фартуке. Она орала и махала метлой...

Яшка и Стасик отдышались на лужайке у изгороди.

— Во, психопатка, — сказал Стасик, поглядывая сквозь кусты. — Жалко ей, что люди побрызгаются.

— А мне понравилось! — возразил Яшка. — Приключения и погоня!.. Вильсон, может, она это нарочно? Чтобы всем интереснее сделалось?

Яшка был еще наивный, не очень знакомый с жизнью.

Когда немного обсохли, Стасик предложил:

— Пошли в другой сад, в Андреевский. У меня там пацаны знакомые. Или в футбол поиграем, или еще как-нибудь. Айда?

— Айда! — вскочил с травы Яшка. — Мне все интересно! Хоть куда, лишь бы с тобой!

Но ребят в Андреевском саду они не встретили, а у дверей Клуба железнодорожников висела афиша — о том, что идет американское кино «Путешествие Синдбада».

— Цветное... — завздыхал Стасик. — Я его ни разу не видел, а ребята в школе говорили, что картина — во!.. А деньги мы прогуляли.

Яшка почесал кудлатое темя и зачем-то бухнулся коленками в траву. Низко нагнулся.

— Ты чего? — испугался Стасик.

— Да ничего... Кузнечик тут, я поймать хотел... — Он запустил пальцы в карман на трусиках, которого Стасик раньше не замечал. Вынул две новенькие трешки. — Такие годятся?

— Ага... Откуда у тебя?

— Командировочные выдали, — уклончиво пошутил Яшка и начал отклеивать от коленок липкую чешую тополиных почек. Не стал признаваться, что деньги вместе с карманом сию минуту сотворил из листьев подорожника.

...Кино восхитило одинаково и Стасика и Яшку.

— Только, по-моему, зря этот джинн-мальчишка превратился совсем в обыкновенного человека, — сказал Стасик. — Маленько волшебства все-таки не мешает. А?

— Не знаю, — вздохнул Яшка. — Мне сейчас хочется стать совсем-совсем обыкновенным.

Стасик глянул на него украдкой и застыдился своих слов. Он ведь совершенно забыл, кто на самом деле этот веселый, растрепанный и слегка чумазый Яшка.

Легкая тень отчуждения легла между ними. Нет, не отчуждения, а неловкости и какой-то опаски. Стасик сердито задавил в себе это чувство. Сказал деловито: — Ночевать у нас будешь, да? Мама согласится, не бойся.

Был уже вечер, они шли по Первомайской улице, и низкое солнце мелькало над заборами среди рябин.

— Не... На ночь я уж к себе. А то мало ли что... Стасик загрустил, но сказал понимающе:

— Попадет?

— Крик подымут. Особенно Желтые тетушки.

— А еще придешь? — Стасик вдруг очень заволновался. — Ты ведь не последний раз, да?

— Приду, приду! — Яшка переливчато засмеялся. — Завтра же! — И не осталось между ними даже намека на тень.

— А отсюда... как уходить будешь? Можно посмотреть?

Яшка слегка насупился. Еще днем заметил он у берега ржавую баржу, наверняка пустую. Туда он и заберется, поглубже в трюм. И тогда уж... Потому что не превращаться же в статую на глазах у Вильсона! Белый шарик знал характер друга и понимал, как это ударит по Стаськиным нервам... И куда Вильсон денется с каменным пацаном в тряпичных трусиках и майке? И сколько набегит любопытных... А в трюме скульптуру никто не обнаружит. Вряд ли есть желающие шастать ночью по глубоким железным закоулкам. И уж тем более никогда не полезет в трюм Вильсон, Яшке-то известно, как не любит Стасик глухие и темные помещения. Конечно, Вильсон не виноват в этом страхе, просто натерпелся, бедняга...

— Ты проводи меня до реки, а там уж я сам, один... Смотреть не надо...

Опять грустно и с пониманием Стасик сказал:

— Тайна, да?

— Не тайна, но... может не получится, если кто-то смотрит. Импульс не пойдет. И тогда... вдруг какое-нибудь межзвездное нарушение... — pokrивил душой Яшка.

По Банному логу они опять вышли к пристани, оттуда к станции Река и поднялись до половины откоса. Яшка нашел место, где выступ берега скрывал от глаз баржу.

— Вот здесь и стой... Я пойду, а ты не смотри за мной и медленно считай до ста. Обещаешь?

— Честно-пионерско, — Стасик взялся за кончик галстука (он так и гулял сегодня в «парадной форме»; ох и будет от мамы за перемазанную рубашку!). — Значит, до завтра?

— Честно-пионерско, — серьезно сказал Яшка. Он, если строго рассуждать, не имел права давать такое слово, но Стасик поверил. Яшка подержал Стасика за локти горячими пальцами и прыгнул за выступ, в бурьян...

Через минуту Яшка нырнул в люк на железной палубе. Ушибаясь, плутая в запахах ржавчины, забрался в дальний трюмный отсек. Сел, съежился, уткнулся лбом в колени. И невидимым лучом ушел сквозь пространство.

Побежали, по-ребячьи запрыгали счастливые летние дни. Потом Стасику казалось, что лето промелькнуло стремительно. Однако пока оно шло — было бесконечным.

...В один из первых дней Яшка познакомился с Полиной Платоновной. Вот как это случилось. Никого дома не было, кроме ребят, уснувшей Катюшки и Зяминой бабушки, которая за ней присматривала. И Стасик решил показать Яшке фисгармонию.

— Смотри, педали надо давить по очереди, а клавиши нажимать... Вот... — Стасик сел к инструменту и довольно ловко сыграл «Капитан, капитан, улыбнитесь...».

— Пусти-ка... — попросил Яшка.

— Только сильно не жми, а то Катька проснется, громче этой штуки загудит.

— Не проснется, — рассеянно отозвался Яшка. Поставил босые ноги на педали. Положил на клавиши пальцы с грязными костяшками и нестриженными ногтями. Качнул, надавил. Низкая, но чистая нота вошла в тишину. Яшка пальцами левой руки пробежал по клавишам, вплет в эту ноту робкий мотив. Послушал, наклонив к плечу голову. Не очень уверенно, однако так, словно уже знаком с инструментом, заиграл двумя руками. Что-то неровное, осторожное, печальное... И вдруг старенькая фисгармония вздохнула, как великан. Незнакомой, берущей за душу музыкой раздвинула комнату, впустила в нее ласково-тревожное пространство, пересыпанное огоньками, похожими на окна и фонарики далекого города... Это была странная песня, где сплетались и колыбельная, и мелодия дальних дорог. А потом в ней зазвучали Стаськины сны с гудящим под ветром такелажем и пальмовыми берегами...

Яшка вдруг оборвал игру и оглянулся. И Стасик...

В дверях стояла (как в прошлый раз!) Полина Платоновна. Маленькая, скособоченная, седая. Держалась за косяк, будто у нее кружилась голова. Смотрела на Яшку, а глаза у нее были необычно синие. Впрочем, Стасик лишь мельком отметил это, музыка не сразу отпустила его.

Яшка встал. Не как застигнутый врасплох растрепанный Яшка, а будто воспитанный ребенок в просторной гостиной у рояля. Сдвинул пятки, опустил руки, наклонил голову.

— Где ты научился так играть, мальчик?

Он сказал полушепотом:

— Я не знаю... Извините, я просто так... Играл, вот и все.

— Феноменально... А чья это музыка?

— Я... не помню. Извините,— опять сказал Яшка. Полина Платоновна подошла, положила сухую ладонь на Яшкину кудлатую голову, слегка запрокинула ее.

— Откуда ты, мальчик?

— Он... из детдома,— бухнул первое, что пришло в голову, Стасик.— Яшка, пошли! Мама на рынок сходить велела!

Они и правда пошли на рынок за зеленым луком, и по дороге Яшка спросил:

— А почему ты сказал, что я из детдома?

— А что надо было сказать? С неба упал?.. Слушай, а ты в самом деле не учился играть?

— А разве музыке учатся? Она у меня сама собой... Не знаю как...

Конечно, вечером Полина Платоновна сказала маме, какой, оказывается, талантливый друг у Стасика. И мама наконец спохватилась:

— Слушай, я давно собираюсь спросить. Этот приятель твой... Яша, кажется? Он откуда? Правда, что из детдома?

— Ага, из Заречного,— вздохнул Стасик. В Заречном поселке в самом деле был детдом. Далеко, на отшибе. В городе на «заречников» косились: недобрая была у детдомовцев слава. Стасик мамыны опасения понимал и начал вдохновенно сочинять. Яшка, мол, не такой, как другие: не курит, не ворует и даже никогда не ругается.

— Мы на берегу познакомились, когда он один гулял. Он из детдома часто уходит, потому что не нравится ему там...

— А воспитатели не наказывают его за отлучки?

— Не-е... Там только вечером ребят считают, сейчас ведь каникулы. А днем если кого нет, другим в обед лишняя порция достанется...

Кое-что о нравах Заречного дома Стасик слышал от ребят и потому врал натурально. Мама вздохнула:

— Да, видать, кормят их не очень. Тощенький сов-

сем... А почему он такой косматый? Ведь все детдомовцы стриженные...

— А... он не хотел стричься, упирался, как мог. А сейчас их парикмахер в отпуске...

— И раздетый все время бегают, в трусиках и майке. А сегодня день такой прохладный.

— Потому что... большие пацаны у него одежду стырили... то есть стащили. На папиросы поменяли,— опять выкрутился Стасик. Мама только головой покачала.

На следующий день было воскресенье, все оказались дома. И едва Яшка появился, женщины дружно взялись за него. Нет, ни о чем не расспрашивали, понимали, что нельзя беречь детдомовскому мальчонке душу, но зато весело и решительно вымыли его, остригли ногти, позвали Маню с машинкой и ножницами...

— Ох и зарос! — удивлялась Зямина мать.— Зинаида, а ну иди с кухни! Не видала, как мальчишек стригут?

— Только не очень коротко,— тревожилась Полина Платоновна.— Жаль такие волосы... Левушка тоже не любил коротко стричься. Его даже девочкой дразнили иногда...

Яшка подчинялся женским заботам без смущения, охотно.

— Я Стаськину ковбойку Яше подарю,— сказала мама.— Хотела еще и брюки серые, да посмотрела — там дыра на дыре...

— А пойдём-ка, Яша, со мной,— позвала Полина Платоновна. И увела его — чистого, подстриженного — к себе. Скоро Яша появился перед всеми в костюме мужественного военно-полевого цвета. Это были штаны до колен и рубашка, подпоясанная желтым ремешком, как гимнастерка. На рукаве — вышитый значок: белые поленья и оранжево-красное пламя костра.

— Левушка носил... Был у них отряд имени Первой Конной, и он там горнистом... На сборы ходил в этой форме и на первомайский парад... Да не успел износить, вырос...

Все примолкли, будто сам Левушка появился здесь и тихо сел в сторонке. Многие ведь его знали и помнили. А мама... Она, может быть, Катю вспомнила. Не нынешнюю Катюшку, а старшую Стаськину сестру.

Зямина мать наконец сказала:

— Дак он же истреплет ее за неделю, красоту такую. На их, на окаянных, все горит.

— А и пусть треплет,— отозвалась Полина Платоновна негромко и суховато.— Не дело это, чтобы ребячья одежда лежала недоношенная. Ни от чего это не спасает...

Яшка смущенно переступил босыми ногами.

Но нашли для него и сандалии...

Тетя Рита, Зямина мать, оказалась права. Очень скоро Яшка извозил и пообтрепал свой костюм так, как Левушка не сумел это сделать за все пионерские годы. Потому что жизнь у Яшки и Стасика была бурная. Во-первых, они часто играли в зарослях на берегу. И в индейцев, и в партизан, и в «штурм крепости» (иногда и Зяму брали с собой, и еще семилетнего Вовку Пантюхина, племянника парикмахерши Мани,— чтобы побольше народу было при штурме). А еще неподалеку от Банного лога был пустырь, который назывался «полянка». Там гоняли залатанный кирзовый мяч местные мальчишки. Когда они увидели, как играет в футбол Яшка, то чуть не каждый день приходили звать его. И Стасика заодно.

Стасик Яшкиным успехам не завидовал. Яшке ~~н~~ казалось быть самым ловким, самым смелым. И рядом с ним Стасик испытывал защищенность от всех бед, от всех недругов...

А потом наступил день Стаськиного торжества, день Великого Отмщения. Судьба привела на полянку Бледного Чичу. Судьба — несчастливая для Чичи и его дружков.

Дружков этих было и на сей раз трое. Некий невзрачный Чебик (он зимой вместе с другими отбирал у Стасика снегурки), пухлый аккуратный Бомзик в вельветовом костюмчике и, конечно же, Хрын!

Ребята перестали играть. Видно, Чичу знали здесь и не очень-то любили. Он вошел на полянку вихляющей походочкой.

— Физкульт-привет! Где «Динамо», где «Спартак»? Кто не скажет, тот дурак.

— Ты и есть последнее слово,— заявил в ответ Стасик. Нельзя сказать, что было совсем не страшно. И все же он чувствовал — настало время! Посмотрел на Яшку. Яшка все понимал.

Чича Стаськиным словам удивился. И обрадовался:

— Вн-ильсон! Матросик! Ты что-то сказал, а?

Будь он поумнее, понял бы: Стасик зря нарываться не будет, есть у него какой-то боевой резерв. Но это же смешно и непостижимо — бояться Вильсона!

— Ах ты, моя курочка морская! У-тю-тю... — Чича растопырил пятерню и, приседая, пошел к Стасику. — Ох, а это кто? Что за новая фотография? — Он увидел Яшку. Тот быстро встал к Стасику спиной. Прижался.

Это твердое прикосновение полностью выгнало страх из Стасика. Пусть только подойдут!.. И они подошли — с четырех сторон. С ухмылками, с вхлянием. Ближе всех оказался Бомзик. Стасик не стал ждать — первым въехал ему ладонью по мягкому, как пельмень, уху! И тут же — костяшками по носу! Бомзик пискнул, присел. Стасик, яростно вдохновившись, обернулся к Хрыну. Тот мигал. Стасик нагнулся — и головой ему в пузо! Пришлось, правда, оторваться от Яшкиной спины, но это уже не имело значения. Бомзик скулил, Хрын сгибался, тарашился и хлопал развесистыми губами... Чича где?!

Чичу и Чебика лупил Яшка. При этом он похож был не на мальчишку, а на какое-то стремительное существо с десятком рук и ног — так они мелькали, осыпая врагов пинками и тумаками. Он летал между Чебиком и Чичей, и те, ошарашенные, почти не сопротивлялись. Чебик наконец побежал, обняв голову, а Блединый Чича (грозный Чича!) упал на четвереньки и завопил:

— Псих! Чё лезешь, тебя трогали?! Васяне скажу, он тебя... а-а-а! Уйди. Гунычу скажу, зарежет! Пусти, псих!!

Завершила короткий этот бой кавалерийская сцена. На глазах у притихших зрителей-футболистов Чича быстро-быстро бежал на локтях и коленках по заросшей клевером канаве, а Яшка сидел на нем задом наперед и ритмично впечатывал ему в штаны снятую с себя сандалию...

Но Яшке все-таки досталось.

— У тебя из носа кровь капает...

Яшка засмеялся, остановил кровь легким взмахом ладони. Но бурые капли уже успели испачкать на груди рубашку.

— Надо застирать, — озабоченно сказал один из мальчишек. — А то будет вам дома... Идите на колонку.

— Лучше на берег, — решил Яшка. Был уже вечер.

С обрыва Яшка и Стасик спустились по лестнице к станции, а оттуда к воде. Выстирали рубашку. Яшка так и натянул ее — мокрую. Стасика аж передернуло:

— Холодно ведь!

— Не-а. Сейчас высохнет.

И правда, рубашка высыхала на глазах. Стасик вздохнул. Он не очень любил, когда Яшка демонстрировал свое волшебство. Пусть лучше будет совсем обыкновенным... Хотя, надо признать, сегодня Яшкины неземные способности оченьгодились.

— Здорово ты их всех разнес! — радостно вспомнил Стасик.

— Почему я? — искренне удивился Яшка. — Мы же вместе.

— Ну уж, «вместе». Я только чуть-чуть, а ты вон как! Хорошо все-таки, когда в тебе это... звездная сила.

Яшка удивился еще больше:

— Какая сила? Я про это и не помнил. Просто лупил их! За все, что было... За то, как они коньки у тебя... И в лагере... — Он посопел, вытер нос рукавом с поблекшей вышитой эмблемой. И сказал, насупившись от неловкости: — Если вдвоем, то можно без всякой звездной силы.

И Стасик — Яшкин друг Вильсон! — опять возликовал в душе.

Окно

1

Да, не по нраву было Стасику Яшкино мелкое волшебство. Эти фокусы с трешками из подорожников, с лишними пулями для пневматических ружей, когда стреляли в тире Городского сада. Или с горстями карамели, которой он угощал на полянке мальчишек. С одной стороны, вроде бы приятно, интересно. А с другой... Какое-то ревнивое беспокойство портило Стасику радость. Раньше, когда Белый шарик еще не стал Яшкой, Стасик совсем не прочь был попользоваться его колдовской силой. А сейчас хотелось, чтобы Яшка был обыкновенным пацаном... И еще хотелось, чтобы он пореже исче-

зал в непонятных, чужих для Стасика пространствах Великого Кристалла...

Яшка все это чувствовал и не злоупотреблял фокусамн. Однако совсем без них было не обойтись. Например, когда нужна стала справка из детдома... Впрочем, это случилось не скоро, в начале августа. А пока дни бежали вполне беззаботно. Катюшка (вот тут спасибо Яшке огромное!) росла здоровая и веселая. Очень рано стала говорить и в июне уже произносила: «мама», «фасик» (что означало «Стасик») и «кисей» (то есть «кисель»). Мама тоже повеселела, реже гоняла Стасика по всяким хозяйственным делам (пусть погуляет на каникулах) и даже стала отпускать с Яшкой купаться на мелководье.

Ох и радость это была: нырять с плеч друг друга или с хохотом брызгаться, стоя по грудь в теплой желтоватой воде! Или бросить мячик и плыть к нему наперегонки!

Один раз позабыли резиновый мячик дома, и Яшка сказал:

— А давай шарик. Ты же его всегда с собой носишь.

Стасик достал из кармана белый целлулоидный мячик — прежнее жилище Яшки (когда Шарик Яшкой еще не был). Швыряли его друг другу, гонялись за ним. А потом Яшка совсем развеселился и закинул шарик далеко-далеко: тот еле заметным поплавком запрыгал на желтой ряби. Стасик забеспокоился:

— Мне туда не доплыть.

Яшка, который мог бы, конечно, переплыть и Черное море, видно, решил не хвастаться перед Вильсоном.

— Ох, я тоже не доплыву.

— Ну что ты придуриваешься!

— Да правда! Я же пока только по-собачьи умею, как и ты...

— Пропадет ведь шарик!

— Подумаешь! Пусть плывет! Зачем он, если я и так всегда здесь! — беззаботно сказал Яшка.

И Стасика опять окатило теплым счастьем...

Случалось, что Яшка исчезал суток на двое-трое. А один раз не появлялся даже неделю. И не только потому, что идея Всеобщего Резонанса требовала труда от всех шаров и от Белого шарика в том числе. Просто Яшка чуткими нервами угадывал, когда Стасик устал. От игр, от беготни по знойным улицам, от реки и даже

от него, от Яшки. Сам Стасик ни за что не признался бы в такой усталости. Но все же было хорошо иногда посидеть одному дома, повозиться с Катюшкой, поваляться на кушетке с книжкой или поиграть в шашки с Зямой, которая очень ревниво относилась к Стаськиной дружбе с Яшкой...

Мама говорила:

— Что это твой друг ненаглядный не появляется? Я даже соскучилась.

— Воспитатели строгие, — вздыхал Стасик. — Особенно две Желтых тетушки. Такие зануды...

— Почему они желтые?

— Ну, прозвище такое. А есть еще Белый шар. Он у них главный... Не пускают Яшку.

Но скоро Яшка возникал опять — веселый, кудлатый. Он удивительно быстро оброс. А вернее, просто забыл, что надо превращаться в подстриженного мальчика. Ведь мраморный-то мальчишка, спрятанный в трюме баржи, был с локонами...

Однажды после трехдневной разлуки Стасик и Яшка так обрадовались друг другу, что загуляли на целый день. Сперва купались — до гусиной кожи и посниения, затем, сотрясаясь крупной дрожью, отогревались на горячем песке, после этого лезли в воду снова. Потом пошли на полянку, где компания под руководством конопатого Витьки Петуха строила «машину», чтобы кататься на ней по горкам Банного лога. «Машина» была обыкновенная двухколесная тележка, на каких обычно возят кадушки от водокачки. Между оглоблями приспособили третье колесо, и Витька назвал эту конструкцию научным словом «трицикл».

«Трицикл», погромыхая, прыгал по горкам вниз, бабки у калиток несердито ругались, куры мчались в подворотни, а двое-трое пассажиров орали от восторга. Остальные ребята бежали и придерживали «машину» за веревку, чтобы не занесло.

Но в конце концов не удержали. И веселье вмиг кончилось, потому что оказалось: маленький Вовка Пантюхин сидит в лебеде, тихонько плачет и встать не может. На плече кровь, а левой рукой пошевелить нельзя, видать, вывихнута.

Ох и перепугались все! И дома достанется, и Вовку жалко.

Яшка положил ему на плечо ладони.

— Не плачь...

Вовка всхлипнул еще, хныкнул, мигнул... и заулыбался осторожненько. Царапины затянулись на глазах. Яшка легонько потянул его за руку.

— Не бойся... Вот и все. Не болт?

— Не-а...— Вовка заулыбался уже шире — заплаканный, шербатый, доверчивый. И встал...

Больше в тот день не катались. Петух сказал, что нужно усовершенствовать тормозную систему. Погоняли на полянке мячик и разошлись. Есть захотелось. Но Стасик и Яшка обедать не пошли. Понимали в глубине души, что добром это не кончится, но слишком уж беззаботное было у обоих настроенье. Стасик на сей раз не стал дуться, когда Яшка, отвернувшись, превратил подобранный в каниаве вылущенный подсолнух в половинку мягкого каравая. Сказал только:

— Опять лишнюю энергию тратишь.

— Ага,— вздохнул Яшка.— А есть-то охота.

Веселые и вольные, как два воробья, заскакали они, запрыгали через весь город в клуб сетевязальной фабрики, где шла старая, но замечательная кинокомедия «Цирк». Об этом они прочитали на афишной тумбе на углу Пароходной улицы. Однако афиша наврала: самый ранний сеанс начинался не в четыре часа, а в шесть. Ну и ладно! Погуляли еще по улицам, поторчали у витрины «Электротоваров», поглазели на новинку: игрушечную железную дорогу (паровозик и вагончики бегали, светофор мигал)...

Фильм был длинный, кончился около восьми. Вечер уже. Чтобы скорее добраться до дома, пошли напрямик, через стадион, потом через лог (не Банный, а настоящий овраг). Торопились, беспокоились. Прошедший длинный день гудел в головах — солнцем, усталостью и музыкой из кино. Стасик в маршевом ритме насвистывал колыбельную, под которую в фильме баюкали негрятенка. Потом сказал:

— Интересно, где такого взяли, чтоб в кино снимать? Неужели правда из Америки?

— Может, покрасили?

— Не-е, видно же, что настоящий... Ох, Яшка, а что если бы ты однажды в негрятенка превратился?! Вот толпа бы за нами ходила! Конечно, у нас равноправие, но все равно бы глазели...

— А мы и так будто негры. Только местами,— вздох-

нул Яшка.— Мама твоя опять скажет: «По каким трубам вы лазали! Коленки, как у арапов!»

— Она не только это скажет,— затуманился и Стасик.— Мы еще так подолгу ни разу не гуляли. Будет мне...

— Я с тобой пойду. Двоим-то, может, меньше попадет. Солице уже катилось за крыши.

— Давай, Яшка, скорее!

Но на пути к дому задержало их еще одно происшествие. На углу Пароходной и тихого Степного переулка Стасик замер, дернул Яшку к себе, оба укрылись за афишной тумбой.

— Смотри... Во, гад! Неужели опять к нам намылился?

— Кто?

— Да Коптелыч же! Помнишь, я рассказывал?

Коптелыч — сутулый, словно боящийся чего-то — сел по мосткам вдоль забора.

— Вынюхивает что-то, паразит,— понимающе отозвался Яшка.

От столба к тополю, от тополя к палисаднику они двинулись за Коптелычем. Тот скоро нырнул в калитку у неприметных ворот. Стасик и Яшка прижались носами к щелям в воротах.

Коптелыч в дом не пошел. Юркнул в легковушку, стоявшую посреди двора. В зеленую трофейную «BMW». Тут же с крыльца спустился дядька — в штатском пиджаке, но в голубой фуражке с малиновым околышем. Пошел открывать ворота. Яшка и Стасик шарахнулись, залегли в травянистом кювете.

Машина выехала. Дядька — уже без фуражки — вылез, притворил ворота, сел в машину опять, «бээм-вэшка» укатила.

— Ну вот,— сказал Стасик, сдувая с губ семена одуванчика.— Правильно мама говорила, что он с этими...

— Да может, это все случайно. Подумаешь, фуражка. Может быть, это какой-нибудь демобилизованный...

— А машина-то! Она ихняя. Весь город ее знает.

— Ну и пусть! Не к вам ведь они поехали!

Но Стаськино настроение угасло — так же, как угасал над Пароходной улицей день. Зачем они следили за этим шпионом и пьяницей? Только время потеряли, и от мамы влетит еще больше...

Мама развешивала во дворе Катькины ползунки и пеленки. Оглянулась на звяканье калитки.

— А! Ну-ну... Явились, голубчики.

В сумерках не очень различимо было ее лицо, но Стасик знал, какое оно. Мама повысила голос:

— Я все соседние улицы обегала, всех ребят попере-спрашивала! Где? Куда девались? Может, уже на дне реки искать?

— Ну уж, на дне...— осторожно сказал Стасик.

— Ты мне поговори! Где вас носило?! Смерти моей хотите?!

Надо же такие слова сказать!

— Но мы ведь никуда не пропали! — Стасик для убедительности прижал к груди кулаки.— Мы — вот они! Значит, надо не ругать, а радоваться!

— Да-а?..— Мама если и обрадовалась, то как-то странно.— А ну-ка нди сюда... радость моя...

И он подошел. И мама, вздохнув, огрела свою ненаглядную радость мокрой пеленкой между лопаток. И Стасик возликовал, потому что вот и все: не будет, значит, долгих выговоров и упреков! И вдруг подскочил Яшка:

— А меня тоже! Потому что мы вместе! У нас равное право!

— С удовольствием,— сказала мама и вытянула пеленкой Яшку. Опустила руки и засмеялась.— Нет, ну в самом деле... Варвары вы... Теперь вот еще пеленку заново стирать, вы же, как черти, чумазые...

— Как арапы! — радостно откликнулся Яшка.

— Молчи уж, арап... Как ты теперь к себе в За-речный-то пойдешь? В такую даль один, на ночь глядя. Еще и от воспитателей влетит.

Яшка незаметно лягнул Вильсона и сообщил:

— А я отпросился. Ну, чтоб у вас переночевать...

— Ах как приятно! Одного шалопая мне, конечно, мало!

— Ну, ма-ма! — завопил Стасик радостно и тревожно: вдруг она не разрешит?

— Ладно. А за все ваши фокусы завтра с утра — подневольный труд на плантациях. Будете окучивать картошку не только на нашей грядке, но и у Полины Платоновны. У нее спина болит.

— Подумаешь, «подневольный»! — Яшка встал на руки.— Мы и так!..

— А теперь марш по воду! Мне полоскать надо.

Вода была рядом, в колодце на огороде. Стасик и Яшка бросились в сени за ведром.

— Не греметь там, Катю разбудите!

— Ага!.. «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход! — ликующе вопил Стасик. — Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин!..»

— Вот он пошлет тебя сейчас... — пообещала мама.

Стасик смеялся и барабанил по ведру...

Но на огороде он притих, и Яшка тоже. Над грядами стлался не то туман, не то какая-то дымка. Кто-то шелестел в ботве. Над забором висел большой розово-желтый полумесяц. Близкий-близкий, можно камушком добросить.

Повесили на крюк ведро. Цепь зазвенела, ворот заскрипел — будто брашпиль в кинофильме «Робинзон Крузо». Потом плеснуло, забулькало вниз. Вдвоем Стасик и Яшка завертели гладкую железную ручку, ухватили дужку, поставили плещущее ведро на край сруба. И, не сговариваясь, глянули вниз.

В черной квадратной глубине вздрагивал желтый светлячок.

— Ух ты... — сказал Яшка. — Что это там?

— Может, месяц отражается? — прошептал Стасик.

— Что ты... Месяц, он вон где.

— А что тогда? — Стасику страшно стало и очень интересно. Сказочно так...

— Подожди...

Вода успокоилась. Желтое дрожащее пятно успокоилось тоже. И превратилось... в окошко! Маленькое, с переплетом, как буква Т. Словно прятался в колодезной мгле чей-то домик.

— Видишь? — прошептал Яшка.

— Ага...

— Значит, правда.

— Что?

— Я где-то слышал, что если так вот смотреть в темную глубину, окошко покажется. Неизвестно откуда... Только...

— Что? — опять прошептал Стасик.

— Ну, не всякому оно покажется, а тому... ну, в общем, если он хороший человек.

— Что ж, значит, мы ничего люди, — вздохнул Стасик. — Мама ведь нас простила...

— Про тебя-то я и не сомневался...

— А про себя сомневался, что ли? — сердито спросил Стасик.



— Я вообще сомневался... что человек.

— Ну и дурень,— сказал Стасик с маминой интонацией.

Мама закричала со двора: «Где вы там опять провалились?»

— Идем! — откликнулся Стасик. И чтобы Яшка не обиделся на «дурня», спросил: — А где ты слышал такое? Про окно?

— Не помню. Может, от Лотика в Реттерхальме... У каждого существа в Кристалле должен быть свой дом с окошком...

Они потащили ведро. Вода выплескивалась на ноги, холоднющая. Зато в воздухе тепло пахло сладким пасленом. Месяц светил в спину и тоже будто немножко грел.

— Яш, а давай сделаем свой домик! На двоих! Вроде шалаша. И с окошком! Ночевать там будем.

— Давай! — обрадовался Яшка.— Лишь бы Зяма к нам туда не лезла...

Они умылись на дворе под греющим рукомойником. И через минуту уплетали со сковородки картофельные котлеты со шкварками. Так, что щеки скрипели, будто мокрая резина.

— Ой,— спохватился наконец Стасик.— Мама, ты ведь сама-то еще не ужинала?

— До ужина мне было, когда вас где-то носит нелегкая?.. Оставьте мне котлетку.

— Мы три оставим. Мы налопались до треска. Ага, Яш?

Яшка мягко положил вилку, подпер подбородок и смотрел на маму. Стасик тоже на нее посмотрел. Мама у двери склонилась над корытом, спиной к ребятам. В темных гладких волосах ее, в тугом валике на затылке блестели под лампочкой седые нити. Стасику вдруг стало так жаль маму, что намокли глаза. Яшка посмотрел на него — внимательно и чуть виновато,— потом снова отвернулся. Тихо дохнул на ладонь, вытер ее о лоб, медленно протянул руку в сторону мамы. Словно хотел дотянуться, погладить ее по голове. Не дотянулся, конечно, ладонью провел по воздуху... Седина стала быстро темнеть и пропала.

Стасик, чтобы не разреветься, закусил губу и стал разглядывать узор на потертой голубой клеенке.

Сосед Андрей Игнатьевич подарил ребятам (не смотря на ворчанье тети Глаши) два листа фанеры, кусок толя для крыши и большой обрывок рыболовной сети. Поэтому домик соорудили быстро. Поставили его в углу двора, у забора, где росли старые кустистые рябины. Вместо передней стенки натянули сеть, вплели в нее ветки и всякую траву. Как в лесной хижине. Но и окошко, будто в настоящем доме, сделали тоже — в боковой стене. Для него нашлась настоящая маленькая рама с переплетом — видимо, от чердачного окна. Раскопали ее под навесом среди старой мебели. Стекол в раме не было, но Стасик и Яшка затянули ее промасленной бумагой. Смотреть сквозь такое окно нельзя, зато оно хорошо светится, когда в хижине керосиновая лампа.

— Только не спалите свой дворец и себя,— говорила мама.

— Мы осторожниенько...

Подмазывалась, конечно, к ним Зяма. Чтобы приняли в жильцы домика. Стасик и Яшка не гнали ее откровенно, однако не очень и приветствовали. Зяма дулась и один раз даже ревела. Но скоро мать отправила ее в лагерь на третью смену.

А маленького Вовку Пантюхина они всегда встречали по-хорошему. Он был трудолюбивый и ничуть не надоедливый.

Из поленьев и досок соорудили топчан, из старых ватников — постель. Теперь оставалось главное: чтобы Яшка мог ночевать здесь часто, не вызывая ни у кого подозрения.

И однажды вечером на кухне (когда Яшки не было) Стасик начал подъезжать к маме:

— Напиши письмо в детдом, чтобы Яшку отпустили пожить у нас. Ну, хоть на недельку!.. Спать в домике будем. А днем мы — и на рынок, и за хлебом, и посуду мыть, и пол...

— Свежо предание...— вздохнула мама. Она чего-то опасалась.

— Ну, что он, много лишнего, что ли, съест у нас? — в сердцах сказал Стасик.

— Дурень ты. Разве я об этом?

И вдруг вмешалась Полина Платоновна, которая варила на керосинке тыквенную кашу:

— Галина Викторовна, давайте я письмо напишу. Что приглашаю мальчика на свою ответственность. Мне будет приятно...

— Да что вы! — смутилась мама. — Я и сама...

— Нет-нет, позвольте мне. Очень вас прошу...

Так и сделали. А в ответ на письмо Яшка соорудил из тетрадного листа справку с лиловым штампом Заречного детдома и сообщением, что «воспитанник Скицын Яков 10-ти лет отпускается на канкулы к гр. Подбельской П. П. (Катерный пер., 3), на жительство и под ее ответственность с 4-го по 14-е авг. 1948 г.».

— А фамилию-то ты зачем такую сделал? — смущенно сказал Стасик. — Неправдоподобно как-то...

— Ох... Само получилось. Я же не знал какую... Теперь фиг переделаешь, я справку уже показывал тете Поле.

— Ладно. Может, не заметят.

Полина Платоновна ничего не спросила, а мама, конечно, сказала:

— Это что же? У Яши такая фамилия, как у нас?

— Да! — вывернулся Стасик. — Мы, когда познакомились, сами удивились! Мы, наверно, потому и подружились, верю, Яшка?

Тот добавил правдоподобную деталь:

— Ага!.. Вообще-то, у меня правильно писать надо «Скитцын», да в детдоме всегда путают...

— Ну и ну... — Мама покачала головой.

— А у тебя седина пропала! — быстренько сменил тему Стасик. — Ты заметила?

— Еще бы! На работе все мне только об этом и говорят. Спрашивают, не покрасилась ли так ловко. У тебя, говорят, парикмахерша знакомая. А я что, с ума сошла на старости лет волосы красить?

— Никакая не старость лет! Не выдумывай.

Иногда по ночам налетали грозы, и тогда в домике было жутковато, но все равно здорово. Дождь барабано лупил по крыше, фанерные стены гудели, как гитарный корпус, в щелях и промасленной бумаге зажигалось белое пламя молний. Гром трахал, как снаряды в кино про войну. А Яшка успокаивал:

— Не бойся, Вильсон, я отведу напряжение, когда молния близко.

— Да не боюсь я, — с боязливым восторгом шептал

Стасик и прижимался под одеялом к теплому надежному Яшкиному плечу...

Но чаще ночи были ясные, и зеленоватыми лучами пробивалась сквозь траву и сеть луна. Тогда Вильсон и Яшка вели долгие разговоры. И Стасик понял, что не всегда Яшка веселый и беззаботный... Однажды Яшка сказал:

— Иногда думаю: кто же я все-таки на самом деле?

— А разве... ты не знаешь?

— Бывает, что и не знаю. Белый шарик или Яшка?

— Ну... и то и другое...

— А можно ли, чтобы и то и другое? Человек и звезда...

— Но... ведь можно же! Раз ты есть, вот такой!

— А какой?.. Вильсон, знаешь, это я благодаря тебе понял, как хорошо быть звездой. Раньше казалось, что все обыкновенно, а когда стал тебе рассказывать про те свои дела, про Кристалл, то будто со стороны увидел...

— Ну и хорошо,— Стасик подавил невольную зависть.

Яшка сказал печально:

— А чего хорошего? Звезда-то из меня так, третий сорт... Или еще хуже. Шары правильно ругают...

— Чего правильно! Ты черное покрывало уничтожил!

— Ну, уничтожил... И еще кое-что сделал, только все равно мало. И даже там веду себя, как человек.

— А это, что ли, тоже плохо? — спросил Стасик ревниво.

— Не в том дело. Если бы я человек был настоящим...

— А ты какой? Искусственный, по-твоему?

— Может, и да... Я иногда боюсь, что просто играю в человека. Вы тут на земле живете так... по-настоящему. Трудности всякие бывают и горе. А я будто на праздник прихожу, в гости.

— Ничего себе «в гости»! Ты вон сколько хорошего сделал!

— Опять потому, что я не человек, а... шарик. А вот если совсем по-человечески, я, наверное, не умею.

Стасик помолчал, отодвинулся даже чуть-чуть. Спросил с тяжелой неловкостью, с боязнью горького открытия:

— А вот со мной... то, что ты подружился... Это, значит, тоже играешь?

— Нет,— выдохнул Яшка.— Это как раз по-настоящему... Иначе зачем бы я приходил к тебе? Ты, Вильсон, для меня... все равно что весь Кристалл.

— И ты... Для меня...

Даже ночью, когда почти не видишь друг друга, даже шепотом — не очень-то легко делать вот такие, от души, признания. Связывает язык тяжкое смущение. Зато, когда скажешь, тепло становится и свободно — как на горячем от солнца берегу! И Стасик торопливо зашептал:

— Понимаешь, мне все равно. Звезда ты или комета или... ну, самый простой мальчик. Главное, что это Ты! И ты не бойся, ты еще много хорошего сделаешь. И по-звездному, и по-человечески. У тебя же столько сил...

— Не так уж много,— вздохнул Яшка.

— Много... Ты даже по времени умеешь летать. Туда-сюда...

— Ну и что...

— Я...— По Стасику холодной судорогой прошла вдруг догадка. О том, что можно сделать.— Яш... А ты ведь можешь оказаться у нас, чтобы раньше... ну, год назад?

— Могу. По обратному темпоральному вектору... Ну и что?

— А сделать так... чтобы патроны у Юлия Генриховича оказались с плохим капсюлем. Чтобы осечка... Яшка молчал.

— Или это очень трудно? — с упавшим настроением спросил Стасик.

— Конечно, трудно. Но не в том дело... Нензвестно ведь, что получится.

— Хуже-то все равно не получится!

Яшка ответил с непривычной, почти бояливой ноткой:

— Думаешь, я знаю, что такое Время? Никто не знает, даже самые мудрые шары... Конечно, можно замкнуть темпоральное кольцо. Но это локально... то есть на каком-то участке пространственной грани. И время будет бегать, как по кольцевым рельсам. Ну, помнишь, как паровозик в витрине?

Стасик помнил. Кивнул в темноте.

— ...Только это ведь не все Время, не полное,— задумчиво рассказывал Яшка.— Понимаешь, это как если бы рельсы разложили на деревянной площадке, а площадку пустили в реку. И получится, что замкнутое в кольцо время поплывет в потоке общего Времени... И даже не общего. Река-то ведь движется вместе с Землей вокруг Солнца...

— А Солнце тоже куда-то летит...— вздохнул Стасик.

— Ну да!.. Вот видишь, какой сложный путь у паровозика. Кто его угадает?

— Значит, никак нельзя... чтобы патроны подменить...

— Нет, можно, наверно... Надо только посчитать... Ты лежи, потерпи...

И примолк Яшка, натянув до подбородка ветхое одеяло, и даже шевелиться перестал.

И Стасик притих. Ждал. Осторожно скребли по фанере набухшие гроздья рябины. Где-то гукнул ночной автомобиль (уж не та ли «бээмвэшка»?). Прогудела сирена баржи-самоходки у пристани... Луна двигала в темноте свои желто-зеленые пятна. Яшка почти не дышал. Может, уснул? А может... вообще унесся мыслями в свою звездную пирамиду?

Лунная полоса ползла по одеялу, добралась до Яшкиного подбородка, до губ. Губы шевельнулись:

— Можно, чтоб ружье не выстрелило... Только, наверно, лучше не будет.

— Почему не будет?

— Потому что тогда его... Юлия Генриховича... его в сорок девятом году арестуют. Это точно.

— Почему?

— Откуда я знаю? Такие уж у вас порядки.

— «У вас»,— горько сказал Стасик.

— Не обижайся...

— Яш... Ну, пусть! Все-таки это лучше, чем помереть! Потом все равно его отпустят.

— Нет, он умрет в тюрьме... А сейчас он все равно бы не жил, а мучился от страха. И вас бы мучил...

— Яшка, ну все равно. Нельзя же, чтобы из-за этого...

— И маму твою тогда... тоже могут взять,— еле слышно сказал Яшка.

— За что?!

— Потому что жена... А тебя и Катю в детдома. В разные...

Стасик обмер. Яшка объяснил виновато:

— Я не только считал варианты. Я... просто посмотрел, как бы это было.

— Яш... А если совсем далеко уйти по времени назад? И сделать, чтобы вообще ничего такого не было на свете. Может, Гитлера убить, пока он еще молодой? Тогда бы войны не было и фашистов, и шпионов не стали бы искать и всяких врагов народа! И невиноватых не забирали бы в тюрьму!

— Думаешь, одного Гитлера пришлось бы убить для этого? — жестко, не по-мальчишечьи спросил Яшка.

— А кого еще?

— Многих... Если скажу, ты сейчас все равно не согласишься.

Стасик молчал. Не только от обиды. Еще и от догадок, которые хотелось прогнать. Яшка заговорил примирительно:

— С прошлым надо быть вообще осторожным... Твоя мама в двадцать четвертом году была в Москве и там случайно познакомилась с одним человеком. Столкнулись в толпе, мама сумочку уронила, а он поднял... И потом он сделался твоим отцом... А не упала бы сумочка, и тебя бы на свете никогда не было. Видишь, от каких паутинных тонкостей все зависит: сделал полшага в сторону, и потянулась другая цепочка.

— А ты сделай полшага не в сторону, а куда надо, — хмуро сказал Стасик. — А про меня не волнуйся. Пускай меня и не будет. Лишь бы всем другим людям было хорошо. — И перепуганно напрягся: а вдруг и правда он сейчас исчезнет?

— Храбрый какой, — тихо и необидно усмехнулся Яшка.

— Ну и храбрый...

— Ты-то храбрый, а я нет. И не хочу, чтобы тебя не было... И где что менять в жизни, я не знаю. Да еще и убивать кого-то... Надо, чтобы потом, в будущем, было хорошо, а что случилось раньше, лучше не трогать. Вдруг еще хуже станет?

— Но если рассчитать как следует!

— А кто рассчитает? Тут даже все взрослые не справятся — хоть люди, хоть шары. А я ведь еще не взрослый. Мальчик, как ты. Только ты мальчик среди людей, а я среди звезд.

Мальчик среди звезд

Да, беседуя теперь с шарами, он продолжал ощущать себя мальчишкой. Обычным пацаном из Турени — с облезлыми от загара плечами, с кожей от семечек подсолнуха в карманах. И в ответ на упрёки научился говорить насупленно и с дурашливой ноткой: «Ну, а чё я такого сделал-то?» Так он чувствовал себя удобнее, привычнее. Защищеннее.

Вот и сейчас он видел себя в старой гостиной, где часы с кукушкой, люстра с подвесками и зеленая плюшевая мебель. Он сидел на диване, поджав ноги и привалившись к пухлому валику. Вот-вот ему скажут, чтобы не пачкал босыми ступнями диванную обивку и вообще сел, как полагается. Но пока не сказано, Яшка не шевелится. Валик уютно вдавливался под локтем, шелковистый плюш приятно щекотал ноги. Яшка украдкой зевал.

Все было как всегда. Темно-красный шарик устроился с трубкой в качалке в дальнем углу. Красный шар — в обычном кресле. Большой Белый шар встал у окна. Тетушки-близнецы прямо и строго уселись рядышком на стульях. Сейчас начнется...

Но никто на этот раз не сказал «сядь как следует» и «заправь рубашку» и «опять у тебя коленки, как у негра, и репы в волосах». Большой Белый шар снял очки, потер ладонью глаза.

— Давайте, господа, говорить сегодня прямо и только по делу. Не надо воспитательных уловок и нотаций, все слишком серьезно... Белый шарик...

Яшка спустил ноги с дивана и сел прямее. Странно, так с ним еще не разговаривали...

— Белый шарик... Ты славный мальчик, храбрый мальчик. Но нельзя оставаться мальчиком дольше положенного срока. У людей это, может быть, и допустимо (хотя я сомневаюсь), а у шаров нельзя никак. Момент Возрастания откладывать очень опасно.

— Ну... а я чего? Я и не хочу откладывать...

— Не хочешь, голубчик, а делаешь все, чтобы Возрастание сорвалось, — кашляя, сказал в своем углу Темно-красный шарик. — Не ведаешь, что творишь...

— А чего я...

— Да подожди ты «чевокать», — без обычной усмешки перебил Красный шар. — Слушай. Есть же законы Кри-

сталла, их не переплюнешь. Для Возрастания необходим минимальный энергетический потенциал. Понимаешь, о чем я говорю?

Яшка неловко кивнул. Он ощутил непривычную виноватость.

— Ну вот. Значит, запас энергии. А он у тебя на критическом пределе. И нарастания нет, есть расход. Ты не накапливаешь, а только тратишь, тратишь...

— И главное, тратишь на глупые игрушки! — воскликнула одна из тетушек. На нее посмотрели. Даже сестрица толкнула ее локтем.

— Неважно на что,— вступил опять в разговор Большой Белый шар.— В любом случае это смерти подобно. Поверь, Белый шарик, мы не шутим. Это горькая правда.

— Почему? — подавленно спросил Яшка.

— До чего же ты непонятливый! — не сдержался Большой Белый шар.— Извини... Но мы же тебе столько раз объясняли! В момент Возрастания ты должен сделать усилие. Чтобы перестроить себя, обрести новые качества. Для этого необходима очень упругая настройка энергетических полей... А ты расходуешь силы на своего Стасика. Вернее, на дорогу к нему, на пробивание пространства. Милый мой, это же кончится настоящей бедой!

— Какой? — буркнул Яшка.

— Трудно сказать. Если не хватит сил на Возрастание, ты можешь превратиться в белого карлика, в звезду-лилипута, который не в состоянии ни излучать, ни воспринимать импульсы. Ты будешь лишен не только радости Резонанса...

— И в итоге,— сказал из-за облака трубочного дыма Темно-красный шарик,— раньше срока сохнешься и превратишься в неживой шар, в мертвеца, окутанного черным покрывалом...

Все смущенно примолкли, словно Темно-красный шарик сказал что-то недозволенное. Нарушил приличие. Красный шар шумно возился в кресле. Белый протирал очки. Одна из Желтых тетушек вдруг всхлипнула:

— Конечно... мы тебе не родные, ты вправе нас не слушать. Но... у нас не было своих детей, и мы так привязались к тебе. Ты попал к нам совсем малышом.

Никогда Белый шарик не ощущал привязанности к занудливым тетушкам. Но сейчас что-то зацарапалось у него в душе, жалостливое такое... Ну, ладно! А что,

к Стасику у него нет привязанности, что ли? Бросить Вильсона, да?

Большой Белый шар словно услышал эту мысль.

— Разумеется,— сказал он тихо,— мы понимаем, что какая-то сила тянет тебя туда... в этот странный микромир. Но ведь это может кончиться таким несчастьем, что страшно подумать...

— Уже всего наговорили,— хмыкнул Яшка, хотя ощутил неприятный холодок.— И что карликом буду, и мертвым шаром. Куда еще страшнее-то?

— А вот куда... Однажды ты не считаешь, и энергетический потенциал иссякнет. Импульсный канал, который соединяет твою массу здесь с твоим сознанием там, у этого... Стасика... он прервется, этот канал. И звездное тело твое, лишенное души, вспыхнет, взорвется, рассеется в пространстве. А сознание... а сам ты останешься там, на Земле, навсегда... Хочешь ты этого?

Не холодок, а целая волна зябкого испуга заставила сжаться Яшку. Как бы ни рвался он душой к Вильсону, как бы ни стремился быть мальчишкой, а все равно он звезда. Покинуть звездный мир на веки вечные, лишиться звездной силы? А без этой силы он и Стасику-то, наверно, не очень нужен... Ведь именно благодаря Вильсону Белый шарик ощутил, какая это радость — быть звездой!

Однако и человеческие черты окрепли в нем благодаря Стасику. Самолюбие, например. И Яшка сказал хмуро и независимо:

— Ну, и останусь там, если надо. Навсегда так навсегда.

Желтые тетушки всплеснули руками. А Большой Белый шар объяснил печально и веско:

— Глупенький. То, земное, «навсегда» — это краткий миг по сравнению с жизнью звезд. Мы существуем миллиарды земных лет, это почти вечность. А люди, а Стасик твой?.. И сам ты, если там останешься... Ты меняешь вечность на мгновение. Ну, допустим, хорошее, приятное мгновение. Однако стоит ли...

Но тут Яшка не испугался. Не так уж он прост, хотя и мальчишка.

— Это по-вашему — мгновение. А для человека его жизнь — это знаете сколько! И вообще... Время не сравнивают. Смешно даже...

— Смешно другое,— вмешался Красный шар.—

Впрочем, это грустный смех... Смешно и печально, что ты не понимаешь разницы между собой и микробом, пылинкой.

Яшка сдержался, не нагрубил в ответ. Он нашел слова спокойные, взрослые, мудрые даже:

— Перед Бесконечностью, перед Великим Кристаллом все мы одинаковые пылинки...

Тетушки опять возмущенно и дружно взметнули руки. Но опустили их вразнобой, растерянно.

— Гм...— сказал в своей качалке Темно-красный шарик.— В рассуждениях мальчика есть какой-то философский стержень...

— Только на первый взгляд,— сдержано отозвался Большой Белый шар.— А на самом деле... Какой же смысл сравнивать с шарами существа микромира? Ведь именно шарам предназначено осуществить идею Всеобщей Гармонии Великого Кристалла.

Яшка подался вперед, сжал пальцами коленки.

— Но если... Всеобщая Гармония — это ведь когда всему Кристаллу хорошо, да? Но тогда ведь и каждому в нем должно быть хорошо! И большому, и самому крошечному! Чтобы каждый... Ну, чтобы у любого, кто живет, было как бы свое окошко, когда оно в домике светится. У всех-всех... А иначе зачем она, эта Всеобщая Гармония?

— Не-ет, малыш, тут ты загнул,— как-то излишне весело сказал Красный шар.— Такого не достичь никогда.

— А если не достичь, тогда зачем всё на свете? И Кристалл, и все мы?

Темно-красный шарик закашлялся опять. Желтые тетушки посмотрели друг на друга и приготовились закудахтать.

— Видишь ли...— медленно начал Большой Белый шар. Но Красный перебил:

— Не вертитесь поперек оси, шары. Мальчик спрашивает в упор, надо отвечать честно: никто не знает, зачем на свете всё.

— А я знаю! — звонко сказал Яшка.— Чтобы каждому было хорошо!

Большие шары не засмеялись, только Красный слегка улыбнулся. Когда все повздыхали, он снисходительно сказал:

— Так никогда не бывает, милый Белый шарик. Спроси хоть кого... Хоть своего Вильсона...

Большой Белый шар тоже заговорил — с некоторым смущением:

— Ты уж извини, дружок, но мы немножко... так сказать, покопались в твоих мыслях, когда ты спал. Не обижайся, это в твоих же интересах. Нам важно было знать, какими понятиями ты живешь, когда уходишь туда.

— Ну и пожалуйста! Я ничего и не скрываю!

— Тем лучше... И вот посуди: может ли быть хорошо всем даже там, у Стасика? Если его ловит Чича, хорошо Чиче, а Стасику наоборот. А если...

— Подумаешь! Мы этому Чиче недавно так навтыкали, что...

— Ясно, ясно... Вот я и говорю: всем ли было тогда приятно?.. Или другой пример. Вы там со Стасиком очень любите пельмени. А хорошо ли теленку, которого пустили на фарш?

— Но ведь... — начал Яшка.

— Что? — спросил Красный шар с грустной подковырой.

— А то! Нигде ведь еще Всеобщей Гармонии нет! И Вильсон не виноват, что так получается на свете! А когда он вырастет, он будет стараться, чтобы никто никого не убивал и не обижал!

— И у него ничего не получится, — сказал Большой Белый Шар. — Да... Конечно, он не виноват, что так все устроено. И когда он вырастет, он поймет, что каждый должен заниматься своими делами: он — человеческими, а звезды — звездными... Возьмем один пример. Я знаю: в микромире, где обитает Стасик, есть свой микромир, еще более крошечный. Невидимые даже глазу Стасика живые существа. Бактерии и так далее. И вдруг среди них обнаружили бы мыслящие, развитые... Или еще мельче! Нашлись бы разумные жители на частицах атомов, летающих вокруг ядра! Стал бы твой Стасик с ними вступать в контакт? С такой... извини уж, неизмеримой мелочью...

— Конечно, стал бы, — убежденно сказал Яшка. — Если бы это... существо... если бы ему было плохо и оно бы позвало на помощь.

— Но это бессмысленно! — воскликнул Красный шар.

А Темно-красный шарик неожиданно проговорил:

— Однако почему же? Возможно, в этом есть своя логика.

— Но это не логика звездных шаров! — раздраженно отозвался Большой Белый шар. — Согласитесь, что с такой логикой мы придем... сам черт не знает куда! Надо помнить, в конце концов, что у нас есть своя, звездная цель!.. Белый шарик, мальчик мой! Ведь ты родился звездой! Нельзя изменять предначертанию судьбы, это большой грех...

Яшка тихо, почти со слезами сказал:

— А если я брошу Стасика, значит, я ему изменяю... Я и так уже изменил одному...

Большой Белый шар сочувственно кивнул:

— Я знаю, ты имеешь в виду мальчика Ежики... Но ему сейчас хорошо, и он с благодарностью вспоминает о тебе.

— Мне-то от этого не легче...

— Но пока вообще ничего не было! — хохотнул Красный шар. — Вся эта история еще далеко впереди по вектору Времени!

— «Было — не было...» — по-взрослому вздохнул Яшка. — Все равно это неизбежно, раз я здесь... Раз я — шарик. Ведь я стал звездой, потому что бросил Ежики...

— Но ты же стал звездой! — наперебой заговорили Желтые тетушки (оставаясь, впрочем, прямыми и строгими). — Значит, никакой измены не было! Пора бы знать, что звезды не зажигаются с помощью нечестных поступков. Это общий закон Великого Кристалла! Ты просто выполнял свое предназначение!

— А что, разве обязательно кого-то бросать, чтобы выполнить... это... предназначение? Тогда Ежики, сейчас Вильсона...

Большой Белый шар сунул очки в жилетный карман. Подошел, сел рядом на диван, не боясь, что Яшка испачкает пятками его светлые брюки. Взял Белого шарика за плечи.

— Послушай, малыш... Что поделаешь, раз так устроен мир. Приходится и расставаться иногда... с кем-нибудь или с чем-нибудь... ради главной цели. У тебя звездная судьба, а у Стасика своя — маленькая, земная... Ну, нет, нет, не маленькая, не обижайся. Но... другая...

У Яшки защекотало в горле. Потому что он уже понимал: Большой Белый шар прав. И все же Яшка возразил:

— Я ведь тоже родился на Земле.

— На Земле родился кристаллик. А ты, Белый шарик, вспыхнул в пространстве. Вспыхнул не только кристаллик, но и тот кусочек материи, с которым он столкнулся. Может быть, у того кусочка тоже были свои планы, цели, память...

— Это была просто песчинка. Неживая. Иначе бы я помнил...

— Может быть, еще вспомнишь. А кроме того, и кристаллик... он вырос хотя и на Земле, но из крошечного звездного зернышка. Мадам Валентина фан Зеехафен вырастила тебя... его то есть... из так называемой звездной жемчужины — такие прилетают иногда на Землю, как мельчайшие метеориты...

— Откуда вы знаете?

— Пришлось узнать. Радн тебя... И еще радн тебя я хочу сделать одну вещь. Показать тебе окно в будущее. По правде говоря, это нарушение правил, но приходится, ты ведь не обычный шарик... Чтобы спасти тебя, я покажу, от какой жизни ты хочешь отказаться. Ты думаешь, манипуляции с индексами и минутные радости Резонанса — это все в звездной жизни? А радость познания! А великое счастье строительства новых структур! А музыка пространств, которую слышат большие звездные шары! А тайны межпространственного вакуума, где, возможно, рождается новый, неведомый нам мир!.. Все это шарики узнают после Возрастания. Но пока — хотя бы взгляни! — Большой Белый шар шагнул к окну и толчком распахнул створки.

Летний день за окнами исчез. Раскинулось темно-синее пространство, и в нем загорелись вдруг сотни многоцветных радуг, переплелись, отразились в гранях невидимых черных зеркал. И все эти радуги зазвучали — словно вздохнула и отозвалась мелодией Вселенная.

Это была мелодия, похожая на ту, что пришла к Яшке в комнате Полины Платоновны. Только бесконечно более глубокая, полностью берущая в плен. И в душе от нее — небывала радость и обмирание...

— Это Всеобщая Гармония? — прошептал Яшка.

— Нет, что ты...

Да, не было полной гармонии, не было радости Всеобщего Резонанса. Потому что среди черных зеркал открылись щели, из них дохнуло страхом неведомого, это же неведомое зазвучало в музыке. Но страх не уни-

жал, не заставлял спрятаться, а звал в свою глубину: в провалах межпространственного вакуума была жуткая, но притягательная тайна. Из этих провалов метнулись, выросли веерные лучи, превратились в ломкое переплетение разноцветных бесконечных плоскостей, зазвенели неслышно и оглушительно, и в звоне их отозвалась вся неохватность многомерных пространств. В этом переплетении, в этой звонкой мелодии был какой-то скрытый смысл. Еще чуть-чуть, и Яшка уловил бы его. И одним движением пальца, одним импульсом перестроил бы звучащий, тревожный и зовущий к себе мир. Сделал бы его еще лучше! Он чувствовал в себе такую силу!..

— Хватит! — громко сказал за спиной Красный шар. И в окне опять возник обычный день с пыльным солнцем и воробьями в тополиных ветках.

Яшка обернулся — оскорбленно, яростно! Почему у него отняли такое!

— Больше пока нельзя, — объяснил Большой Белый шар. — Я и так переборщил. Ты уже начал проникать. А это запрещено до Возрастания. Потерпи...

Яшка опять сел на диван. И молчал. Оглушенный, тоскующий по только что открывшейся Вселенной.

Большой Белый шар снова присел рядом.

— Ты видел, сколько радостей и загадок тебя ждет. Разве можно от этого отказаться?

Нет, не в силах был Белый шарик отказаться от этого... А от Вильсона?

Большой Белый шар заговорил опять:

— Сколько всего у тебя впереди. А Стасик... Ты станешь большой звездой и просто забудешь про него.

— Нет... — Яшка мотнул кудлатой головой. — Не хочу.

— Ну, не хочешь — не забывай, твое дело. — Большой Белый шар понимал, что одержал победу в главном.

Одна из Желтых тетушек ласково предложила:

— Когда ты станешь большим, сможешь завести детей, шарики-планеты. И если захочешь, разведешь на них сколько угодно мальчиков. И дружи с ними сколько вздумается, энергии почти не понадобится, потому что они будут под боком.

Яшка посмотрел на нее мокрыми злыми глазами.

— Скажете тоже... Все равно ни один из них не будет Вильсон...

— В конце концов это невыносимо! Дался он тебе... — не выдержала другая тетушка.

— Не надо, — строго сказал Большой Белый шар. — Мы и так обо всем договорились. Не правда ли, малыш?

— Да... — прошептал Яшка. Он понимал мысли Большого Белого шара: тот знал, что Белый шарик после Возрастания неизбежно забудет своего друга Вильсона. И сам Яшка это знал.

Пряча последнюю надежду, он попросил нерешительно, негромко, непохоже на прежнего ершистого Яшку:

— А можно мне туда еще один раз? Последний...

— Ни в коем случае! — вскинулись Желтые тетушки.

Но Большой Белый шар отозвался добродушно и понимающе:

— Последний раз можно. Попрощаться... Только дай слово, что ненадолго.

Уход

— А может быть, и тебе стать звездой? — неуверенно сказал Яшка. — Мы бы тогда смогли вместе. Всегда... — Это и была его последняя надежда.

Слабенькая надежда. Потому что ничего же не было рассчитано... Допустим, сумеет Яшка вывести Стасика в пространство, помчится с ним, обгоняя свет, столкнет его с летящей навстречу крупинкой вещества. А дальше? Могут ли земные мальчишки вспыхивать, как звезды?..

«Да, но я же уверен, что получится, — сказал себе Яшка. — Лишь бы Вильсон согласился рискнуть. Это страшно, но только на один миг...»

Однако Стасик ничего не сказал о риске, о страхе. Даже не спросил, как это все будет. Он выразился коротко и просто:

— Ты что, спятил? А мама как без меня? А Катька?

Вот и все... Можно, конечно, было объяснить, что маму и Катю он забудет, когда станет звездой. Но Яшка понимал, как посмотрит Вильсон в ответ и что скажет.

И значит, ни к чему дальнейший разговор. Все остальное было сказано еще раньше: и о Возрастании, и о том, почему он, Яшка, больше не может здесь появляться. И даже — горько и честно — о том, что, ско-

рее всего, Белый шарик не сможет вспоминать друга Вильсона, когда станет большим шаром.

Они сидели на топчане в своем фанерно-сетчатом домике, и рябина царапала веткой промасленную бумагу окна, потому что дул ветер. Была последняя неделя августа, время с жарой и грозами кончилось. Из-за реки бежали быстрые облака — с желтыми краями, но пасмурно-серые. Зябкие предвестники осени.

— Я же не виноват,— прошептал Яшка.— Если такая... природа. Раз я шарик...

Он вдруг наклонился и заплакал — не Белый шарик, а пока еще просто мальчик Яшка. Слезы, крупные, как стеклянные бусины, посыпались со щек и подбородка. На выгоревших белесых штанах они расплывались пятнами, а на темных («как у арапа») коленках размывали пыль.

— Ну, чего ты... Не ревн,— скомканно сказал Стасик.— Все равно это должно было случиться. Я знал.

Он понимал теперь, что и в самом деле знал это. Боязливая догадка, что счастье не вечно, что когда-то может наступить разлука, появлялась у него и раньше. Но в радостные дни, среди игр и веселья такие мысли прогонять было легко. А по ночам, в домике, когда вели теплым шепотом разговоры про звездную и человеческую жизнь, казалось невероятным, что Яшка (который вот он, рядом, лохматый, костлявый, пахнувший береговой пылью и речным песком, настоящий!) может куда-то деваться...

Яшка — Белый шарик — потратил немалую порцию звездной энергии, чтобы остановить плач. Остановил. Но унять слезы — не значит унять печаль.

— Тебе легче, раз ты знал. А я не думал, что все вот так... Свалилось как-то...

— Ну, ничего, не горюй...— через силу проговорил Стасик. Он боялся, что Яшка разревется опять. Тогда и сам он... А какой смысл в слезах, если расставание все равно неизбежно?

Горькую науку переживать несчастья земные мальчики изучают рано и знают ее, видимо, лучше, чем звезды...

Теперь ожидание разлуки уже тяготило обонх.

— Прямо сейчас уходишь? — неловко спросил Стасик.

Яшка рывком встал.

— Надо. Я честное слово дал.

Они вышли из домика на двор. Яшка насупленно умылся у раковины. Неуверенно спросил:

— Проводишь до берега?

— Пошли, — отозвался Стасик почти беззаботно.

Эта нотка нарочитой беззаботности словно задала тон их последней прогулке. Они пошли по Банному лугу уже без всяких разговоров о прощании. Стасик насвистывал. Яшка снял сандалии и похлопывал ими по штанам. Приятно было идти босиком по гранитным теплым плитам, по щекочущей траве, по мягкой пыли тропинок. Даже когда острые камешки вдавливались в ступни, все равно приятно. Потому что все это последний раз — весь Банный лог с его поворотами, лесенками, канавами, мостиками, с шепотом листьев на рябинах и тополях, с косо выпирающими на дорогу домами, с неугомонными воробьями среди чердачных будок, узорных дымоходов, карнизов и водосточных труб. С этой вот серой кошкой, дремлющей на перевернутой лодке (погладить, что ли? нет, не надо...).

И с Вильсоном, Вильсоном, Вильсоном, который идет рядом!

Стасик шел и насвистывал. Спокойно так...

Ну и хорошо, что спокойно. Может, не так уж и нужен Стасику Яшка. Ежики пережил разлуку, Стасик тоже переживет. Заведет новых друзей. Он уже не тот, что зимой и весной. Смелее стал, решительней, крепче. Проживет и без Яшки.

...Да, но ведь не в этом дело, нужен Стасику Яшка или нет! Дело в том, что Белому шарик у всегда был нужен Вильсон!

«Но Белого шарика не будет! — сказал он себе. — А будет новый большой шар. Тот, в которого я превращусь... Тот, который увидит и узнает чудеса, тайны и сложности миров, неведомые маленьким шарикам. Вспомни, что было в окне...»

И ожидание нового счастья засветилось впереди, повеяло теплым ветром. Яшка посмотрел на Стасика виновато: неловко стало за этот прилив радости.

Но Стасик по-прежнему посвистывал, поглядывал на облака. И никто не знал, что внутри у него крик и плач. Ох, выдержать бы... И когда уже стало совсем невмочь, пришел на помощь дождик. Он посыпался из маленькой, как мочалка, тучки, пробегавшей над Банным логом.

Ни Яшка, ни Стасик не стали прятаться. Шли так же, только лица запрокинули навстречу каплям. Дождик тут же промчался, заблестели мокрые плиты, лужицы и листья.

«Последний дождик...»

Навстречу Яшке и Стасику двигался вприпрыжку маленький Вовка Паитюхин, гнал проволоочной каталкой бочоночный обруч. Стриженная под машинку желтая Вовкина голова искрилась. Был он в иовой синей матроске (небось для школы купили, а он в ней по улице носится, обормот).

Вовка остановился, заулыбался щербато:

— Я к вам сегодня приду! Можно?

— Приходи,— сказал Стасик. И не стал добавлять, что Яшки уже не будет. И Яшка промолчал. Вовка поскакал дальше.

«Как мальчик на елочном шарике»,— вспомнил Стасик.

«Как мальчик на Дороге»,— подумал Яшка.

Дорога в тот раз привела его сюда, к Банному лугу. Сейчас, если постараться, можно выйти с Банного луга на Дорогу. А там — звездный путь. Но Стасик не хочет. И он прав... Но, может быть, придет время, и он все-таки узнает, куда способна вывести эта улица его детства?

— Если окажешься когда-нибудь на Дороге, можешь встретить Юкки,— сказал Яшка.— Он покажет, куда идти...

Стасик не спросил, что за Дорога. Спросил:

— Кто такой Юкки?

— Мальчик... Его иногда путают с Лотиком, но это не так. Они даже и не похожи... Просто и тот и другой с сестренками ушли из дома. Искать друзей. Но Лотик нашел своего Гальку, а Юкки бродит до сих пор. И с сестренкой они то теряют, то находят друг друга... Ты смотри, свою Катюшку не теряй...

— С какой стати,— насупленно сказал Стасик.

Вышли к пристани. Потом — на обрыв, на то место, где прощались всегда. Было пусто вокруг, только смесь облачных теней и солнца летела по откосам. Баржа отсюда была не видна, но Яшка знал: добежать до нее — одна минута, как всегда. Только сейчас — не как всегда, а последний раз.

Он вдруг подумал, что рано или поздно баржу пустят

на слом. И найдут каменного мальчишку в полинялом костюме с поблекшей пионерской нашивкой на рукаве. Вильсон может об этом узнать, догадается про все... Чего доброго, сделает из мраморного пацана что-нибудь вроде памятника и будет себе сердце надрывать... Яшка не хотел быть памятником!

Он стал сбрасывать одежду.

— Зачем? — без удивления, устало спросил Стасик.

— А мне все это для чего теперь?.. Отдай тете Поле.

— Совсем сдурел,— вздохнул Стасик.— Может, еще сказать, что ты потонул? Мало ей одного Левушки...

— Ох... я не подумал. Ну, спрячь куда-нибудь.

Он стоял перед Стасиком, тощенький, озябший, незнакомый какой-то. Но пока все еще мальчик Яшка.

— Пойду я. Ладно? — жалобно сказал он.

Стасик торопливо кивнул. Что еще делать, он не знал. Обнимать голого дрожащего Яшку неловко. Рукопожатия не были в обычае у туренских пацанов.

— Иди,— выдохнул он. Хотел еще сказать «прощай», да не вышло. Отчаяние и обида вскипели в нем, выплеснулись: — Ну, чего ты стоишь! Не торчи тут, убирайся! Думаешь, нужен ты мне, да?! — И скорчился, сел в мокрую траву, зубы сцепил.

— Вильсон...

— Убирайся! Врешь ты все! Не звезда ты, а... коптилка паршивая, вот! — И Стасик отвернулся так, что захрустела шея. И замер, заостенел...

Яшка стремительно бежал вниз. Хлестали по нему репейники, полынь и бурьян. Болела порезанная где-то пятка. Он всхлипывал громко, не сдерживаясь. Пусть! Последняя боль, последние слезы...

Внизу, у баржи, он все же оглянулся: не следит ли за ним Вильсон? Уж лучше бы выскочил за бугор и следил. Может, рукой помахал бы...

Но Стасик не смотрел, куда убегает Яшка. Он долго плакал, сидя в траве, потом собрал Яшкину одежду, свернул в тугую муфту и затолкал ее в бурьянную чашу.

И пошел к лестнице...

Серое небо

Прошли три дня — пустые, серые. Вечером к Скицыным постучала Полина Платоновна.

— Здравствуйте... Стасик, а что это Яши не видать? То целыми днями здесь, а то...

— В самом деле! — спохватилась мама. — Куда он пропал? И ты, я смотрю, как в воду опущенный. Что случилось?

Стасик тихо кашлянул и стал смотреть в темное окно.

— Станислав...

— Уехал он. Насовсем...

— Как уехал?.. Сбежал?!

— Ну, почему сбежал! Просто перевели... В другой город.

— А в какой город?

— Ну, откуда я знаю? Он сам не знал... Говорил, на Украину куда-то, — придумал Стасик. — Группу, десять человек.

— Но он напишет?

— Откуда я знаю, — опять буркнул Стасик.

— Вы что, поссорились?

— Какая теперь разница! — с отчаянием сказал Стасик. — Если его все равно нет... Что вы все ко мне пристали!

— Не смей грубить! Тебя по-хорошему спрашивают, а ты...

— Не надо, Галина Викторовна, — тихонько вздохнула у двери Полина Платоновна. — Это бывает у мальчиков. Случается, что один из друзей уезжает, а другому обидно, хотя никто не виноват. У Левушки тоже был товарищ, Саша Максимов, а потом, в пятом классе, вот так же... Что поделаешь...

Стасик сидел, привалившись к подоконнику, и наливался тяжелой тоской. В мгlistом Катерном переулке шуршал дождь.

Полина Платоновна сказала:

— Славный мальчик этот Яша. Я даже думала...

— Что? — спросила мама.

— Да теперь все равно уж... Видимо, не судьба... Недавно Стасика не было дома, а он пришел, говорит: «Можно, я у вас посижу?» Я обрадовалась. Попросила его: «Поиграй мне, если не трудно». И он начал играть.

Импровизировать... Честное слово, ничего подобного я раньше не слышала. Даже до слез... Это просто дар Божий...

Тут закапризничала, разревелась Катюшка, мама подхватила ее, Полина Платоновна незаметно ушла.

...А наутро Стасик с сумрачным ожесточением разломал их с Яшкой домик.

Он решил, что не будет больше страдать и тосковать по Яшке. Мудро, по-взрослому, сказал себе: «Что было — не вернешь, а жить все равно надо». И стал жить, как все. Играл на полянке в футбол, ходил в кино с Вовкой и Зямой, которая вернулась из лагеря — загорелая и совсем уж длинная. Потом пришло первое сентября — там вообще хлопот не оберешься. У Стаськиного класса оказалась новая учительница — молодая и очень добрая Елена Матвеевна. Бойко взялась налаживать пионерскую работу, назначила Стасика участвовать в спектакле «Архимед Вовки Грушина». Спектакль был веселый, животики надорвешь, а подготовка занимала целые дни. Заодно Стасик узнал, кто такой был настоящий Архимед, и попробовал проверить его закон, когда купали Катюку. Мама за это пообещала вылить ему за майку всю мыльную ванну и вдруг спросила:

— А от Яши письма не было?

Ну, и все посерело, потускнело тут же. Не надо ни Архимеда, ничего другого...

Мама взяла его за плечи мокрыми руками.

— Ох, Стасёнок ты мой... В жизни ведь всякое бывает. Даже если вы разъехались навсегда, если даже рассорились на прощание, все равно ведь... что было, то было. Хорошее надо помнить, и тогда оно будет с тобою всю жизнь... Верно ведь?

Стасик глотками загнал внутрь слезы и кивнул. Но вся его тоска, вся печаль по Яшке, которая в последние дни пряталась позади суеты и забот, поднялась опять, сделалась главной.

«Хорошее надо помнить»... Было бы легче, если бы расстались по-хорошему. И если бы знать, что Белый шарик тоже будет помнить это лето. Помнить Вильсона... Только не вспомнит он! Превратится в большую звезду после своего дурацкого Возрастания, и станет ему наплевать на все, что было...

Но... почему?

Неужели у звезд память хуже, чем у мальчишек! Неужели в ней не найдется уголка для Вильсона? Для... желтого окошка, которое светилось в их самодельном доме?

Может, Шарик напрасно боялся, и ничего он не забудет! Скорее всего, ему это большие шары наговорили. Нарочно! Чтобы меньше думал о Земле, о Вильсоне...

Но если он помнит... Пускай он прийти сюда больше не может, но через шарик-то поговорить, наверно, можно! Хотя бы разок! Чтобы сказать: «Яшка, ты не злился, что я тогда так по-дурацки закричал на тебя...»

Почему раньше-то не подумал о шарике, балда?!

Эта мысль — такая простая, такая спасительная! — пришла Стасику в школе, на уроке, и он еле дождался звонка. Наврал Елене Матвеевне, что болит голова, схватил портфель и помчался в универмаг. Хорошо, что был в кармане рубль!

Он купил за пятьдесят копеек целлулоидный теннисный мячик и тут же сжал в кулаке: «Шарик!.. Белый шарик!»

Молчал твердый мячик. Ни холодный, ни теплый. Неживой.

Опять стало пусто на душе. И серо вокруг. Листья были серые, дома и заборы серые. И небо серое, без солнца...

Дома Стасик — уже без всякой надежды, просто так — подержал в ладонях все шарики, какие попались на глаза: пластмассовые на Каткиных погремушках, медные на спинке кровати Полины Платоновны и даже круглые набалдашники на ручках деревянной скалки. Никакого толку.

— Ходит, ходит, — сказала бабушка Зямы, она присматривала за Катюшкой, пока мама на работе. И заодно воспитывала Стасика. — Уроки бы учил.

— Хочу и хожу...

— Вот обожди, придет мать...

Пришла на обед мама. Катька обрадованно и неумело затопала к ней, шлепнулась, заревела. Мама подхватила ее.

— Ушиблась, маленькая? Не плачь, мама погладит, и все пройдет.

Но Катька ревела.

— Воет и воет целыми днями, — сказал Стасик. — Спасу нет.

— Что с тобой? Двойку получил?

Эх, если бы двойку. Это разве беда? Он бы на второй год согласился остаться, лишь бы откликнулся Белый шарик! Хотя на полминутки отозвался бы!.. Ой, но ведь он говорил, что не всякий шарик годится для связи! Только такой, который очень нравится Стасику! Тот, который — не чужой!

Но один отобрали в лагере. Другой уплыл по речным волнам и теперь уже, наверно, где-нибудь в Ледовитом океане... Был еще один — глиняный, с отпечатками травы и пальцев. Потерялся год назад, когда Стасик прыгал из вагона.

...Может, и сейчас там лежит?

Когда появляется надежда, нельзя терять время.

— Ты куда это засобирался?

— Погулять нельзя, что ли?

— В новом костюме, в школьном? Думаешь, у нас много денег от выигрыша осталось? Я твое гулянье знаю, придешь, как с землекопных работ...

Ладно, лишь бы дома не засадила. А то «бабушке некогда, надо с Катей посидеть...». Стасик торопливо переоделся, натянул куций, рваный под мышкой китель от прошлогоднего костюма, истрепанные летние штаны, чулки, чтобы не исцарапаться в колючках у насыпи, и резиновые залатанные сапожки (бывшие мамины). Мама решила, что он идет гонять мяч на полянке.

— К четырем часам чтобы был дома! И сразу садись за уроки! Я у бабушки спрошу... И картошку почисти к ужину! — Это уже через порог, вслед...

— Ладно!.. — До картошки ли ему? Она, даже самая круглая, не оживет в ладонях, не позовет: «Ты кто? Вильсон?..»

Уже выйдя на улицу Стахановцев, Стасик сообразил: мелочь-то не взял из брючного кармана, автобусный билет купить не на что. А кондукторши бдительные и злющие...

Но не возвращаться же! Он пошел пешком. Погода была зябкая, с моросью, без намека на солнце. А улица Стахановцев — просто бесконечная. Шел Стасик, наверное, не меньше часа, и, когда подходил к насыпи, настроение у него совсем скисло. Но ни разу ему не пришлось в голову повернуть обратно. Потому что пока идешь, ищешь, надеешься, остается хоть какой-то просвет. Все-таки лучше, чем сидеть дома и маяться от тоски...

Он отыскал место, где в прошлом году прыгнул с поезда. Обшарил чертополох, лебеду, лопухи на сорок шагов в округе. Разгребал сапогами стебли, жалил о крапиву руки, яростно отдирал от себя репы, чертыхался и шептал: «Ну, где ты, где?»

Не нашел он глиняный шарик.

Наверно, как и задумано было, найдет его через миллионы лет новый мальчишка и узнает, что жил когда-то на свете Стасик Скицын...

От этой мысли не стало легче. Стасик поднялся по насыпи на рельсы. Оставалась последняя дорога, последний план. Пойти на обрыв у станции Река, сесть на том же месте, где в прошлом году, и вылепить новый шарик. Такой же.

Не было никакой уверенности, что этот шарик откликнется. Но ведь сперва еще нужно дойти, слепить. А пока идешь, есть надежда. Пускай хоть самая крошечная. И Стасик пошел, хотя понимал, что путь до пристани отсюда ох какой не близкий.

Он прошагал по шпалам примерно с полчаса — мимо заборов и пустырей, мимо будок, цистерн и кирпичных складов. И ни разу не прошел навстречу и не догнал его поезд. Станция была уже близко: справа блестела вода, слева поднимались обрывы.

От реки из-за свалившегося под насыпь товарного вагона поднялись на полотно четверо. Без испуга, с пренебрежительным равнодушием к очередному несчастью Стасик узнал Бледного Чичу, Хрына и Бомзика. А потом узнал и четвертого: длинного, с тонкой шеей, со стриженной головкой и мягким вздернутым носиком. Это был тот, который командовал в прошлом году, когда гонялись за Стасиком и заставили спрятаться в вагоне.

Поднялись они, пошли навстречу. Бомзик держал на плече моток веревки с проволоочной «кошкой». Наверно, компания что-то вылавливала в реке. Может, оружие? Ходили слухи, что банда «Попрыгунчики» перед своим разгромом утопила недалеко от пристани связку немецких автоматов и ящик с гранатами. Находились любители, искали...

Яшка говорил, что обшарил импульсами все дно и никакого оружия там нет...

Эх, Яшка, Яшка... Где ты сейчас?

Двойная радуга

1

Конечно, это была чисто случайная встреча. Но Стасику она случайной не показалась. Наоборот, все одно к одному. Если уж потянулась цепочка несчастий, без Чичи не обойтись.

Стасик не остановился, не сбил шага. И мыслей о бегстве не было. Он шел навстречу врагам со злой покорностью судьбе, с усталой гордостью и с безразличием к тому, что будет дальше. Так, наверно, идут на минные поля насмерть израненные в бою корабли: пронесет — ну и хорошо, а нет — значит, наплевать...

Сначала казалось, что пронесло. Чича и Бомзик даже раздвинулись, пропуская его сквозь шеренгу. Чича только скривился:

— А, Вильсон! Ну, гуляй... в сапогах по Сиксотному морю.

И Стасик сквозь вражий строй прошел целый-невредимый...

— А ну, стой!

Он оглянулся через плечо. Чича что-то шептал тощему, стриженому. Потом нехорошо посмотрел на Стасика. Заухмылялся — белесый, противный:

— Стой, говорят...

Стасик остановился. Все равно догонят.

— Где твой кореш-то чокнутый? — ехидно сказал Чича. — Забрали в дом для психов?

— Не твое дело, — без всякой надежды на избавление отозвался Стасик.

— Во! — обрадовался Чича. — Видишь, Васяня, как разговаривает! С ним по-хорошему, а он... Всегда так!

Васяня — ния хотя и не совсем обычное, но все же человеческое. Может, он и по натуре больше человек, чем трое других? Едва ли... Сейчас он пригнул к плечу стриженую голову, открыл рот, пошевелил треугольным подбородком с маленьким лиловым чирьем — то ли зевнул, то ли нижняя челюсть у него болела. Потом плюнул сквозь серые губы. Оглядел Стасика от сапог до макушки. Сказал сипловато, непонятно и веско:

— Сява.

— Ага! — обрадовался Бомзик.

— А ты закройся, ты тоже сява... пока. Чича, у тебя к этому что?

— Ну, я же говорил. Вильсон это... Помнишь, в том году гоняли! А потом он с одним психом лохматым... А сейчас не говорит, где он... который тогда с ним...

— Говори, когда спрашивают,— неожиданно произнес Хрын. Выкатил глаза и тяжело задыхался: видимо, эта фраза стоила ему больших мозговых усилий.

— Помолчи, если в черепушке пусто,— вздохнул Стасик.

Чича обошел Стасика, ухватил за локти, твердым коленом уперся ему в поясницу.

— Ребя, дайте ему по соплям, чтоб ответил: куда лохматый девался?

Васяня улыбнулся. Криво, по-клоунски — наверно, чирый мешал. Сморщил узкий лобик. Рыже-серые глазки засветились.

— Он чё, говорнть не хочет? Спрашивать уметь надо. По-научному...— Он шагнул к Стасику, большим пальцем сильно, с притиранием провел по его лицу — от подбородка до лба, так что нос чуть не оторвался. Стасик сжал зубы, замотал головой.

В это время летучая морось превратилась в дождик.

— Ай-я! — запрыгал Бомзик.— Капает... Льется...

— Айда, парни, вон туда,— приказал Васяня.— Сяву тоже берите, там поговорим...— И Стасика повели к дощатой будке, что стояла под кручей, за двойной шеренгой топольков. Она была вкопана в откос — виднелась лишь передняя стенка с приоткрытой дверью и козырек наклонной крыши с лоскутьями толя.

Стасика втолкнули в полумрак. Помещение оказалось квадратным, метра два в ширину и длину. Наверно, бывшая кладовка дорожных рабочих или чей-то заброшенный сарайчик. Пинком пленника загнали в угол. Снаружи в это время ударили по глине, по лопухам, по крыше отвесные струи.

— В самый раз смотались,— выдал Хрын умную фразу и опять начал шумно дышать, счастливый своим успехом. Бомзик сказал солидно:

— В нашем деле всегда главное — вовремя смыться.— И примолк опасливо: не много ли взял на себя?

— Дверь прикрой! — велел Васяня.— Дует и брызги...

— Тогда темно будет.

— Ты чё, на вшивость проверять себя собрался? — сумрачно сказал Чича. А Васяня спросил:

— А свечка? Ты, Бомзик, обещал парафин для жвачки принести. Если не принес... оторву.

— Я принес,— захихикал Бомзик.— Вот...

Дверь плотно прикрыли, свечку зажгли. Поставили на пол. Желтый свет, идущий снизу, сделал лица похожими на скомканные маски из оберточной бумаги. Стасик, втиснувшись в угол, смотрел, как маски эти ненатурально сжимаются и разжимаются, как мечутся по стенам и потолку ломкие густо-черные тени. Будто сон какой-то... Но настоящего страха пока не было.

Васяня достал папиросу, сел на корточки, прикурил от свечки.

— Да-ай,— затянул Чича.— Одну затяжечку...

— Не стони, каждому дам по очереди... Даже ему,— Васяня дохнул дымной струей в Стасика.— Он хоть и пленный, а все равно... Покурить даже перед расстрелом дают, Гуныч рассказывал... Ну чё, сява, хочешь затянуться?

— Не хочу... Не лезь!

Васяня шагнул к нему, опять сделал пальцем «смазь» по лицу, а потом ладонью крепко хлопнул по макушке. Так, что Стасик спиной скользнул по доскам, сел на корточки. Он не заплакал, ничего не сказал. Понимал, что это лишь начало. Так просто не отпустят, сперва позизмываются, отведут душу. И раньше, чем пройдет дождь, это не кончится...

Васяня присел рядом — будто с приятелем.

— Ну дак чего ты, сявушка, нам сказать-то не хочешь? — От него пахло смесью табака, жареных семечек и сырой шерстью грязного свитера.

— Про своего дружка психованного молчит, как партизан,— подал голос Чича.— Куда тот делся?

Васяня чуть отодвинулся, повернул к Стасику дымный рот:

— А?

Стасик не ответил. Если скажет про Яшку — уехал, мол, в другой город,— они найдут другую причину для допроса.

— Молчит...— с упреком пронзес Васяня и вдруг ткнул красным кончиком папиросы в Стаськину ногу, между короткой сбившейся штаниной и чулком. Стасик взвизгнул, шархнулся в сторону, съежился на полу.

— Больно же! Гад! — И заплакал наконец.

Васяня раскурил папиросу, покивал.

— Конечно, больно. Называется «божья кровка»... — Он или случайно сказал слово «коровка» коротко, или специально. «Кровка» — это было зловеще. — Хочешь, еще разик присажу? Ха-арашо по голенькому...

— Не надо, Васяня, — опасно сказал Бомзик. Он, конечно, не за Стасика страдал, а за себя боялся. Узнают про такое — всем попадет, и ему, Бомзику, тоже.

— Че-во-о? — спросил Васяня. — Может, сам хочешь?

— Да я-то чё, — заюлил, захихикал Бомзик. — Я потому, что он все равно не скажет. Он же матрос. А матросы, они всегда на допросах молчат, хоть режь... Только не надо его по правде резать...

Васяня проявил неожиданный интерес:

— Почему он матрос?

— Да я же рассказывал, — захихикал и Чича. — Матрос Вильсон. Помнишь? — Он тоже явно побанвался Васяни.

— Что Вильсон, помню. А что матрос... Матросов я уважаю.

— Да он неправдашный, — разъяснил положение дел Хрын.

— Неужели? — будто всерьез удивился Васяня. — А как узнать, правдашный или нет?

Хрына редко удостаивали беседы. Он заторопился:

— У настоящих матросов якорь... И вообще эта... тати... ровка. А у него где? — И заржал, довольный своей находчивостью.

— Татуировка, деревня, — сказал Васяня. — А у Вильсона, значит, ее нету? Плохо... А мы ему сделаем.

Стасик перестал всхлипывать. Съежился, прижимая ладонь к ожогу. Дышать перестал.

— Ага! — обрадовался Чича. — Давайте, как у Гуныча! «Не забуду мать родную!» И могила с крестом.

— Это фигня, — решил Васяня. — У одного моего корешка, у большого, татуировка настоящая, морская. Мастера делали. На груди корабль с парусами, а на спине русалка...

— Кто? — удивился Хрын. Он, видимо, был убежден, что русалка — это учительница по русскому.

— Дурак! Тетка морская! С рыбьим хвостом и титьками...

Чича заботливо спросил:

— Вильсон, ты что хочешь? Корабль или тетку с хвостом?

— Орать будет,— опять проявил необычайную сообразительность Хрын.— Это ведь иголкой, я знаю.

— Булавкой можно. У меня есть,— деловито сказал Васяня.

Стасик молчал, зажав слезы. Большого страха по-прежнему не было. Тоска была, это да. Безнадежная такая... На секунду появилась мысль: броситься, толкнуть дверь, побежать. Но разве убежишь от четверых! Да еще в сапогах... К тому же и сил не было. Зато было горькое понимание, что все идет по плану злой судьбы, которая решила окончательно расправиться с ним, Стасиком Скицыным... За что?

Едко, очень сильно болел папиросный укус. И Стасик вдруг вспомнил, как год назад искра от капсюля клюнула в ногу Генчика-Янчика. Бедный Генчик... От капсюля мысль прыгнула к Юлию Генриховичу, к его рассказу, как пытали горячей печкой. Эти вот — Васяня, Чича, Хрын — такие же сволочи. Поиздеваться над человеком для них главная радость. Бомзик, может, и не совсем такой, но из-за трусости тоже на все готов.

...— Орать будет,— опять сказал Хрын. Без опаски, а с гордостью за собственное умение рассуждать.

— Чё выкалывать-то будем? — возбужденно спросил Чича.

Васяня самокритично объяснил:

— Картинка не получится. Это настоящие блатяги умеют, у них мастера. Можно якорь...

— А можно «Вильсон»! — нетерпеливо предложил Чича.— Вокруг пупка. Как на спасательном круге. Ага?

— Немецкими буквами, потому что фамилия иностранная...— робко предложил Бомзик. И добавил шепотом:— А может, не надо?

— Орать будет,— насупленно повторил Хрын, уже недовольный, что это его суждение не принимают во внимание.

— Не будет,— решил Васяня.— Он же хороший мальчик. Должен понимать, что для его же пользы стараемся. Для его красоты... А если будет вякать, пасть прижмем...

За дверью мигнул яркий свет и сильно грохнуло. Бомзик подскочил.

— Ух ты!— удивился Васяня.— Был холодный дождик, и вдруг гроза. Наверно, погода меняется. Может, еще тепло будет, а? — Он сладко зевнул.— Ну ладно. Чтобы Вильсон во время операции зря не дрыгался, его немножко привязать надо. Бомзик, я там у рельсов доску видел. Ну-ка, тащи...

— Дождик ведь,— плаксиво сказал Бомзик.— И гроза...
— Иди, иди, не сахарный. Закаляйся... Ну!

Бомзик бросил на пол веревку с «кошкой», пискнул — и за дверь. Она впустила серый свет, запахи мокрых листьев и земли. Стасика уже тошнило от свечной гари и табачного дыма, и теперь он стал хватать ртом настоящий, вольный воздух... Может, все-таки броситься?.. Но когда поймают, будет еще хуже, еще унизительнее...

Бомзик очень быстро вернулся. Приволок доску длиной метра полтора. Даже не доску, а черную сырую плаху с запахом гнили. Дверь закрыли опять. Снова — желтые маски, тени, дымная жуть... Васяня поддернул рукава свитера.

— Ну-ка, сява, иди...

Стасик сжался в пружинистый ком. Лишь сейчас он словно очнулся. Неужели все это по правде? С ним, со Стасиком?.. Он отчаянно ударил двумя руками Хрына, лягнул Чичу, боднул головой Васяню. Но громко кричать все еще было стыдно. Всхлипывал только и выдыхал сквозь зубы: «Гады... гады...»

Стасика подняли, сдернули сапоги, стоямя прижали к скользкой доске. Тугие витки веревки начали рывками притягивать его к твердому дереву — от щиколоток до плеч. И тогда Стасик закричал наконец изо всех сил:

— Пустите! А-а!.. Мама!!

Но крик увяз в дыме и парафиновом запахе глухой кладовки. И тут же Стасику сунули в рот вонючий платок, а новый виток веревки вдавил тряпку между зубов. Стасик замычал.

Доску прислонили к стене — с наклоном детсадовской горки для катания. На Стасике расстегнули китель, задрали рубашку, стянули пониже штаны. Васяня, судорожно вздыхая, из-под ворота свитера вытащил безопасную булавку. Зачем-то подышал на нее, вытер о щеку. Сказал с хрипотцой:

— Ну-ка, ребя, посветите.

Чича поднес огарок. Руки у него дрожали, горячий парафин капнул Стасику на живот. Стасик дернул мыш-

цами, замычал сильнее. Чича хихикнул, качнул огарком снова.

— Ничего, сядушка,— ласково выдохнул Васяня.— Это не очень больно, потерпи маленько...

Яркий огонек высвечивал его лицо,— подбородок со следами слюны и чирьем, приоткрытые мокрые губы, наморщенный лобик. Сладкое предчувствие мучительства расплывалось в глазках Васяни масляной пленкой. И Стасик с тоскливым ужасом понял, что это удовольствие глушит все другие Васянины чувства. Вот они какие, настоящие мучители!

В последнем отчаянном протесте напряг Стасик мускулы.

— Фашисты! Экавэдэшники проклятые! Палачи!

Но этот иступленный крик был на самом деле мычанием — неразборчивым и слабым. Сознание беспомощности наконец навалилось на Стасика так, что стало сильнее страха и боли. «Черное покрывало!..» И с бесконечной печалью и даже с каким-то горьким злорадством он мысленно сказал Яшке:

«Вот видишь, как все вышло, когда ты меня бросил...»

Чича капнул парафином третий раз и заметил:

— Буквы-то сперва написать надо.— Он грязным ногтем провел дугу по Стаськиному животу. Живот свело судорогой.

— Чем писать-то? — недовольно спросил Васяня.

Бомзик опасливо сказал:

— Может, не надо?.. У меня карандашик есть. Химический...

— Давай! — Васяня схватил карандашный огрызок. Взял Бомзика за пальцы, плюнул ему в ладонь, обмакнул в плевок грифель. Зажал булавку в зубах и с карандашиком нагнулся над Стасиком.— По-иностранному, значит, писать? Это как?

Бомзик дернул горлом, будто проглотил горячую картошку:

— Первая буква как перевернутая «мэ»...

— Ага...— Мокрый грифель отвратительно зацарапал кожу.— Так...— Васяня вывел перевернутую «мэ», сунул карандаш Хрыну и взял булавку. Стасик закрыл глаза...

— Э!.. — вспомнил Чича.— А букву-то, как наколешь, сразу натирать надо! Углем или сажей. Я знаю...

— И карандашом сгодится,— нетерпеливо сказал Васяня.

— От карандаша может заражение быть, он химический...

— А правда, помрет еще... Ладно! У рельсов каменный уголь валяется, куски, я видел. Натолчем его, чтобы все по правилам... Бомзик, пошел!

Бомзик метнулся из будки, словно его тошнило. Плечом ударил в дверь, выскочил. Упругий воздух опять хлынул в душную кладовку, загасил свечу.

— У, зараза! — плаксиво завопил вслед Бомзику Васяня. — Оборву дрыгалки, недоносок контуженый!.. — И замолчал. В открытой двери сверкало солнце — на тополиных листьях, на рельсах, на мокрой траве. Дождь кончился. Стасик увидел, что Бомзик стоит на рельсовом полотне, запрокинув лицо. Волосы Бомзика искрились под лучами. Он вскинул руки и закричал:

— Ребята, глядите, радуга какая! Двойная, через всю реку, как мост! Я такой никогда не видел!

Ругаясь шепотом и почему-то хромая, Васяня вышел из будки. Хрын и Чича поспешили за ним. Хрын пяткой ударил дверь, она захлопнулась, но солнечные щели горели в темноте. За дверью раздавались голоса:

— Во, подлюга, с берега на берег!

— Моща! Я когда в деревне у бабки был, там такая же...

— Наверно, в этом году последняя. Жалко...

Неужели они могли радоваться радуге, как люди?

Желание свободы рвануло Стасика болезненной дрожью. Он изо всех сил напряг мышцы, дернулся! Может, ослабнет веревка!

— Эй, парни, полундра! — вдруг завопил снаружи Чича. А следом тонкий голос Бомзика:

— Ай! Берегись!..

Зашелестело что-то, нарастающе зашумело, сотрясающим ударом накрыло будку. И навалилась глухая тьма.

2

Стасик не понял, конечно, что случилось. А враги его сразу увидели, что едва спаслись. Подмытый ливнем глиняный многотонный пласт отслоился наверху от обрыва и заскользил вниз. Он завалил бы, наверно, рельсовый путь, но лавину остановил двойной строй топольков. Это

были тополиные стволы, врытые вдоль полотна: их вкопали весной, и за лето они отрастили длинные ветки-побеги. Тополята задержали поток глины, но будка оказалась заваленной полностью. Словно ее и не было.

— В...от па...а...длюга,— начал заикаться Чича.— Ч-чуть не з-закопались...

— А Вильсон?— перепуганно спросил Бомзик.

— А ему-то какой фиг сделается?— сумрачно сказал Васяня.— Там и сидит. Целехонький.

— Копать надо,— сообразил Хрын.— Сам не разроет...

— Позвать кого-нибудь...— Бомзик с перепугу мелко топтался на месте. Васяня стрельнул в него глазами:

— Ага! И найдут эту сяву связанную. Скажут: «Чё вы с ним творили?»

— А к-как теперь?— Чича был не бледный, а пятнисто-розовый от страха.

Васяня отвел глаза, но сказал бодро:

— Сам выберется, если захочет... А мы-то при чем? Мы его закапывали, что ли?..

— Не... Сам не выберется,— вздохнул Хрын.

— А он тебе кто? Любимый брат?— Васяня глянул исподлобья.— Чего страдаешь? Кому его надо, без нас найдут.

— Вот тогда-то он все и расскажет,— съезженно вздохнул Бомзик. Васяня стал смотреть на него долгим взглядом. И Бомзик все ежил, ежил. И все понимали, что едва ли скоро найдут Вильсона. Кто вспомнит про эту никому не нужную будку, кто станет ее раскапывать? А если когда и раскопают, Вильсон уже ничего не расскажет.

Вот именно — не расскажет. И нет виноватых...

А если поглядеть на глиняный завал, то вроде бы и не было никакой будки. И Вильсона не было. Надо просто пойти домой. Будто ходили они на речку и теперь возвращаются как ни в чем не бывало...

— А правда... Мы-то при чем?— шепотом сказал Чича. Васяня всех обвел глазами:

— Хватит... Никто ничего не видел, не помнит! Ясно, птенчики? А кто пикнет... вы меня знаете.

...Правду говорят, что отчаяние прибавляет сил. Сумел Стасик ослабить, а затем и размотать веревку. Но когда он в темноте всем телом грянулся о дверь, силы опять

пропали. Потому что наконец дошло до Стасика, что же случилось на самом деле. Может быть, не совсем дошло, не в подробностях, но главное он ощутил — это могила. Крикнул — слабо, без надежды — и голос увяз в глухой тесноте каморки.

Стасик сел, спиной привалился к двери. Обнял колени. Было душно, кружилась голова. Чернота липко охватывала Стасика — хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами. В ней плавали размытые зеленые пятна, но они быстро таяли. «Черное покрывало...» — опять подумал Стасик. Прежний страх запертого помещения снова вспомнился ему. И понятно стало, откуда в душе давнее предчувствие такого конца. Но это был не сам страх, а только память о нем. Стасик уже не боялся. Бояться имеет смысл, когда еще можно спастись от опасности. А сейчас это уже случилось, и возврата не было.

Стасик не размышлял, от чего он здесь погибнет: от голода, жажды или удушья. Потому что уже сейчас он чувствовал себя умершим. Не было ни звуков, ни времени, ни ощущений. Даже боль от ожога казалась теперь посторонней, чьей-то чужой. И лишь одно неясное ожидание еще жило в Стасике: должно случиться что-то самое последнее. Не страшное уже, но полностью безысходное. То, что поставит точку...

И Стасик не удивился, когда в душной черноте смутно забелела забинтованная голова.

...Юлий Генрихович взял его за кисть руки не очень холодными, но все равно неживыми пальцами. Он был совсем рядом, но говорил словно издалека. Не сердито говорил, даже ласково:

— Соскучился? Ну, пойдем... — Он потянул Стасика, тот оказался на ногах. И даже в сапогах.

Темнота оставалась непроницаемой, но в ней стало ощущаться пространство. Как широкая беспросветная ночь.

— Пойдем...

И они пошли.

— Куда мы?... — тихо спросил Стасик.

— Туда... Ко мне...

Тогда Стасик сказал слабо, обессиленно:

— Я не хочу...

— Что поделаешь. Хочешь не хочешь, а иначе нельзя.

Стасик и сам знал, что иначе нельзя. Они шли долго, и наконец Стасик начал различать то, что было вокруг. Не глазами, а каким-то иным зрением он в непроглядной ночи видел черные деревья, черные многоэтажные дома, черные звезды на небе... Под сапоги попадали комки стылой земли. Тянул промозглый ветерок.

— Не дрожи, скоро не будет холодно,— сказал Юлий Генрихович. Стасик молчал. Отчим (по-прежнему изда-лека, с черной высоты) сказал опять:— Видишь, я снова пришел к тебе на помощь. Никто не приходит, один толь-ко я. Тогда в лагере и сейчас...

— Но тогда вы были живой,— несмело возразил Стасик.

Юлий Генрихович помолчал, вздохнул:

— Нет... Я и тогда не был живой. Меня сделали мерт-вым раньше. В сорок четвертом, там в зоне...

Он покрепче перехватил руку Стасика и зашагал быстрее.

— Я не хочу,— опять сказал Стасик.— Отпустите меня, пожалуйста.

— Куда?

— Домой. К маме...

— Не имеет смысла. Ведь мы идем уже несколько месяцев.

— Ну и что? Отпустите...

— Тебя и так давно отнесли маме. Откопали и от-несли...

— Нет!— Стасик впервые сильно дернулся.— Не-правда!

— Правда. Не рвись... К тому же и мамы скоро не будет.

— Нет!!!— Он рванулся так, что Юлий Генрихович остановился.

Ночь была заполнена глухим гулом. Пространство расслаивалось, тошнотворно давило на сознание своей раздвоенностью. Стасик узнал жуткую двухэтажную пустоту, которая мучила его во время дифтерита. По двум бесконечным плоскостям тяжело катились друг над дру-гом угольно-черные поезда.

...— Мамы скоро не будет,— повторил Юлий Генри-хович.— Видишь, за ней уже послали машину.

И Стасик увидел в темноте знакомую «бээмвэшку», в которую сел однажды Коптелыч. Она бесшумно ехала по гладкой площади, которую пересекал по рельсам ровно гудящий состав.

— Нет!— крикнул Стасик изо всех сил.— Нет!!! Не надо!

Ударившись об этот крик, как о забор, машина стала. Забуксовала поперек рельсов. Черный локомотив стремительно ударил ее буфером, и темноту пробила режущая глаза вспышка.

Возрастание

Белому шарiku стало известно, что Возрастание, которое ожидает его,— не единственное. Оно лишь ступенька в процессе постижения звездной мудрости. Потом будут и другие Возрастания, после которых Шарик (то есть уже молодой Белый шар) достигнет новых горизонтов познания...

«Значит, люди растут постепенно, а шары скачками,— размышлял Белый шарик.— И наверно, после первого скачка я превращусь из мальчика в юношу, а потом уже во взрослого. А еще дальше — в пожилого, как Желтые близнецы... А интересно, в такого старого, как Темно-красный шарик, превращаются тоже после Возрастания? Или просто ссыхаются постепенно?..»

Впрочем, до той поры было так бесконечно далеко, что Шарик думал об этом лишь мельком. Главное — первая ступень. И радостное ожидание теперь уже не оставляло Шарика. Правда, в эту радость большие шары несколько раз капали укусом:

— Ах, если бы ты не потратил столько энергии напрасно...

— Мы не знаем даже, хватит ли сейчас у тебя сил...

Но это скорее в целях воспитания, а не всерьез. И в конце концов Красный шар сказал:

— Хватит пилить мальчишку. Он уже все понял, а вы, господа, зудите... Все получится в лучшем виде.

Он так и сказал — «мальчишку»? Или Шарiku послышалось? Из-за привычки все переводить на человеческие понятия...

От этой привычки Белый шарик так и не избавился до конца. Да что там «до конца»! Вообще не избавился. И от воспоминаний. Случалось, что в самые важные моменты подготовки к ответственной акции вдруг возникал в памяти Банный лог, покрытые полыньей и чертополохом откосы и желтое окошко в вечерних кустах. И Виль-

сон, Вильсон, Вильсон! Вставал перед глазами... Впрочем, какие у Шарика глаза! Скажем так — перед мысленным взором...

Большой Белый шар, видимо, догадывался об этом. Он сказал мягко, уже без всякой назидательности, с сочувствием:

— Что поделаешь. Это надо преодолеть, дитя мое. Вспоминай чаще то окно, которое показал тебе я.

И Шарик вспоминал. И радостно-тревожный зов пространств и загадок Великого Кристалла звучал в нем, как музыка. И предчувствие необыкновенного праздника снова охватывало его.

Но звучала в той музыке, в самой ее глубине, отдельная, не вошедшая в мелодию нота... Это как однажды, когда Яшка заиграл на фисгармонии что-то свое, неожиданно проснувшееся в душе, а Стасик, дурачась, ткнул пальцем наугад в один из клавишей. И высокий шемящий звук разрезал мелодию, как разрезает пространства невидимая стеклянная плоскость. Яшка хотел рассердиться, но глаза у Вильсона почему-то были такие... ну, будто он знает что-то печальное. Такое, что Яшке неизвестно. Догадывался, может быть, о близком расставании?

Эта нота, к счастью, была сейчас почти неслышной, а если и пробивалась в сознании, Белый шарик заглушал ее основной музыкой. И утешал себя, что скоро вообще все забудется, откроется совершенно иная жизнь. Хотя притаившийся в нем лохматый Яшка и вздыхал украдкой, что это нечестно...

А почему нечестно? Если у Белого шарика свой путь, звездный, а у Вильсона — человеческий!

Яшка, зашевелившийся опять в Шарике, невежливо толкал совесть пыльными твердыми пятками и локтями: «Пути могут быть разные, когда нет общей Дороги...»

Но это была уже какая-то совсем путаная, несерьезная мысль. И Шарик прогнал ее сердитым пинком...

А когда торжественный момент Возрастания стал совсем близким, Белый шарик вообще запретил себе воспоминания и сомнения. Нужна была внутренняя сосредоточенность. Нужны были все запасы энергии и твердость духа.

Но даже в тот праздничный день Белый шарик не смог изменить привычке видеть себя мальчишкой. Разумеется, он отдавал себе отчет, что находится в космической пус-

тоте, в центре звездной пирамиды, на вершинах которой взволнованно ждут его Возрастания шары-наставники — добрые, внимательные, уминые, — а из соседних с пирамидой областей тоже следят за происходящим и шлют импульсы-поздравления другие шары. Но в то же время он чувствовал себя мальчиком, приглашенным в гостиную, где собрались доброжелательные, но строгие воспитатели и солидные гости.

Он не был теперь растрепанным пацаном с Банного лога, а пришел сюда, как приходили на торжественные гимназические акты мальчики Реттерхальма. В праздничном костюме — вроде того, какой однажды заказала для Лотика мадам Валентина: короткая синяя курточка с узкими рукавами и просторным воротом, из-за которого был выпущен широкий, отороченный кружевом воротник рубашки (и такие же манжеты спускались из-под обшлагов); светлые шелковистые брюки и черные башмаки — такие лаковые, что в них отражалась вся гостиная.

Гостиная эта не была той, в которой он много раз вел споры и получал нахлобучки. Это был целый зал с зеркалами, красными портьерами и сияющей люстрой над овальным столом.

У стола сидели все, кого Белый шарик знал. Не только жители пирамиды, но и ближайшие соседи. А на председательском месте — Зеленый шар, староста всех окрестных областей.

— Подойди, дитя мое, — с отеческим добродушием, но важно произнес Зеленый шар.

Белый шарик сделал, как полагается, три шага и наклонил голову (не лохматую, а на сей раз причесанную, с пробором).

Зеленый шар встал. Покашлял. Остальные внимали.

— Мальчик! Мы все пристально и с любовью следили за твоим детством. Прощали тебе шалости, радовались успехам. Видели, как ты становишься все более разумным и умелым... Ты порой тратил энергию на ненужные поиски и опасные эксперименты. Что поделаешь, так устроен мир: мы все учимся на собственных ошибках. Но теперь время детских ошибок позади...

— Пришло время ошибок молодости, — ввернул фразу Красный шар и заулыбался. Это слегка нарушило торжественность, но Зеленый шар принял шутку снисходительно. Посмеялся, покивал толстыми подбородками, лежащими на салатном жилете. На одном из подбород-



ков светилась пунцовая бородавка (это был крошечный красный спутник, вращавшийся вокруг Зеленого шара).

— Дитя мое! Мы пришли к выводу, что ты достаточно разумен, чтобы шагнуть на новую ступень звездного развития. И тогда ты сможешь неизмеримо больше, чем раньше, совершить добрых деяний во имя идеи Всеобщего Резонанса...

Зеленый шар взял со стола красную с золотом папку. «Вот оно»,— подумал Белый шарик, и сердце заколотилось.

— Белый шарик!— возгласил Зеленый шар громче и официальнее, чем прежде.— Пришла пора вручить тебе диплом Первого Возрастания. Для этого тебе остается сделать последний шаг. Собери силы и переступи черту!..

Все встали. Желтые тетушки торопливо выбрались из-за стола и, мешая друг другу, расстелили на темном паркете белую ленту. Прямо у башмаков Шарика. Одна шепнула:

— Вот ее и перешагнешь...

А другая:

— Только сразу, не топчись...

Это была не просто лента, не просто черта. Над ней упругой стеной встало энергетическое поле. Действительно, понадобится немало сил, чтобы пробить его. «Если не протолкнусь, пушу с плеча рассекающий импульс. На один-то энергии хватит,— подумал Шарик с дрожью праздничного азарта.— Только бы не зацепить кого-нибудь за столом...»

Белый шарик прекрасно понимал, что все это лишь игра его сознания. Но тем не менее отчетливо видел подробности: и отражение люстры в своих башмаках, и желтый закат над крышами Реттерхальма в раскрытых окнах, среди раздвинутых наполовину портьер. И ощущал, как теплеют от волнения щеки.

Большой Белый шар отошел к темной, с витыми бронзовыми столбиками тумбочке. На ней сверкал желтой ребристой жостью рупор граммофона. Большой Белый шар с торжественной плавностью опустил на диск никелированную головку мембраны... Без обычного шипения, неожиданно чисто, с мягкой громкостью заполнила гостиную музыка оркестра. Пели трубы и скрипки, вздыхал где-то позади них орган. Мелодия была та, которую Белый шарик ждал. Которую однажды он услышал у распахнутого во Вселенную окна. Только теперь она зву-



чала более светло, без прежней тревоги. Хотелось броситься в нее, как в полет, раствориться в этом сиянии и счастье... И лишь еле заметно пробивалась наперекор оркестру высокая ровная нота — словно далеко-далеко Вильсон опять давил не попадая отдельный клавиш.

— Ну, мой мальчик! — Зеленый шар протянул тяжелую папку диплома. — Ты готов? Сделай усилие и шагай...

— Ага... сейчас, — неловко сказал Белый шарик. Качнулся вперед. Но одинокий звук нарастал, рассекая общую мелодию голосом тоскливого рожка.

— Что же ты? — уже с беспокойством поторопил Большой Белый шар. — Мы ждем, малыш. Всего шаг...

Медный рожок запел томительно и резко, врываясь в сознание сигналом неотвратимой беды. Белый шарик зажал уши.

— Не надо!

Мембрана сорвалась с пластинки, жестяной. рупор со скрежетом осел, музыка оборвалась. Но медный сигнал звенел, заполняя пространство, превращаясь в человеческий голос, в мольбу о помощи, в отчаянный крик...

Белый шарик прыгнул к окну. Вскочил на подоконник. С шорохом упала сорванная портьера. Только что был за окном Реттерхальм, деревья, вечер, а теперь — непостижимо черный, непостижимо глухой межпространственный вакуум. Впервые Белый шарик видел эту пустоту Яшкиными глазами.

Яшка зажмурился. И вспомнил, как с высоких мостков прыгают в речную воду туренские мальчишки.

Тополек

1

Не было, не было времени, чтобы проникать на баржу и потом уже мчаться искать Вильсона. Белый шарик вонзился невидимым лучом прямо туда, где из-под завала рвался в пространство Стаськин черный импульс. Луч метнулся в поисках массы для Яшкиного тела — по глине, по шпалам. Уперся в один из топольков. Живые клетки! Тем лучше!.. Воздух толкнулся, как от небольшого взрыва. Яшка встал на месте тополька, увязая лаковыми башмачками в жидкой, блестящей на солнце глине.

Стаськин сигнал уже угасал, как угасает крик обесиленного человека. Но Яшка теперь точно знал, где Вильсон. Вскинул над головой, как топор, сомкнутые ладони.

Тонкая — уже слишком тонкая! — импульсная нить, что связывала Яшку с Белым шариком, застонала от перегрузки. Но выдержала. Яшка махнул отяжелевшими руками — плоское пламя рассекающего импульса снесло и отбросило глиняную грудку. Медленно упала наружу дощатая дверь...

Огонь взрыва от столкновения паровоза с машиной не погас. Он разгорался, делался разноцветным, превращался в сверкающий день. Стасик лежал навзничь на срезанной с петель двери и видел небо. Половина неба сияла вымытой голубизной, а другая была еще затянута пологом уходящей грозы. На нем таяли остатки радуги. Запах дождя, реки, сырых тополей волной прошел по Стасику. И Стасик решил, что будет лежать вот так — счастливый, свободный — тысячу лет.

Зачавкали шаги. В небе над собой, на границе грозы и синевы, Стасик увидел Яшку. Его голову и плечи. Голова казалась перевернутой, потому что Стасик сам лежал запрокинувшись. Перевернутый Яшка тревожно мигал и вытягивал шею. Шея и плечи были в странном кружевном воротнике. И Стасика обожгла испуганная догадка, что все это — продолжение бреда!

Стасик не то крикнул, не то пискнул, дернулся, сел. Затошнило. Но яркий день не исчез. И Яшка не исчез. Сел на корточки.

— Вильсон! Ты целый?

Нет, не сон. Вот он, Яшка, настоящий. Трясет Стасика, жалобно просит:

— Встань. Я хочу видеть, что ты живой.

Стасик послушно встал. Затоптался на твердых досках.

— А сапоги-то... Яш, они там остались...

Яшка метнулся в будку, вынес сапоги. Стасик толкнул в них ноги. Он чувствовал себя, словно среди дня заснул долгим тяжелым сном и теперь его растолкали. Потер ладонями лицо, потряс головой... День все так же сверкал, умытый ливнем. Обещал смену погоды, тепло. Пускай ненадолго, но возвращалось лето. И Яшка вернулся... Правда, не совсем такой, как раньше. Он, кажется, стал повыше и одет был почему-то как мальчики

на картинках в журнале «Нива» у Полины Платоновны. Стасик спросил:

— А ты... вернулся, чтобы как раньше? Или только чтобы раскопать меня?

— Что с тобой тут случилось? — нервно сказал Яшка.

— Ну, что... Поймали, наколку делать хотели. Во... — Стасик поднял на животе рубашку. — Только не успели. Выскочили радугой полюбоваться, сволочи. А тут... завалило, да?

— Оползень...

— Будто могила, — вздохнул Стасик. — Никто бы никогда не откопал.

— А они-то! Они же, наверно, за лопатами побежали!

— Держи карман... Никто бы не узнал. Если бы не ты... — Стасик вдруг содрогнулся мучительной, как боль, дрожью от всего, что пережил. Теперь уже трудно было разобраться, что случилось по правде, а что страшно привиделось в этой проклятой будке... Но зато Яшка — вот он!

Стасик опять спросил:

— Ты насовсем? Или только...

— Только, — вздохнул Яшка.

Радости поубавилось, но Стасик сказал храбро и спокойно:

— Ну, что же... все равно хорошо. Спасибо тебе, Яшка. — Потом попросил: — Ты не злись, что я тогда... ну, заорал так по-глупому. Это просто чтобы не зареветь...

— Да ладно тебе...

— А ты... — Стасик чуть улыбнулся. — Весь такой красивый. И вроде бы побольше сделался. Что, уже началось Возрастание?

— Нет. Я из тополька... вырос. Прямо здесь.

— Правда... — Стасик увидел, как на Яшкиной шее повыше воротника вздрагивает, приклеившись черенком, свежий листик. Хотел снять его, быстро потянул. Яшка ойкнул — черенок оторвался, и на коже выступила красная капелька.

— Прости, — испугался Стасик. — Я не знал...

— Да чепуха, — Яшка промокнул капельку пальцем.

— Залечи, — виновато сказал Стасик. — Ты ведь умеешь.

— Не стоит. Мне теперь знаешь как надо энергию беречь... — Яшка снова ощутил, как болезненной жилкой

дрожит импульсная нить. Даже голова кружилась и слабели ноги.

— Да тут ведь совсем чуть-чуть надо, энергии-то,— смущенно сказал Стасик.

— Тут-то чуть-чуть. Зато переброс во что обходится...

Он хотел сказать: «Мне пора уходить, Вильсон. А то будет беда». Но ощущение боли — не своей, Стаськиной — удержало его.

— Что у тебя с ногой?

Болезнь ожог. До сих пор эта боль была как бы отодвинута, существовала отдельно от Стасика. Но сейчас раскаленный стержень воткнулся в бедро.

— Папиросой... гады...— И Стасик закусил губу.

Яшка быстро сел на корточки. От его ладони пришел тугой успокоительный холодок, растворил в себе ядовитое жжение. Стасик задышал часто и облегченно. И все же сказал с упреком:

— Что ты делаешь! Сам же говорил — беречь энергию надо.

— Ладно уж...— Яшка встал. Под засохшей капелькой крови дергался на горле тонкий сосудик — в ритме натянутой до отказа импульсной нити. Яшка сумрачно спросил:— А если они снова тебя поймают?

— Теперь пусть попробуют... Знаешь, как буду отбиваться!

— Их же много...

— Ну и что!— яростно вскинулся Стасик.— Всех перегрызу!

Яшка осторожно сказал:

— А вот сегодня-то... ведь не отбился.

— Потому что...— Стасик стал смотреть вдоль рельсов. Они сверкали, слепили глаза.— Мне как-то все равно сегодня было. Потому что тебя не было...

— Меня ведь и опять не будет,— еще осторожнее напомнил Яшка.

— Все равно. Теперь уже будет не так. Мне теперь хватит...

— Чего?— прошептал Яшка.

— Ну... как ты пришел сегодня. Я помню буду...

«На всю жизнь»,— хотел добавить он, только постеснялся.

Прощание опять придвинулось вплотную, и они стояли друг перед другом, не зная, что еще сказать. Стасик неловко спросил:

- Ты сейчас опять в тополек превратишься?..
- Сначала я провожу тебя. Хотя бы до лестницы...

Лестница была недалеко. Они поднялись до половины, сели на сырые ступени. Близок уже был вечер, влажный воздух золотился. Небо совсем очистилось, но обрывки радуги все еще висели над заречной далью. Яшка обводил глазами горизонт, деревни с минаретами, изгибы обрывистого берега, похожий на белую крепость монастырь, серо-желтую после дождя реку. Видна была и черная баржа на песчаной полосе... Теперь на баржу ему не надо. Надо только отойти вон туда, на травянистую площадку. Сказать Вильсону, чтобы не ходил следом, а то его зацепит воздушным вихрем... Секунда — и встанет на откосе тополек... И наверно, Стаська не раз будет приходить сюда. Ладно, пусть приходит. Тополек — он не каменная статуя, живой все-таки...

А Стасик не смотрел ни вокруг, ни на Яшку. Сильно согнулся, тербил на сапоге отошедшую резиновую заплатку.

Вот и все. Надо что-то сказать на прощание, потом встать, шагнуть в сторону... А что, если перетянутая, дрожащая в последнем усилии нить не выдержит, лопнет от первого движения? Потому и страшно двинуться?..

Или все же не потому?

Не поднимая головы, Стасик тихо спросил:

— Тебе не влетит, если ты опоздаешь на Возрастание?

Ни о каком Возрастании теперь не могло быть и речи. Энергии хватит лишь на то, чтобы вернуться. А для Возрастания копить и копить силы. Под укоризненное молчание больших шаров.

Импульсная нить натянулась, как тонкая-тонкая резина. Словно Яшка — тряпичный мячик, вроде тех, что на рынке продают по рублю веселые бабки, а другой конец резинки далеко-далеко, в чьей-то властной и нетерпеливой руке. Только шагнешь — и тугая сила унесет тебя в звездную пирамиду...

Но это — если не медлить. Нить уже на последнем пределе. На сколько минут (нет, секунд) хватит энергин, чтобы удержаться здесь?

А зачем держаться? Зачем они, лишние секунды?

Ласковый земной простор обнимал Яшку на прощание.

«Пойду я...» — хотел сказать Яшка. И вцепился в ступеньку. И сказал:

— Возьми меня за локоть. Крепче!

— Зачем?

— Возьми!

Стасик испуганно вцепился.

— Яшка, что с тобой? Ты помираешь, что ли?

— Не-а... — Яшка зажмурился. Резко, беспощадно зазвенела темнота. Импульсная нить порвалась, хлестнула Яшку. Так бьет по лицу лопнувшая резина рогатки.

* * *

...В тот день в обсерватории «Сфера» было отмечено, что погасла звезда «Я-37».

— Когда вы это обнаружили? — спросил у дежурного ассистента научный сотрудник Скицын.

— Двадцать минут назад, Михаил Петрович. Зафиксировали прямо на дисплее.

— Может, барахлит настройка? — спросил Михаил. Четырехмерный межпространственный анализатор, именуемый по привычке телескопом совмещенных граней, не был еще отлажен окончательно, группа «Кристалл-2» колдовала над ним днями и ночами.

— Но нет сигнала и на ленте хроноскопа... — Ассистент словно чувствовал себя виноватым. — Сами взгляните.

— Я будто чуял... — вздохнул Михаил. — Ладно, сделайте запись...

Вечером к нему пришел семиклассник Витька Мохов.

— Миш, все говорят, что Яшка погасла...

— Говорят, — вздохнул Михаил.

— Жалко...

Михаил сказал небрежно-философским тоном (явно чтобы утешить Витьку, а не себя):

— Что же теперь... Все равно это было очень давно. Прикинь, сколько световых лет да помножь на коэффициент совмещенных пространств...

— Все равно жалко... Это для нее давно, а для нас-то ведь только сегодня... Яков Матвеевич знает?

— Нет еще.

— Миш, а правда, что хроноскоп пустили?

— На той неделе еще.

— И что, в самом деле он берет мгновенные импульсы?

Все, что случилось в пространстве, фиксирует сразу? Независимо от расстояния?

— Не все, а в том секторе, куда направлен. И пока только графически... И энергии жрет за один сеанс, как целая космическая верфь за месяц. У нас уже половина накопителей пуста...

— Все равно... Значит, если где-то вспыхнула звезда, мы узнаем сразу? Не надо ждать, пока долетит свет! Да?

— Не надо ждать,— рассеянно отозвался Михаил.— Ты вот что. Скажи своему Цезаренку и еще этому... Юр-Танке, чтобы не лезли без спроса к моему вычислителю. А то уши отвинчу, не посмотрю, что князь...

— Не поймашь,— засмеялся Витька.— Юрий теперь тоже знает, что такое прямой уход в подпространство.

2

Импульсная нить порвалась, и концы ее, скручиваясь, понеслись в пустоте Кристалла. Один конец ударил по Шарику. И газовые массы звезды стали стремительно гаснуть, проваливаться в тускнеющие пропасти, исчезать... Другой конец ударил по Яшке, свернулся в горячий клубок и спрятался внутри мальчишки — крошечный остаток звездной силы. Быстро остыл, затаился в Яшке, как еле теплое зернышко. (А может быть, звездная жемчужинка, из которой когда-то вырос кристаллик мадам Валентины?)

Яшка приглубил в себе это живое зернышко, словно крошечного птенца,— с резкой печалью о невозвратном. И... с облегчением, что обратного пути нет. Опять оглядел берега, заречье, небо. Все это теперь было его. Навсегда...

Но сам-то он, Яшка, был чей?

А Стасик ничего еще не понимал, спросил опять с хмурым заботливостью:

— Ну? Что с тобой?

— Куда же мне сейчас?— потерянно прошептал Яшка.

— Как... куда?

— Порвался канал! Понимаешь?.. Не вернуться мне туда!

Постепенно, со стыдливой и осторожной радостью Стасик осознавал, что случилось. Но открыто показать даже капельку радости не посмел. Сказал, насупившись:

— Ты велел держать. Я и держал... Я не виноват.

— А кто виноват?— Еле-еле заметно проскользнула в Яшкиных словах прежняя дурашливая искорка. И пропала.— Оба мы виноваты...

— Значит, назад тебе уже никак?

Яшка встал, засопел сердито, развел руками в кружевных манжетах.

— Нету Белого шарика. А Яшка вот он, весь тут. Навсегда... Куда мне деваться?

От приступа счастья Стасик обрел решительность:

— Балда ты! «Куда»! К нам!.. Только Полина Платоновна заспорит, наверно: она мечтала, чтобы ты у нее жил. Она с ума сойдет от радости.

— То-то уж «радость»,— хмыкнул Яшка.

— Пошли, не разговаривай!.. Постой. Ох, Яшка, как ты по улицам пойдешь такой... придворный? Народ сбегится.

— А старая одежда? Ты ее куда девал?

— Наверно, в бурьяне! Пошли искать!

Сверток и правда оказался на прежнем месте. Но штаны и рубаха были сырыми насквозь. Яшка зябко передернул плечами.

«А высушить не можешь? Помнишь, как раньше?» — взглядом спросил Стасик.

«Нет...»

— Подожди!— Стасик знал, где под лестницей, в тайнике, большие мальчишки хранят в жестяной коробке спички. Для курева и для костров. Да и Яшка знал. Там же, под лестницей, нашлись и сухие щепки для растопки. Труднее было отыскать после дождя сухие бурьянные стебли. Однако и с этим справились. Разложили костер на том же месте, где в прошлом году Стасик вылепил шарик. Огонь разгорался неохотно, извели полкоробка. Но в конце концов пламя выросло, застреляло искрами, рассеяло душный бурьянный чад. Яшкин старый костюм высыхал на глазах. Правда, Стасик перестарался и подпалил подол рубашки, ну да ладно...

— Готово, Яш. На...

Наконец-то он превратился в настоящего Яшку. В привычного, просто родного... Он заправил в штаны обгорелый подол, сунул босые ноги в стоптанные сандалии.

— Вот... А это сюда!— Сгреб в охапку «придворный» костюм и кинул в огонь.

— Зачем?!— огорчился Стасик.

— А куда его? Людей потешать?

Материя вспыхнула легко, словно пропитанная керосином. Стасик еле успел выхватить из огня край курточки. Прижал его сапогом, оторвал медную пуговицу.

— На память...— И добавил про себя: «Доказательство, что все это б ы л о...» Покачал пуговицу на ладони.

— Красивая какая. Сам такую придумал?

В окантовке из крученого тросика были оттиснуты на меди скрещенные шпаги с фигурными рукоятями, якорь, а над ним — половинка восходящего солнца с лучами.

Яшка наклонился над пуговицей.

— Ничего я не придумал, само получилось... Кажется, это командорская эмблема.

— Что?

— Не помню точно... Если вспомню, скажу. По-моему, это из Реттерхальма...— Он усмехнулся невесело, не по-детски даже.— Из тех времен, когда мадам Валентина фан Зеехафен выращивала в цветочном горшке кристаллик... Хотела вырастить модель всего Мира, а получилось вон что... беспризорный пацан Яшка.

— Ну и ладно! Какая разница!— сердито сказал Стасик.

...Он тогда просто так бросил эту фразу. Но гораздо позже не раз вспоминал ее и даже гордился такими словами — и когда писал свою монографию о свойствах Великого Кристалла и о юности Вселенной, и когда в должности и звании Звездного Командора воевал за права Детства. И когда на катамаране «Даблстар» уходил в экспедицию по Большому темпоральному кольцу... «Какая разница? Модель Вселенной и мальчик... Может быть, это одно и то же...»

Стасик затоптал сапогами костер.

— Пошли... Ох, смотри, темнеет уже.

Они стали подниматься по шатким ступеням.

— Боюсь я, Стаська,— серьезно заговорил Яшка. (Давно уже он не говорил «Стаська», «Стасик», все «Вильсон» да «Вильсон».) — Так боюсь, даже ноги не идут.

— Я тоже,— признался Стасик.— Обещал в четыре быть дома, а сейчас уже сколько... Мама давно с работы пришла...

— Да я не про это!.. Вдруг меня никому не надо. Ни Полине Платоновне, ни...

— Не выдумывай.

— А еще вот что. Скажут ведь, что нужно меня в детдоме отпрашивать. А меня там сроду не было!

— А мы признаемся... что не в детдоме жил, а бродяжил давно уже. Даже проще будет. Остался, мол, во время войны без родителей, жил то тут, то там, нигде не задерживался...

— Ох, а она... Полина Платоновна скажет: «Сколько хлопот с бродягой. А я больная, старая...»

— Ты забыл, что есть еще я и мама?— строго спросил Стасик.— А Полина Платоновна... ее ведь можно вылечить! Ты же умеешь!

— От старости разве вылечишь?— вздохнул Яшка.— Да и вообще я ничего такого теперь не умею. Неужели ты не понял? Я теперь совсем такой же, как и ты.

— Так это же во как здорово!— Стасик чуть не обнял Яшку.

— Но я теперь ничего не могу... почти,— прошептал Яшка.

— Что не можешь? Чудеса творить, что ли?— сказал Стасик с веселой пренебрежительностью. Хотя в груди щекалось уже другое: не насмешка, а ласковое желание защитить Яшку от невзгод. А тот повторил:

— Ничего не могу. Разве что самую малость.

— Вот и сделай себе такую малость: табель, что в какой-нибудь школе третий класс закончил. Чтобы вместе идти в четвертый... Сможешь?

— А что толку? Я, наверно, не помню даже, сколько дважды два... Это раньше я все знал, все помнил, когда был шариком. А теперь?.. Наверно, и на фисгармонии играть не смогу.

— Я тебе дам «не смогу»!— Стасик почти по правде разозлился.— Заладил одно: «Когда я был шариком...» Шарик, что ли, на фисгармонии играл? Яшка играл! И Чичу кто лупил? Шарик?

Яшка подобрался:

— Мы когда пойдем Чичу искать? И этого... Васяню? Завтра? Сейчас-то уже поздно...

Над крыльцом горела яркая лампочка. На крыльце стояла мама. За ее подол держалась Катюшка.

Мама повернулась к калитке.

— Явился!.. О-о! Да вы, сударь, не один! Полина Платоновна, выйдите-ка, посмотрите, кто к нам пожаловал!..

Где это вас носило дотемна, голубчики?

Стасик и Яшка привычно повесили головы.

Вышла Полина Платоновна. Слабо всплеснула руками.

— Вернулся...

— Вернулся,— подтвердила мама.— Всѣ вернулось, будьте, Полина Платоновна, уверены... Сейчас они нам расскажут о своих похождениях. А?

— Ну чего,— пробормотал Стасик.— Заигрались маленько.

Полина Платоновна тихонько засмеялась. Но мама сложила на груди руки и посмотрела на каждого по очереди:

— Они заигрались.

— Ну чего...— опять сказал Стасик с наивной надеждой увести разговор от опасной темы.— Устали ведь мы, кушать хочется.

— Да-а?— почему-то очень удивилась мама.

И тут вмешалась Катюшка. Потянула маму за подол и внятию произнесла:

— Фасик'хосет кисей.

Казалось бы, мама должна умилиться: впервые в жизни дочь сказала связную фразу! И мама умилилась. Но как-то не по-настоящему:

— Да-а? Кисель? Как замечательно! А ну, идите-ка в дом... «фасики». Будет вам кисель. Обоим поровну...



Эпилог

ДРЕМЛЮЩИЙ МАЛЬЧИК

1

Академик Я. М. Скицын. Из некролога. «Академический вестник», № 4123/2, стр. 114.

«...старейшего ученого с мировым именем, на трудах которого воспитаны несколько поколений исследователей Вселенной, известных своим нестандартным подходом к решению проблем темпоральных эффектов и взаимодействий совмещенных пространств.

Начало биографии Якова Матвеевича Скицына лежит в тех временах, которые большинству из нас представляются глубокой историей. Он родился перед второй мировой войной, во время войны потерял родителей, беспризорничал, был усыновлен жительницей сибирского города Турени, а после ее смерти жил в семье Скицыных, где нашел себе названного брата и будущего многолетнего соратника. Со Станиславом Матвеевичем Скицыным создал ряд научных трудов: «Локальность темпоральных колец», «Диалектика гипотез кристаллического строения Вселенной» и др. Сотрудничество это в известной мере имело место и в сфере общественной деятельности, когда С. М. Скицын активно поддерживал движение по защите Детства, именуемое в некоторых областях совмещенных граней «командорским». Совместная деятельность Я. М. и

С. М. Скицыных продолжалась до момента, когда С. М. Скицын вопреки мнению академического большинства организовал и возглавил экспедицию «Кольцо-антивектор» на экспериментальном межпространственном катамаране «Даблстар» под командованием капитана В. Е. Пантюхина (как известно, «Даблстар» не вернулся, и судьба экспедиции до сих пор не выяснена).

Возможно, именно горячая и порой выходящая за рамки академических отношений поддержка этой экспедиции Я. М. Скицыным осложнила на долгие годы его отношения с бывшим руководством Академии и затруднила его научную деятельность. Да и неординарный подход к решению ряда философских проблем в определенные годы не мог не служить тормозом для полноценной работы ученого. Такие труды, как «Многослойность Времени», «Антивектор. Влияние будущего на прошлое», встречались тогдашней официальной наукой в штыки. И даже теперь, в пору новых подходов к проблемам Мироздания и осознания всеобщей неоднозначности Бытия, мы не можем до конца оценить вклад Якова Матвеевича Скицына в решение глобальных проблем Пространства и Времени. Его главные труды ждут еще своих исследователей, они помогут нам по-новому подойти к решению вопросов, которые до недавней поры казались нерешимыми.

И это значит, что Я. М. Скицын будет современником еще многих поколений».

В конце августа, вечером, в комнате Михаила Скицына собрались: Витка Мохов — внук директора обсерватории «Сфера», его лучший друг Цезарь из города Реттерберга, четвероклассник Филипп Кукушкин из поселка Лугового, Матвей Радомир по прозвищу Ежики и Ярик — жители Полуострова, а еще — юный владелец княжества Юр-Танка-пал и маленький Юкки, который наконец осел в этом княжестве и стал командиром мальчишек-трубачей.

Сидели на диване, на столе и на подоконнике. Необычно спокойные, притихшие. Михаил только сегодня вернулся из Ветрогорска, он жил там несколько дней после похорон прадеда.

...— Да ерунду говорят, что он болел, — сказал Михаил. — Он работал до последнего дня. Еще утром модель Большого Маятника отлаживал. А вечером вдруг лег и



сказал: «Ну, братцы, пора. Надо отправляться искать Вильсона»... Ну и... будто уснул. Сперва никто и не понял даже...

Мальчишки молчали. Только простуженный Филипп осторожно посапывал и вытирал разноцветным ситцевым рукавом нос. Да маленький командор Цезарь Лот покачивал медной пуговицей на шнурке, постукивал о пластик подоконника.

— ...Странная там еще вышла история,— задумчиво сказал Михаил.— Прочитали в завещании, что хочет Яков Матвеевич необычный памятник. Мол, в детстве, в Турени, была в заброшенном парке скульптура — дремлющий мальчик. Видимо, работа какого-то старого мастера, может быть даже итальянца. В старину купцы, любители искусства, завозили такие редкости в самые глухие города... Он даже фотографию приложил, вот...

Пошел по рукам старинный, плоский, нецветной снимок с надломленным уголком. На фоне кустов и полуразрушенной кирпичной стены с церковным окном белел сидящий на низком постаменте мраморный мальчик с растрепанными локонами. Он сидел, поджав ногу, опирался о постамент одной рукой, а другую поставил локтем на колено и подпер голову ладонью. Словно в самом деле задремал, выйдя из воды после купанья и пригревшись на теплом прибрежном песке... Сбоку стояли двое мальчишек — настоящие. В просторных перекошенных трусах, обвисших майках, босые и серьезные. Они держали воздушный змей из газеты, на которой, приглядевшись, можно было разобрать заголовок «Туренская правда».

— Вот этот, лохматый, как Филипп, и есть прадед,— вздохнул Михаил.— А второй — друг Вильсон. Стасик... Здесь, у этого мраморного пацана, они часто играли...

Юкки подержал карточку дольше других.

— Встречались, что ли?— шепотом спросил Ежики.

— Может быть...

Князь Юр-Танка потрогал на голой груди серебряный орех-амулет, сказал тихо и будто стесняясь:

— Ну, а что странного? Ну, захотел такой памятник...

— Да, в том, что захотел, ничего... Стереографом взяли со снимка форму, рассчитали, сделали матрицу в натуральную величину, отлили из зернистого пластика — по виду и по весу совсем как мрамор. Укрепили на плите. Все потом разошлись, а мы с Володей Рябцевым, тамошним аспирантом, задержались еще, выпили, по правде

говоря, маленько, у него фляжка была... А наутро он ко мне заходит. «Слушай,— говорит,— я вчера там, кажется, карманный нейроблок от институтского «Кентавра» посеял, без него — как слепой. Пойдем поищем...» Ну, пошли. Блок-то увидели сразу, а... мальчишки нет.

— Как нет?— удивился Филипп Кукушкин.— Совсем?

— Да. Голая плита...

— Украл, что ли?— сказал простодушный Ярик.

— Боже ж мой, кому он нужен? Добро бы мрамор, подлинник, а то ведь... Ну, конечно, отольют другой, да как-то... необъяснимо это.

Все молчали. Шутить на эту тему было неловко, а всерьез что скажешь?

Наконец Витька напряженным голосом произнес:

— Мало ли чего необъяснимого бывает. Недавно Филипп опять в Башне на Большом Маятнике болтался, как на качелях. А сверху вдруг голос: «Долго ты будешь, обормот, мочалить Меридиан?»

— Не ври,— сказал Филипп.— Не было голоса.

— Не было, так будет... А три дня назад, Миша, «Я-тридцать семь» зажглась опять! Тебе еще не сказали?

— Яшка зажглась?

— Ага... Хроноскопом взят сигнал. Значит, только что.

— Батюшки-светы,— сказал Михаил.— Велика ты еси, мать-природа, и все мы слепы пред тайны твоя... А может, это не она? Не он?..

— Координаты-то в самой точке. Хоть булавку втыкай... Правда, показатель яркости переменный, зубцы на графике...

— Может быть, двойная звезда получилась?— вдруг негромко спросил Юр-Танка.— Они, двойные-то, всегда мерцают...

— Не знаю. Там преобразователь опять барахлит, потому что Зиночка Куггель дежуршла, не следила толком. Не пускал бы ты ее, Миша, у нее только женихи на уме...

— Зато она помогла вам перевести со старого языка «Историю города Реттерхальма»,— напомнил Миханл.

Юкки повозился на подоконнике, подышал на свою серебряную трубу, потер ее подолом желтой форменной рубашки и сказал с сожалением:

— В этой «Истории» одна путаница и сочинительство... И не верьте вы, что мадам Валентина вырастила кристалл из какой-то звездной жемчужины. Девчонки играли, сест-

ра Лотика, Вьюшка, порвала бусы, а мадам Валентина одну бусинку потом подобрала. Ну и вот...

2

Июль тысяча девятьсот сорок девятого года был душный, пропахший сухой полынью и горячей пылью немощеных улиц. К ночи затягивало горизонты, и бесшумно зажигались над городом Туренью зарницы...

Мальчишки спустились по приставной лестнице с чердака, где у них было оборудовано «гнездо» для летних ночевков.

— Тише, а то Зяма опять увяжется...

Пробрались в огород, а оттуда в соседний двор — чтобы не огибать дом и чтобы не окликнули из окон: «Куда это вас на ночь глядя несет опять?» Перелезли через шаткий занозистый забор, и вот он, Банный лог. Знакомый до каждого камушка, до каждой ступеньки и все равно в сумерках немного сказочный. Такой, что разговаривать хочется шелестящим шепотом.

— Яш... а вдруг его там совсем нет?

— Куда он денется?

— Мало ли... Нашел кто-нибудь и уташил.

— А кому он нужен? Да и слухи пошли бы...

Стасик нерешительно вздохнул.

— Боишься все-таки? — спросил Яшка без подковырки, заботливо.

— Нет, — честно сказал Стасик. — То есть я боюсь, но только не темноты. Боюсь, что не найдем... Потому что я уже лазил один раз. И там его нету...

— Ты?! Один лазил?

— Не веришь?.. Это в мае было, когда ты простудился и дома сидел. А я после школы...

— Один? — опять сказал Яшка. То ли с недоверием, то ли с обидой.

— Я нарочно. Надо же наконец... ну, когда-то перебороть в себе это... страх этот дурацкий.

— Переборол? — совсем тихо спросил Яшка.

— Ну... не знаю. Но лазил там долго, пока все спички не истратил. А толку-то! Все равно не нашел.

Яшка сказал снисходительно:

— Без меня и не найдешь. Там есть незаметный закуток, за ржавой переборкой, сразу не увидишь...

Зарнцы иногда разгоняли желто-розовыми взмахами темноту, но сразу же она падала опять — еще более плотная: небо совсем затянуло. Но в этой темноте Банный лог не спал, жил приглушенной вечерней жизнью. Негарко светились за листвою палисадников окошки, доносились оттуда тихие голоса. Шастали в лопухах коты. Где-то вперемежку с пружинным боем прокуковала в часах кукушка.

— Одиннадцать? — спросил Стасик.

— Ага...

— Вот как выйдет на крыльцо Полина Платоновна да как позовет опять: «Яшенька, Стасик! Вы уже легли? Спите?»

— А мы не отвечаем. Значит, спим... — хихикнул Яшка. — Хуже, если Зяма полезет на чердак. Завтра пристанет: «Где были? Опять от меня скрываете...»

— Ладно, может, пронесет. Мы же недолго. Только посмотрим, там он или нет. Правильно?

— Конечно. А вывезем завтра. У Петуха тележку попросим. А вытаскивать Вовка поможет, он хоть и маленький, а не болтливый...

— Ага... Яш! А куда его потом-то? На дворе держать, что ли?

— Не... Помнишь в Парке судостроителей разломанную церковь? Там совсем глухое место, и кирпичные выступы из земли торчат. Наверно, остатки столбов от ограды. Одии — совсем как специальный постамент, низенький такой, широкий. Там и устроим. Кто увидит, решит, что так и надо, садовая скульптура... А на барже оставлять нельзя, ее скоро на металл пустят.

— С чего ты взял?

— Ну, подумай сам. Ее в этом году и так чуть разливом не снесло. Когда-то же надо убирать... Ну и вообще...

— Что?

— Жалко его как-то, хотя и каменный. Сидит один там, будто в тюрьме... А иногда кажется, что его и вовсе на свете нет. И значит, вообще ничего не было. Все принилось.

— А вот... тоже доказательство... — Стасик помахал пуговицей на шнурке, что висела у него на груди, как амулет.

— Подумаешь. Пуговицу найти можно...

— Такую не найдешь, — возразил Стасик ревниво. Он очень ценил этот свой талисман. Не снимал никогда.

Вот и сейчас они удрали с чердака босые, в трусах, даже без маек, а пуговица с якорем, шпагами и солнышком была на Стасике. Казалось бы, Яшкина пуговица, он ее должен беречь. Но Яшка был к ней равнодушен, а Стасик дорожил. Потому что из огня спас...

Так, переговариваясь, прошли они весь Банный лог. Выбрались на берег. Сумрак обнимал их, словно обкладывая теплой черной ватой. Но вот опять загорелась медленная зарница.

— Мигает, мигает,— сказал Стасик.— А ни дождя, ни грома...

— А вот как случится ливень с наводнением, да как смоем баржу...

— Ну да! Если уж половодьем не смыло... Гляди, как она далеко на песке.

При очередной вспышке баржа показалась черным китом, вытасканным на сушу. Когда подошли, их обдало запахами теплого железа и ржавчины.

— Лезем?

— Ага... Яш, фонарик не урони.

По рулевым петлям на корме они забрались на гулкую палубу. Она грела ноги, как неостывшая печка. Темно было, а квадратная дыра люка — совсем черная. Стасик храбро полез первым по режущим ступни скобам. Яшка передал ему самодельный фонарик — батарейку с прикрученной лампочкой и рефлектором из фольги. Но внизу взял снова.

— Впереди пойду.

Они долго пробирались среди клепаных перегородок, изогнутых труб, поломанных лесенок-трапов. Стукались, царапались, шипели от ушибов. Шнпенье это разносилось эхом, словно из лопнувшей трубы сквозил горячий пар. Воздух был тяжелый — смесь ржавой духоты и влажной зябкости.

—... Здесь,— пробормотал наконец Яшка. Желтым пятном фонарнка показал на изгиб переборки.— Тут проход.

— Ох, я и не догадался бы...

Мраморный печальный мальчик сидел на железной палубе трюма. Поджал левую ногу, левой рукой оперся о клепаный лист, правый локоть поставил на поднятое колено, а голову лбом положил на ладонь. Яшка нагнул, пошевелил в лицо. Глаза у мальчика были полузакрыты — он то ли задумался, то ли задремал.

— Я нарочно сел так тогда, в последний раз,— прошептал Яшка.— Думал, если найдут, то... ну, чтобы не в каком-нибудь дурацком виде...

В свете неяркой лампочки мальчик был не белый, а будто потемневшая слоновая кость. Видимо, сверху на него капало во время дождя: по спине тянулся ржавый подтек. И Стасику стало жаль каменного мальчишку, как живого. Вспомнил себя, замурованного в будке.

Он погладил мальчика по теплой мраморной спине с твердой цепочкой позвонков.

— Потерпи до завтра.

Казалось, мальчик чуть шевельнул головой...

Лампочка быстро тускнела.

— Надо выбираться,— прошептал Яшка. И тоже погладил мальчика.

— Подожди,— попросил Стасик.— Смотри...

Здесь был нос баржи. Весь ее корпус лежал на песке, а нос утыкался в воду, и она просочилась в трюм. Треугольной лужицей собралась в углу у переборок. Стасик сел на корточки. Снял пуговицу, опустил к воде. Пуговица повисла неподвижно, потом шевельнулась и закачалась, как маятник. Чиркнула по воде, разорвала ржавую пленку.

— Выключи,— попросил Стасик.— Иди сюда.

Яшка послушно погасил фонарик, но не придвинулся. А Стасик ждал, затаившись от волнения.

Сперва была полная темнота, но скоро в воде появились искорки. В глубине. Словно за прозрачной пленкой открылось черное небо со звездами.

— Смотри,— опять шепотом сказал Стасик.— Звезды сейчас превратятся в окошки. Словно город вдалеке... А потом они сольются в одно... Как в колодце... Я этому совсем недавно научился. Надо, чтобы в таком вот подходящем месте... Вот уже появляются! Видишь?

Но Яшка опять не шевельнулся. И сказал глухо, непохоже на себя:

— Не буду я смотреть... Все равно ничего не увижу.

— Почему? Что с тобой, Яшка?

— Потому... Окошко только те видят, кто... ну, в общем, кто ничего плохого не сделал.

— Ты что?— по-настоящему испугался Стасик.— Может, заболел? Чепуху какую-то несешь.

— Не чепуху.

— Мы же с тобой... совсем одинаковые! И я вижу!

— Не одинаковые мы,— сказал в темноте Яшка.— Просто я тебе не говорил. Это осенью еще было. Я двух человек... угробил до смерти.

Стасик уронил пуговицу в лужу, выхватил, суетливо надел на шею мокрый шнурок. Опять стало страшно. Он сказал жалобно:

— Ты что выдумал!— Хотел подвинуться к Яшке, но тот говорил будто издалека:

— Старик Коптелыч и дядька в машине... Думаешь, я их забыл? Я же следил, сколько мог. Потому что от них так и несло черным излучением. Я тогда еще мог угадывать, во мне оставалось чуть-чуть этого... ну, от Белого шарика... Однажды они ехали вместе, а тот, в фуражке, говорит: «Уровень раскрываемости никудышный, нас по головке не погладят. А ты, старик, последнее время только керосинишь, а работы не видать. Ох, гляди! Неужели все кругом такие чистые?..» Коптелыч тогда и начал: «Жена этого... Тона, который в прошлом году себя кончил... Не нравится она мне, хитрая баба. И разговоры вела с намеками...» А тот: «Чего же ты ходишь, не телишься! Приедем — сразу пиши!» И дальше едут, а там рельсы, ветка с кирпичного завода... Ну, ты знаешь, за старой мельницей...

— И что... дальше?— выдохнул Стасик.

— С завода — состав с платформами, скорость уже набрал. Сторож у шлагбаума забегал, а они крччат: «Не опускай, проскочим!» Ну, он видит, чья машина, опускать боится... Да они и проскочили бы... только я следил издалека.

— И что сделал? — одними губами спросил Стасик.

— Истратил свой последний заряд. Прямо на рельсах заклинил в машине подшипники...

Долго они молчали. Потом Стасик спросил:

— А сторож?

— Не бойся. Я устроил, что ему ничего не было... Выбрались из баржи, шли по берегу молча. И лишь на первой горке Банного лога Стасик сказал:

— Разве ты в чем-то виноват?

— Я не знаю...

— Они же... такое дело задумали! Гады...

— Конечно... Только если бы ты видел, как горела машина...

«А я видел», — подумал Стасик.

— Яш! Может, вовсе и не ты подшиппники заклинил. Может... само собой.

Яшка помотал головой.

— Нет, я... С той поры я больше ни разу не видел окошка в колодце.

— Увидишь еще...

— Ты просто так говоришь. А думаешь наоборот.

— Я не про это думаю... Я думаю: а вдруг кто-нибудь все-таки напишет такое... На маму...

— Не бойся,— веско сказал Яшка.— Это теперь позади.

Потом они опять пошли молча. Но было уже не так тревожно и грустно. Банный лог, он и есть Банный лог... Встретил ребят в темноте кудлатый знакомый пес Пират, обнюхал их мокрым носом, помахал хвостом, проводил немного. Сокращая путь, они перелезли через забор соседского огорода. Там стояло растопыренное пугало с горшком на голове.

— Привет, Федя,— сказал ему Стасик. И вдруг воскликнул:— Яшка, смотри!

За низкой изгородью был виден их двор и темный дом. И в доме этом рядом с крыльцом светилось желтое окно!

— Откуда оно?— прошептал Яшка. Потому что стена была глухая, ни одного окошка во двор не смотрело.

— А то, заколоченное! Его еще до войны забили. А дядя Андрей все грозился: «Раскупорю, чтоб на кухне светлее было!» Ну и вот...

— И вот...— Яшка засмеялся, будто избавился от тяжелой напрасной вины.— Сидят на кухне и нас ждут: «Где вас носило, голубчики?»

— Точно!— весело согласился Стасик.— Зяма, небось, разнюхала...

Они пошли к дому по меже среди прохладной картофельной ботвы. Стасик вдруг спросил:

— Яш, а ты точно знаешь, что Банный лог выводит прямо на Дорогу?

— Еще бы!

— Это хорошо.

— Надо только рассчитать день и час...

— Лучше вечер,— сказал Стасик.

Если они с Яшкой выйдут на Дорогу вечером, окно будет светить у них за спиной. А когда сзади светит, ждет тебя обратно такое вот окно, идти не страшно. И жить не страшно.

СОДЕРЖАНИЕ

Крик петуха.

Повесть

Часть 1

Дачная жизнь Витьки Мохова 6

Кригер 6

Детские песенки 25

Храм без купола 41

Пробитое стекло 53

Театр в Верхнем парке 66

Часть 2

Башня и маятник 90

Ярмарка 90

Стеклянные ступени 108

У костра 124

Командоры 139

Маятник 149

Медные петушки 164

Эпилог

Человек на рельсах 174

Белый шарик Матроса Вильсона.

Повесть

Пролог

В глубине Великого Кристалла 180

Часть 1

Стасик 188

Прогульщик Скицын 188

Размышления в переулке Банный лог 200

«Ты кто?» 209

Берег 223

Рельсовый путь 233

Часть 2

Шарик 243

Поиски 243

Осень 248

Третья встреча 262

Май 271
Что было зимой 275
Матрица 285
Запускающий змея 299

Часть 3

Яшка 316
 Детдомовец 316
 Окно 326
 Мальчик среди звезд 341
 Уход 349
 Серое небо 354
 Двойная радуга 359
 Возрастание 370
 Тополек 376

Эпилог

Дремлющий мальчик 387

Крапивин В. П.

К78 **Белый шарик Матроса Вильсона: Повести.**— Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1993.— 400 с.: ил.

ISBN 5—7529—0533—8

С 2. 100 000 экз.

Вторую книгу цикла «В глубине Великого Кристалла» составили новые фантастические повести «Крик петуха» и «Белый шарик Матроса Вильсона». Герои этих произведений, мальчишки-Пограничники, наделены особым даром — способностью проникать в иные миры Вселенной. Их Дорога часто бывает тернистой, и ребят подстерегают настоящие, жестокие испытания. Только «крепкие духом и ясные душой» остаются верными дружбе, любви и долгу, проявляя истинное мужество, благородство, жертвуя собой для спасения Друга.

Иллюстрации Е. И. Стерлиговой.

Для среднего и старшего школьного возраста.

К 4803010201-002 24-93
М 158 (03)-93

ББК 84Р7

Владислав Петрович Крапивин **Белый шарик Матроса Вильсона**

Редактор Е. В. Черняк

Художник Е. И. Стерлигова

Художественный редактор В. С. Солдатов

Технический редактор Т. Н. Черепанова

Корректоры Т. В. Сергеенко, Н. И. Тунгусова

ИБ № 2215.

Сдано в набор 06.07.92. Подписано в печать 27.10.92. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,4. Уч.-изд. л. 20,7. Тираж 100 000. Заказ 261. С 2.

Средне-Уральское книжное издательство. 620219, Екатеринбург, ГСП-351, Малышева, 24. Типография издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий», 620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

